МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. О. СМИРНОВА-РОССЕТ

ДНЕВНИК
ВОСПОМИНАНИЯ



А. О. Смирнова-Россет

Дневник
Воспоминания



Москва
Берлин
2019

УДК 82
ББК 83.3(2)
С50

Смирнова-Россет, А. О.

С50 Дневник. Воспоминания / А. О. Смирнова-Россет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 352 с.

ISBN 978-5-4475-9803-7

В издание вошли мемуарные записи фрейлины русского императорского двора Александры Осиповны Смирновой-Россет (1809–1882 гг.). Перу этой незаурядной женщины, являвшейся другом и собеседницей А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова и других известных современников, принадлежат откровенные, имеющие большую историческую ценность воспоминания о жизни русского общества первой половины XIX века. Среди очерков – записи о памятных встречах с русскими поэтами В. А. Жуковским и А. С. Пушкиным, воспоминания о Н. В. Гоголе, ставшим ее другом и наставником в период ее душевного кризиса. Завершают книгу автобиографические записки А. О. Смирновой-Россет о ее «детстве и молодости».

УДК 82
ББК 83.3(2)

ISBN 978-5-4475-9803-7

Дневник

26 февраля 1845 года. Наследница родила сына Александра. Тютчев сказал, что ему говорили верные люди, что государь, говоря о прусском короле и конституции, сказал: «Братец мой шалит».

28 февраля. Графиня Нессельрод, которой я говорила о мемуаре Уварова по католическим делам, в котором он уговаривает государя не ссориться с папою, сказала мне, что государь, прочтя его, заметил, что Уваров мешается не в свое дело. Уваров в мемуаре говорит, что западные государства более готовы, нежели мы думаем, подняться за папу. Мне кажется, что мы уже не можем отступить от своей системы, и если в Риме так благосклонно подписали на все наши требования, то зачем нам церемониться? Одна депеша графа Николая Гурьева, напечатанная в Риме, меня поразила тоном своим; едва ли можно сказать сильнее и plus péremptoire[1]. Замечательна в этом собрании депеша Фурмана, который умер в Риме. Selon moi c'était un chef d'oeuvre d'habileté, de bon goût et en même temps les exigences fermes[2]. Русские – не дипломаты в своем слоге: они лучше топором рубят.

1 марта. Была у импер<атрицы>. Они говеют, будут приобщаться в воскресенье. По случаю родов Марии Ник<олаевны> не говеют, как обыкновенно, в последнюю неделю.

У Софьи Павловны Кутузовой говорили за достоверное, что Елиз<авета> Михайловна Нассауская умерла от падучей болезни, и что муж ее хотел даже в случае счастливых ее родов привезти в Россию. В<еликая> кн<ягиня> Е<лена> П<авловна> скрыла это даже от М<ихаила> П<авловича>. Мне кажется это невероятным.

2 марта. Флигель-адъютант Орлов-Денисов послан был на Дон, чтобы переселить 300 семейств с Дону на Кавказскую линию и с предположением мало-помалу образовать там кордон; это произвело там большой ропот и отчаяние; граф Воронцов упросил государя отменить это, так что Орлов получил скоро

---

[1] Решительнее.

[2] По-моему, это шедевр ловкости, хорошего тона и в то же время непреклонных требований.

приказание вернуться, не окончив дела. Мне говорили, что там на юге поселили 50 тысяч духоборцев. Они там живут хорошо, потому что их не беспокоят в отношении их обрядов.

Вечером у меня были гости: Тютчев с женой, Карамзины, Михаил Александрович Голицын с женой, прелестной красавицей, Соболевский, Самарин, гр. Ростопчина, Волков С. А. с дочерью. Ничего нового и необыкновенного не было говорено.

3 марта. Я проводила вечер у Вяземского с графиней Нессельрод, Тютчевым. Говорят, что нашли бумаги и письма, ясно доказывающие отравление царевича Алексея Петровича и раскаяние Петра, он посылал денщика за ядом. Тютчев говорит, что смерть эта была une terrible nécessité[3]. Князь Павел Гагарин очень справедливо заметил, что такое преступление ничем не оправдывается и что кроме преступления Петр сделал фальшивый расчет. Царевич был шефом оппозиции нововведениям; он бы мог после смерти отца только приостановить ход преобразований, что, может быть, и не повредило бы, но первое движение, данное гениальным Петром, было уже так сильно, что непременно его партия позже восторжествовала бы, несмотря на все старания царевича. Многосторонний ум или высокий разум Петра обращал внимание на все. Предположение строить укрепления на Каспийском море выдавали за новость, но открыли в Астрахани письменные доказательства, что он уже тогда намеревался оградить Россию с этой стороны. – Говорили о Талейране, Guizot, княгине Ливен, о всех фальшивых интересах нашего высшего круга, который забрался в западню своим французским языком и не знает, чем забавить свои ленивые досуги, и не знает, как выйти оттуда.

3 марта. Обедала семейно по-старому у Карамзиных. Вечный спор о католиках и нашем духовенстве. Вяземский – умный человек, но у него нет двух связных мыслей в голове. Александр разрезал узел: если бы эти же попы да говорили по-французски условными фразами и обветшалым языком иезуитов, то все дело пошло бы на лад. Вяземский говорил, что если бы речи или, лучше, слова духовные Иннокентия перевести на французский язык, то такую дрянь никто не стал бы читать. И он восхищается речами Лакордера в «Univers

[3] Ужасная необходимость.

catholique» (декабря avant[4] 1845 года!). Просто пустая декламация – вот что их прельщает.

5 *марта.* Велик<ий> к<нязь> Михаил Павлович был у меня два раза и, наконец, застал меня в первый раз после смерти дочери. Он очень еще грустен, рассказывал ее смерть. Герцог Нассауский пишет ему часто, горюет по жене – все это опровергает слухи, которые распускают по городу. Он приезжал из Совета (понедельник), где толкуют об отдаче земель башкирцам и казакам. Лев Алекс<еевич> Перовский, министр вну<тренних> дел, говорил за них очень горячо, хотя очень дурно, но Киселев отстаивает эти земли для себя; эти земли даже вымерены, и ему для прирезки жалованья землею пригодились бы. Решение дела отложили на три года, несмотря, что оба великие князя были за башкир и казаков. Да в самом деле, отчего же бы им и не подождать? Уж ведь они до сих пор ждали. Великий князь говорил о пребывании государя Александра в Москве в 18-м году, в первый раз после пожара, о первой польской диете, где он, Мих<аил> Пав<лович>, был как сенатор и один в русском мундире. Константин Павлович был избран тогда депутатом Праги и с ним ходил звать государя на диету. Тогда произнес он знаменитую речь, где обещал, что конституционные права из Польши перейдут далее, смотря по обстоятельствам, и когда народ приготовлен будет к этому. Варшава была тогда полна, блистательна, весела и приняла государя с восторгом. Диета 22 года была уже очень в дурном духе. Отчего? Он говорит, что оттого, что произошла в этом промежутке *революция* в Молдавии, т. е. движение Ипсилантия, о котором А<лександр> Павл<ович> все знал. Грешно поступили с греками, грешно, неполитически. Я читала «L'Héterie» в 1826 году и плакала de rage[5]; позже, когда Афанасия посадили в Афины, я уже молчала. Утратилось тогда-то молодое и верное чувство, нас не обманывающее...

Я получила письмо, очень грустное, от Гоголя и другое – от живописца Иванова из Рима, того, который пишет Иоанна Крестителя для наследника. Оно замечательно тем, что в первый

---

[4] Накануне.

[5] От бешенства.

раз русский художник говорит о православной живописи и о различиях между нашими и западными образами.

Граф Воронцов Мих<аил> Сем<енович> обедал очень часто у государя, теперь обедает часто фельдмаршал, Орлов два раза в неделю, г<раф> Киселев Пав<ел> Д<митриевич>, Петр М<ихайлович> Волконский реже, Клейнмихель, Уваров, очень редко Блудов, Перовский. Вообще садятся они вчетвером: цари, Ольга Ник<олаевна> и Конст<антин> Ник<олаевич>. Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой? В 9-м часу после гулянья он пьет кофе, потом в 10-м сходит к императрице, там занимается, в час или 1 ½ опять навещает ее, всех детей, больших и малых, и гуляет. В 4 часа садится кушать, в 6-ть гуляет, в 7 пьет чай со всей семьей, опять занимается, в десятого половина сходит в собрание, ужинает, гуляет в 11-ть, около двенадцати ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати.

Вечером я была у импер<атрицы>: собрание было большое, очень большое для нынешнего двора. Баронесса Фредерикс, Лобанов, Раух, Суворов, Шувалов, принц Алек<сандр>. Ольга Николаевна играла в лото. Импер<атрица> говорила, что ей нельзя, хотя и очень нужно, ехать на зиму в Италию. Государь без нее слишком грустит и одинок. Занимается один по целым часам. Это все имеет влияние на других. Государь сказал мне: «Вот скоро двадцать лет, как я сижу на этом прекрасном местечке. Часто удаются такие дни, что я, смотря на небо, говорю: зачем я не там? Я так устал...» Я хотела продолжать разговор, но он повернул на старые шутки. Пусть не мое перо их передает: я его слишком люблю. Разговору не было ни в чем замечательного.

6 *марта.* Был у меня Marceline Lubomirski; он приехал продавать Дубно в Волынской губернии; Конар также продал свой город. «Нам слишком дорого стоит полиция русская, и своя притом должна быть», – сказал он мне. Понятно, что им капиталы нужны. Роман Сангушко, который был сослан в Сибирь, на Кавказе выслужился, вернулся теперь в Волынскую губернию. Как же полякам не горевать и нас любить? Польским soeurs grises[6] предлагали удвоить жалование, если они согласятся не относиться к папе. Они не согласились; дело это еще не кончено.

[6] Серым сестрам.

Ввечеру был Суворов. Говорил, что он получил от Хвостова пропасть писем деда к Хвостову, также много писем к неизвестным ему лицам; по-видимому, фельдмаршал боялся почты: во многих только намеки, род арго. Аннибал, дед Пушкина, решил судьбу Суворова. Отец его, генерал-аншеф, очень умный и просвещенный человек по тогдашнему времени, прочил его в штатскую службу, потому что он был слабого сложения. На что Суворов не соглашался и все читал военные книги. Аннибал однажды был подослан к нему, чтобы уговорить его войти в службу, нашел его лежащего на картах на полу и так углубленного, что он и не заметил вошедшего арапа. Наконец тот прервал его размышления, говорил с ним долго, вернулся к отцу его и сказал: «Оставь его, братец, пусть он делает как хочет: он будет умнее и тебя и меня».

10 марта. Я обедала у гр. Ростопчиной с Ю. Ф. Самариным. После обеда вспоминали прошлое, первую нашу встречу. Это было в 38 году. Я вернулась из Парижа после почти трехлетнего путешествия. Не знаю почему, я с неизъяснимым сожалением слушала. Так много прошло времени, столько утратилось надежд, столько трепетало сердце без отголоска в эти лучшие годы жизни; а теперь, теперь всему конец, всему земному, всякой земной привязанности; вижу я смерть, если не в моей душе, то вокруг себя. Из моей памяти изгладилось совершенно это событие тогдашней жизни. Гр. Ростопчина была тогда для меня загадочное существо. Я желала с ней познакомиться, но ожидала, чтобы она сделала первый шаг. Какая-то странная природная гордость, которая развилась во мне при вступлении в общество, совершенно мне чуждое и потому неблагосклонное, мешала мне всегда при первых встречах. Я выжидала внимания, никогда не старалась и не умела его возбудить. Оттого так немногие знали, что едва ли кто-нибудь простосердечнее меня в этом обществе. Графиня Р<остопчина> заметила в уголке маленькую женщину в красном тюрбане, весьма медленно двигающуюся, лениво облокотившуюся на кресло, спросила, кто это новое лицо, и была мне представлена графиней Борх. Ей не понравился мой тюрбан; он, однако же вышел из рук знаменитой Beaudrant, был ею придуман в Париже для меня и, как я теперь помню, нашел полное одобрение государя и многих молодых барынь; Hélène Chreptovitch даже брала его

на фасон. Эта зима была одна из самых блистательных. Государыня была еще хороша, прекрасные ее плечи и руки были еще пышные и полные, и при свечах, на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц. В Аничковском дворце танцевали всякую неделю в белой гостиной; не приглашалось более ста персон. Государь занимался в особенности бар. Крюднер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюднер. Я была свободна как птица и смотрела на все эти проделки как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не переступала из границ единственно оттого, что было сознание в неискренности государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал ей все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами, и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Однажды в конце бала, когда пара за парой быстро и весело скользили в мазурке, усталые, мы присели в уголке за камином с бар. Крюднер; она была в белом платье, зеленые листья обвивали ее белокурые локоны; она была блистательно хороша, но не весела. Наискось в дверях стоял царь с Е. М. Бутурлиной, которая беспечной своей веселостью более, чем красотой, всех привлекала, и, казалось, с ней живо говорил; она отворачивалась, играла веером, смеялась иногда и показывала ряд прекрасных белых своих жемчугов; потом, по своей привычке, складывала, протягивая, свои руки – словом, была в весьма большом mal à son aise[7]. Я сказала m-me Krudener: «Vous avez soupe, mais aujourd'hui les derniers honneurs sont pour elle». – «C'est un homme étrange, – dit elle, – il faut pourtant que ces choses ayent un résultat, avec lui il n'y a point de fin, il n'en a pas le courage, il attache une singulière idée à la fidelité. Tous ces manèges avec elle ne prouvent rien»[8].

Всю эту зиму он ужинал между Крюднер и Магу Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась. Обыкновенно в уголке, в длинной зале, где гора, ставили стол на четыре прибора; Орлов

---

[7] Чувство неловкости.

[8] Вы ужинали, но последние почести сегодня для нее. – Это странный человек, – сказала она, – нужно, однако, чтобы у этого был какой-нибудь результат, с ним никогда конца не бывает, у него на это нет мужества; он придает странное значение верности. Все эти маневры с ней ничего не доказывают.

и Адлерберг садились с ними. После покойный Бенкендорф заступил место Адлерберга, а потом и место государя при Крюднерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: «Я уступил после свое место другому» – и говорил о ней с неудовольствием, жаловался на ее неблагодарность и ненавистное чувство к России. Она точно скверная немка, у ней, как говорил мне раз человек мой Григорий, жадность к деньгам непомерная.

Мне рассказывали вчера, что Киселевские мужики, жалуясь на его управление, говорили: «Разве ленивый нас не грабит».

11 марта. Уваров – штукарь. Он прежде старался удерживать при себе Григория Волконского, через него пробивался к Петру Михайловичу. Видя, что результатов нет, что графство ему не достается, и чувствуя, что в кураторе он имеет строгого и независимого судью, он старался всячески его избавиться. Grégoire ему сказал однажды: «Жена моя больна, не знаю, что делать, <не> придется ли мне ехать в Одессу». На другой день при докладе министр воспользовался случаем и сказал государю, что Волконский просится в Одессу. Сказано было доложить об этом при следующем докладе. Случилось весьма некстати для Уварова, что Петр Михайлович тут случился при докладе. «Сын твой просится в Одес, – сказал государь, – "Как так, да я ни слова об этом не слыхал!"» – «Да, – отвечал немного сконфуженный Уваров. Бумага была подписана уже. Григорий В<олконский> отправился к министру, который отвечал ему, что "il faut saisir les occasions, qu'il a cru bien faire et rendre un service de suite, qu'il travaille rarement avec l'Emp<ereur>"»[9]. Волконский хотел письменно все изъяснить государю и, кажется, с огорчением на Уварова, но отец нашел письмо неприличным и не велел его подавать. Уваров торжествует.

Вечером я была у императрицы. Чужих было только двое: Виельгорский Матвей и Лобанов. Говорили о портретах импер<аторской> фамилии, собранных по приказанию государя. Их всех поместят в каком-нибудь дворце по порядку родовому; нашелся даже портрет Натальи Алексеевны, дочери царевича. Хвалили портрет Елизаветы Алексеевны, писанный m-me Lebrun, еще в фижмах, следовательно в первой ее молодости,

---

[9] Нужно пользоваться случаем, что он думал сделать добро и скорее оказать услугу, что он редко работает с императором.

когда она была точно еще хороша. Императрица говорила, что довольно странно случилось, что Е<лизавета> А<лексеевна> сделалась к ней ласковее, когда родился наследник. «Ce devait être un moment affreux pour elle, et cependant depuis ce moment elle devenu plus affectueuse pour moi. Quand mon fils est né, après le premier moment de bonheur, j'ai pensé au sort qui l'attendait: il était destiné à régner. Quant à nous, nous n'en avions aucune idée pour nous»[10]. Что значат эти последние слова? Думала ли она, что Александр Павлович проживет долго, или она хотела сказать, что они не знали условия, сделанного с прусским королем? Впрочем, Константин тогда еще не был женат на Ловичевой, а Михаил Павлович мне говорил, что он отказался от престола решительно при получении позволения на ней жениться. «Ma chère, en venant en Russie, j'admirais beaucoup la bienfaisance de maman, mais c'était la mode de se moquer d'elle et de sa conversation qui roulait sur établissements d'éducation et des hôpitaux. Un jour à Moscou maman faisait les honneurs de ses maisons à mon père, l'Empereur Alexandre me donnait le bras et me répétait: "De l'indulgence, de l'indulgence! " – "Mais je n'en ai pas bésoin, – lui dis je, – j'admire, je trouve cela superbe, cela me plait et me touche". Il me regardait d'un air étonné: c'était l'imp<eratrice> Elisabeth qui donnait le ton à cette moquerie; au fond elle était aigre»[11].

После говорили о письмах импер<атрицы> Елизаветы к барону Черкасову, который посылай был навстречу к трем дармштадтским принцессам. Они ехали с матерью ко двору

---

[10] Это, должно быть, был для нее ужасный момент, и, однако, с этого времени она стала гораздо ласковее ко мне. Когда родился мой сын, после первой минуты счастья я подумала об ожидающей его судьбе: ему суждено было царствовать. Что до нас, то мы и не помышляли об этом.

[11] Моя милая, приехав в Россию, я очень восхищалась благотворительностью матушки, но модно было насмехаться над ней и над ее разговорами, вращавшимися только вокруг воспитательных учреждений и госпиталей. Однажды в Москве матушка показывала эти учреждения моему отцу; император Александр вел меня под руку и повторял мне: «Будьте снисходительны, будьте снисходительны!» – «Но я не нуждаюсь в этом, – сказала я ему, – я восхищаюсь, я нахожу это превосходным, мне это нравится и трогает меня». Он смотрел на меня с удивлением. Это имп<ератрица> Елизавета задавала тон этим насмешкам; в сущности она была едкой.

на выбор Павлу Петровичу. Письма эти найдены были между бумагами покойного Александра Николаевича Голицына.

Черкасов о всякой безделице относится к Екатерине: «Прикажете выслать зелени свежей и цыплят?» Она отвечала: «Приказано мною выслать вам зелени» и проч. «Прикажете ли дамам при представлении в городах подходить к руке принцессы-матушки?» – «Нет, – был ответ, – русские дамы только подходят к своим царственным особам».

Государь перебил разговор. Я ему напомнила о Гоголе, он был благосклонен. «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». – «Читали вы “Мертвые души”? – спросила я. – Да разве они его? Я думал, что это Соллогуба» (NB). Я советовала их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма.

Он читал «Le Juif errant» (NB). К<онстантин> Николаевич помешался на Константинополе, пишет по-турецки, рисует виды Конст<антинополя>; только и разговору, что про путешествие, которое совершится летом. Он точно умен, и ум его живой и деятельный, но беда, если эту деятельность обратят на мелкие интересы. Если он из этой атмосферы не выйдет, плохо будет.

Государь ездил смотреть группы в трико у Лемольта в детском театре с наследником и герцогом Л<ейхтенбергским>; запретил продолжать эти представления. Поутру вся царская фамилия ездила в крепость служить панихиду по Павле Петровиче. «Оттуда поехал я к Михайлу Пав<ловичу> с Максом и Сашей; то-то мы там врали».

12 марта. У Софьи Сергеевны Бибиковой был большой вечер и картины. Довольно странно, что гр. Воронцова взялась за роль Virginie. Paul был столько хорош чистотою своего спокойного лица, сколь она неуместна. Это замечание нисколько не исключает ее живой и безусловной прелести. Она очень мила, когда танцует, и весела, дуться она тоже умеет, но едва ли когда-либо горевала и страдала душевно, а потому elle boudait dans son tableau[12]. Наша Тютчева была прелесть хороша, весела и мила в греческом костюме. Счастливый случай доставил мне

[12] Она дулась в своей картине.

случаи сидеть возле фельдмаршала. Он исстари ко мне благоволил, когда я была привычным предметом во дворце, где он бывал ежедневно и ежечасно перед выездом в Варшаву. Он выговаривал мне, что при отъезде моем за границу я не проезжала через Варшаву. – «Я жду вашей железной дороги до Вены». – «Чрез два года она будет готова. Пруссаки идут к нам навстречу, австрийцы тоже подвигают эту линию, да в два года это откроется». – «Ну, смотрите, князь, чтобы прусские бродяги к вам не подъехали по этой дороге». – «Ничего, я не боюсь». – «Да ведь у вас теперь все смирно?» – «Как, совсем нет! Вот еще недавно 50 человек в ноябре месяце (44 года) захватили, 30 выпущено, а 20 пойдут кто в Сибирь, кто на Кавказ. Разумеется, тут единодушного ничего нет, а как бы вы думали, что они затевают? Или подорвать бастион, или меня убить и зарезать. Все это больше шляхта, да и выше шляхты, а из высшего сословия есть, да так мастерски, что никогда себя не выдадут, а поджигают только шляхту». – «А что делают у вас Лубинские?» – «Да ведь один отставлен, тот, который был при банке, а Фома живет себе». – «Я, может быть, ошибаюсь, но он мне казался немного подлым». – «Ведь их география такая, что они или подличают или бунтуют. Лубинские очень бедны». – «Вы раздаете же мажоратства, дайте и им способы существовать». – «Никак я раздал на полтора миллиона дохода земель, но все русским греческого исповедания. Это я первый сделал это условие: там нужно поболее русских, а если и даю немцам, то пожизненно протестантам, или в случае, что дети православного исповедания, тогда наследственно. (Гейсмар и его жена – немцы, а детей крестили в греческую религию.) Я в Польше не нов и я историю хорошо знаю, так как я и в Персии и Турецкой Азии был не нов, знал ее географию, топографию и историю. Всегда много читал историю. Не думайте, чтоб успех так даром давался». Я спросила его о Позенских движениях, о Богемии. «Вы верите этим славянским движениям! Это все возмутители, бунтовщики. Я этим всем воли не даю. У меня в Варшаве не смеют об этом говорить: всех их подальше». – «Как, и богемцы у вас не в милости?» – «Бунтуют против Австрии. Все это непокорность!» – «О боже, – я вздохнула, – вот как на это смотрит наше правительство, может быть, в угодность Австрии, по наущению застенчивой и трусливой душонки Нессельрода».

И фельдмаршал, русский сердцем и душой и, конечно, не только баловень судьбы, но и человек с большими дарованиями и читавший много историю, также разделяет это мнение! Но он принадлежит своему времени. По случаю Богемии заговорил он по-французски: «Vous avez lu, comment cela? “Roudolstadt”? – “Oui, oui”»[13]. Вот оно, где истории учатся; в романах! «Скажите, пожалуйста – впрочем, я теперь сам читаю много романов: времени нет, и это так, перелистываешь, – “Consuelo”, comme c’est charmant, n’est ce pas?»[14]. Слава богу, фельдмаршал не блистает красноречием на французском языке, да и по-русски он не красноречив. Il aime beaucoup les femmes et s’en occupe jusqu’à présent[15]. Он также мне сказал, что его любят в Польше, несмотря на то, что он строг: «Я справедлив и не спешу». Мне это подтвердили поляки, именно Любомирский.

13 марта. Был у меня милый и добрый Тютчев. Говорили о дворе, о прошлом, о царе. Он упрекал меня, что я не пишу записки. Il m’a fait part d’une histoire qu’on conte sur l’Emp<ereur> Alexandre. L’année 14 il doit avoir consulté m-me Lénormand: au meyen d’un miroir elle doit lui avoir montré l’avenir. D’abord il vit sa propre figure qui fut remplacé par une image presque fugitive de son frère Constantin: celle-ci fut placé à la grande et belle figure de l’Emp<ereur> Nicolas qui reste longtemps ferme; après lui il vit quelque chose de confus, des ruines, des cadavres sanglants et la fumée, qui envelloppait tout cela comme d’un linceul. Resté à savoir si ce n’est pas l’imagination bienveillante des amis d’outre mer qui se consolent des ses craintes par des funestes pressentiments pour la Russie[16].

---

[13] Вы читали, как это? «Рудольштадт»? – Да, да.
[14] «Консуэло», как это прелестно, не правда ли?
[15] Он очень женолюбив и занимается этим до сих пор.
[16] Он сообщил мне историю, которую рассказывают об имп<ераторе> Александре. В 14-м году он должен был обратиться за советом к мадам Ленорман; она должна была в зеркале показать ему будущее. Сперва он увидел свое собственное лицо, которое сменил почти мимолетный образ его брата Константина; тот уступил место величественному и прекрасному лицу имп<ератора> Николая, которое долго оставалось устойчивым; после него он увидел что-то смутное, развалины, окровавленные трупы и дым, окутывавший все это как саваном. Остается узнать, не благосклонное ли это воображение заморских друзей, успокаивающих свои страхи зловещими предчувствиями для России.

14 марта. Ахматов просил не забыть подписку для западных единоверцев, которых Австрия не балует на этот счет. Известно, что государь посылал в Венгрию церковные книги. Le comte de Bastard a été à Vienne à cette époque et m'a dit que ce fut de très mauvais effet. Invité à un grand dîner chez un fonctionnaire il a entendu s'exprimer la haute aristocratie allemande là-dessus[17]. Муравьев А. Н. во Флоренции и негодует пока на формы богослужения католического.

15 <марта>. Во дворце был концерт – первое большое собрание после траура по в<еликой> к<нягине> Александре Ник<олаевне>. Рубини, Тамбурини, Виардо и Ниссен; пели «Стабат» Россини, хоры – придворные певчие, Ромберг дирижировал. Играли также «Les Hébrides» Мендельсона. Мне показалось все очень великолепно и торжественно во дворце после двухлетнего моего отсутствия за границею. Там все дворы просто смешны важностью и заботливостью немцев, когда подумаешь, что они уже ничего не значат, да притом только плюнь, так уж и за границу. А Луи Филиппа двор еще смешнее. Мне жаль было смотреть на Гизо, когда он в белом галстучке, в башмачках и Légion d'honneur[18] рассказывал про крестины Филиппова внука с весьма самодовольным видом.

Концерт был очень важен, в Ротонде, хвостом к церковной двери, были уставлены музыканты. Императрица сидела почти напротив dans le fond[19]. От нее рядком расселись штатс-дамы: графиня Нессельрод, Левашова, княг<иня> Васильчикова, гр<афиня> Орлова, Баранова, К. М. Рибопьер. Подалее фельдмаршал, государь, Орлов, Нессельрод, Рибопьер, Киселев; из министров не было Панина и Блудова. За ужином государь пожаловал за наш стол, между мной и Захаржевской; по ту сторону Захаржевской сидела Варинька Нелидова, которую государь всегда зовет просто Аркадьевна; возле нее Ал. Ф. Орлов. По некоторым словам Орлова и по тону его с Нелид<овой> надобно думать, что она пользуется все тою же милостию и что даже

---

[17] Граф де Бастар был в то время в Вене и говорил мне, что это произвело очень дурное впечатление. Приглашенный на большой обед к одному сановнику, он слышал, как высказывалась по этому поводу высшая немецкая аристократия.

[18] Орденом Почетного легиона

[19] В глубине.

этот господин ловко поддерживает ее: кое-что, может быть, приказано в свое время намеком. Она очень умно себя ведет и очень прилично. Особенного не было говорено.

Государь жаловался на Орлова: «Алексей Федорович в дороге как заснет, так навалится на меня, что мне хоть из коляски вылезать». – «Государь, что же делать? – сказал Орлов. – Во сне равенство, море по колено». А я думаю, наяву у самого душа в пятки уходит, когда разгневается царь и возглаголет яростию своею. Орлов говорил мне, что импер<атор> желал поместить брата к нему, говорил и нелюбезно и даже сурово. Мое дело просить, и не стыдно просить для других, для себя, слава богу, ничего не прошу. Государь приказал ему заняться с Гоголем, он также говорил: «Ведь он еще молод и ничего такого не сделал». Прошу покорно господ министров сказать, что такое надобно сделать в литературе, чтобы получить патент на достоинство литератора в их смысле. Им сядь и выведи *«Ода»*, потом в один присест: такого-то дня и *года*. Право, они смешны: еще если бы читали по-русски. После такого великолепия я вернулась домой и долго размышляла о дворце и царедворцах, хотя их давно знаю.

16 <*марта*>. Баронесса Фридрикс сказывала, что прусский король писал государю об открытии диет провинциальных, излагая свои мысли, совсем не сходные с желаниями конституционной партии. Государь пеняет братца в словоохотливости. Разговорились о французских романах. Во дворце читали с жадностью «Mystères de Paris», и государь со слезами épisode de la Louve и другие...

Братья Мюллеры давали концерт в зале Виельгорских. Квартета лучше этого я никогда не слыхала. Их упрекают в недостатке élan[20]. Львов, говорит, что у них не души, а душонки, что только четыре немца так могут играть ладно. M-me Viardot me disait aussi que des allemands seuls pouvaient jouer avec ce calme[21]. В Париже славился квартетами Baillot в 37 году. Берлинскую публику восхищал несколько лет слепой Möser. Мюллеров сперва не хотели слушать, потом заслушались.

---

[20] Порыва чувств.

[21] Г-жа Виардо тоже говорила мне, что только немцы могут играть с таким спокойствием.

Великий князь М<ихаил> П<авлович> был у меня вечером и не застал дома.

16 <марта>. Поутру была у меня А. В. Сенявина и говорила, что муж ее, наделив все уезды Псковской губернии хлебом и деньгами, возвращается домой. Ей писали из Москвы, что Шевырева зашикали на одной лекции. Грановский, тот, который прошлый год читал с блистательным успехом историю средних веков, читал диссертацию на магистерскую степень. Редкий его защищал против Шевырева, публика заступилась за любимца-красавца и зашикали, когда Шевырев немного кольнул Грановского. Я писала по оказии Жуковскому насчет Гоголя и просила его написать несколько строк к Орлову.

17 <марта>. Были крестины во дворце вел. кн. Александра Александровича и обыкновенный большой обед. Графа Нессельрода сделали канцлером. Волконскому 4 000 000 серебром, т. е. простили долг на имении tante militaire[22]. Говорят, что он был в большом гневе: если бы не канцлерство Нессельроду, то эти деньги ему были бы очень понутру, а теперь невпопад, потому что Нессельрод стал выше его. Васильчикову Л. В. майоратство в 20 тысяч серебром, кажется Тауроген.

18 <марта>. Вечером была у княгини Чернышевой, которая принимает по субботам. Князь страх как некрасноречиво говорит. Он хотел нас позабавить рассказом о шведском короле (Bernadotte) и очень скучно рассказывал про пустой случай. Очень важно в кружок сидели Левашов, Киселев, очень aigre-doux[23], Граббе, Берг и Блудов, выжидавший с нетерпением, чтобы захватить разговор в свое владение. Вошел адъютант граф Гурьев. Очень некстати сказал ему министр: «Asseyez-vous»[24], и повторил еще раз, довольно холодно: «Asseyez-vous». Ведь это нигде не услышишь и не увидишь. Ce n'est pas européen[25]. Покойная Наталья Кирилловна Загряжская не любила князя Чернышева, не любила также слова européen. «Ma chère, que c'est que c'est que ce mot d'européen, qu'on a inventé

[22] Воинственной тетки.
[23] Кисло-сладкий.
[24] Садитесь.
[25] Это не по-европейски.

à présent sans être européens? On valait mieux de nôtre temps»[26], – говорила она, пригрызывая себе ногти. Она сказала бы о Чернышеве, что он неуч. Но неуч не то значит, что manque d'européisme ou de la civilisation[27]. Я узнала, что у Суворова живет один из братьев Варгиных. Варгин был fournisseur de l'armée[28] до вступления в министерство кн. Чернышева, который с ним довольно дурно поступил. Он обанкрутился, имел до 20 миллионов прежде в обороте.

18 <марта>. Вечером я была у в<еликой> к<нягини> Ольги Николаевны. Играли в лото за большим столом, и государь также, а в<еликая> к<нягиня> с фрейлинами и молодыми дамами, флигель-адъютантами в другой комнате. После Огарев вздумал позабавить нас представлением: нарядился в тюрбан, стоял в дверях, напялил юбчонку, на руки чулки и башмаки и танцевал руками по столу, а К<онстантин> Н<иколаевич> голыми руками делал за него жесты. Оно точно было смешно, но довольно странно: не так забавлялись при Екатерине. Государь уже видел прежде у графа Клейнмихеля подобные представления. Я спросила Рибопьера, который век свой прожил при дворе, какова была Наталья Алексеевна, первая жена Павла Петровича. «Она была гульлива. Великий князь тогда был в короткой связи с Андреем Кирилловичем Разумовским и приказывал ему всегда входить прямо к себе без докладу, даже когда он в кровати с женой. Он понравился Наталье Алексеевне. Они после подсыпали ему порошок в питье и тут же, не женируясь...» Она умерла в родах (где похоронена, бог весть, но не в крепости). Великий князь был в отчаянии, а императрица, чтобы утешить его, показала ему переписку жены с Андреем Кирилловичем; его послали в Неаполь, где царствовала и распутствовала Каролина, та самая, которую я видела в Одессе в 1813 году. Его Актон оттуда выжил. У графа Нессельрода была тьма народу; все поздравляли с канцлерством.

19 <марта>. Вся царская фамилия была в концерте инвалидов, день восшествия в Париж. Оттуда приехал ко мне Нелидов.

---

[26] Европеец. «Моя милая, что это за слово европеец, которое изобрели теперь, не будучи европейцами? Было лучше в наше время».
[27] Недостаток европеизма или цивилизованности.
[28] Поставщик армии.

Говорили о подлости Михайловского-Данилевского, и как он подслуживается князю Чернышеву. Фельдмаршал Сакен писал свой дневник; после смерти все его бумаги были взяты в штаб. Их пересматривал Чернышев. Нашли следующие слова в дневнике: «Если кто хочет иметь самое неверное понятие о кампании 12 года, тот пусть читает записки холопа князя Черныше-Чернышева, Михайловского-Данилевского». Говорят, будто бы Данилевский тут был в комнате, и читалось это вслух, будто бы Вревским.

20 <марта>. У графа Кушелева был большой музыкальный вечер. Мне смерть надоели итальянцы, l'air de Balf[29] и Маринари. Я сидела в другой комнате, подошел ко мне князь Меншиков. Я всегда жду от него un mot à la Taleyrand. Il parait que ces mots sont rares comme les beaux jours[30]. А по городу их столько шатается! Мне видно счастья нет! Хорошо он сказал про Рубини: «J'ai la vue trop basse pour l'entendre»[31].

21 <марта>. Полетика на меня сердится, что я его не навещала во время болезни; он же никуда почти не ездит, да и не прислал сказать, что болен. Петр Иванович напрасно не писал свои записки. Он вступил в службу еще при Безбородке, всегда жил в высшем круге и был во многих домах на короткой ноге, как, напр<имер>, у графа Семена Воронцова в Англии, бывал в посольствах, много читал, много видел. Мы разговорились о статье, написанной Тьером в «Histoire du Consulat» о смерти Павла Петровича. Редакторы журнала нарочно поместили ее на 11 марта, так что государь прочел эту статью 12 числа нашего стиля. Я удивляюсь, откуда Тьер мог иметь такие верные и подробные известия, совершенно изустные до сих пор у нас. Петр Иванович говорил мне, что первый, который это разгласил в Берлине, был Жеребцов. Он послан был тогда с известием о смерти, знал все и хвастал даже, что он принимал участие в этом деле. C'était la mode alors de s'en vanter. Bolhovscoy s'en est vanté aussi.et s'en est mal trouvé après. Le comte Langeron a aussi contribué à divulguer ces affreux détails. Il a écrit des mémoires

---

[29] Ария Бальфа.

[30] Остроты, подобные остротам Талейрана. Его остроты, кажется, редки, как хорошая погода.

[31] Я слишком близорук, чтобы его услышать.

à cette époque et ce manuscrit doit être en France[32]. Петр Иванович был у графа Палена в его имении в Курляндии. Его жена была очень замечательная женщина и в то время в весьма тесной дружбе с в<еликой> к<нягиней> Елизаветой Алексеевной. Она говорила ему, что еще в самом начале Е<лизавета> А<лексеевна> не любила Александра. Elle était très dédaigneuse avec lui et repoussait toutes ses caresses[33]. Мое дело пошло на лад: государь приказал Уварову узнать, что нужно Гоголю. Уваров тут поступил благородно, сказал, что Гоголь заслуживает всякую помощь.

22 <марта>. Надобно подробно узнать дело *des soeurs grises,* которое наделало много шуму и очень не понравилось римскому правительству. В последний раз, когда я была у государыни, она хотела было заставить читать депеши из Пруссии насчет движенья в южных провинциях. Кажется, большая партия хочет отойти от папской зависимости. Что такое католицизм без папы? В тот же день она читала депеши Бутенева из Рима, который, по-видимому, улаживает с Ламбрускини. Дело о soeurs grises началось еще в бытность мою в Риме в 1842 году при Потемкине. Говорят, что Потемкин был некогда умный человек, но без характера; от пренебрежения или оттого, что дела делал Павел Иванович Кривцов мимо его, но Ламбрускини первый говорил ему о многих предметах, о которых ему ни слова не писали. Кривцов умер в прошлом году. Он был то, что называется тонкая штука, ума приятного и обхождения facile[34]. Он не имел, впрочем, de la portée dans ces vues[35], а так только имел ум про случай. Константин Николаевич едет в Константинополь. К нему ходит по вечерам Фонтон. Он – фанариот и был, кажется 11-ть лет при нашем посольстве в Турции. Говорят, что он весьма сведущ в восточных делах, да и личности ему знакомы. К<онстантин> Николаевич при мне говорил, что после Олега он первый из князей королевской крови русской

---

32 Тогда было модно этим хвастать. Волховской тоже этим хвастал, и ему пришлось потом в этом раскаяться. Граф Ланжерон тоже помог разглашению этих ужасных подробностей. Он написал мемуары об этой эпохе, и рукопись должна быть во Франции.

33 Она очень пренебрегала им и отталкивала все его ласки.

34 Легкого.

35 Значения в этих видах.

подъедет к Константинополю. Спрашивал меня, что мне оттуда привезти. Я сказала: «Возьмите город». Он положил палец ко рту и вполголоса сказал: «Он будет, будет наш – уж этого не миновать».

Нелидов вечером был у меня. После последнего указа о рекрутском наборе по 7 с тысячи государь собрал всех флигель-адъютантов и говорил им предлинную речь. Вот ее содержание в нескольких словах: «Господа, я знаю, что на меня ропщут: если бы я был помещик, я бы сам роптал. Кавказ – только предлог; в скором времени вы узнаете настоящую причину сего набора: они самые важные. Мне больно во всеобщем ропоте то, что в двадцать лет моего царствования меня не узнали еще и не поняли, что без особенной причины я никогда не брал рекрутов». Он говорил прекрасно, как всегда. Но у каждого был ответ в кармане: «А бессрочные отпускные зачем у вас?». Флигель-адъ<ютант> Опочинин послан был в польские губернии кормить их. Их там гуляет, и, как кажется, не смирно, до 10 000. Опочинин, встретя меня на Салтыковской лестнице, мне это сам говорил.

Воспоминания о Жуковском и Пушкине

Кроме приведенных мною писем Жуковского, более нет у меня имеющих общий интерес; еще есть куча записок из Эмса в Баден-Баден в 1844 году и три письма шуточные, которые он сам называл галиматьей. Он очень любил писать такого рода шутки и говорил: «Ведь у меня целый том галиматьи». Если вам угодно получить несколько подробностей о Жуковском, сообщаю вам их, как умею. Не ждите ни слога, ни порядка в изложении.

Василия Андреевича я увидела в первый раз в 1826 г. в Екатерининском институте, при выпуске нашего 9-го класса. Императрица Мария Федоровна делала наши экзамены с торжественностью, в своем присутствии и до публичного экзамена. На этот публичный экзамен собрались митрополиты (на нашем был еще Сестренцевич), академики и литераторы. Учителем словесности был П. А. Плетнев, друг Пушкина, любимец императрицы Марии Федоровны, человек вполне достойный ее внимания и особой благосклонности. Экзамен, благодаря его трудам, мы сдали очень хорошо. Тут прочитаны были стихи Нелединскому и Жуковскому, их сочинения. Императрица Мария Федоровна оказывала обоим аттенцию и во все время экзамена или словами, или взглядами спрашивала их одобрения. После экзамена подан был завтрак (dejeuner à la fourchette), и так как это было на маслянице, то оба поэта преусердно занялись блинами. Этот завтрак привозился придворными кухмистерами, и блины точно пекли на славу во дворце. Нас всех поразили добрые, задумчивые глаза Жуковского. Если б поэзия не поставила его уже на пьедестал, по наружности можно было взять его просто за добряка. Добряк он и был, но при этом сколько было глубины и возвышенности в нем. Оттого его положение в придворной стихии было самое трудное. Только в отношениях к царской фамилии ему было всегда хорошо.

Он их любил с горячностью, а императрицу Александру Федоровну с каким-то энтузиазмом, и был он им всем предан душевно. Ему, так сказать, надобно было влезть в душу людей, с которыми он жил, чтобы быть любезным, непринужденным, одним словом, самим собою.

Хотя он был как дитя при дворе, однако очень хорошо понимал, что есть вокруг него интриги, но пачкаться в них он не хотел, да и не умел. В 1826 году двор провел великий пост в Царском Селе, также и часть лета. Потом все отправились на коронацию в Москву, и я Жуковского не помню. Лето 1828 года двор опять был в Царском Селе. Фрейлины помещались в большом дворце, а Жуковский в Александровском, при своем царственном питомце, и опять я с ним не сблизилась и даже мало его встречала. В 1828 же году императрица Александра Федоровна уезжала в Одессу, а наследник и все меньшие дети остались под присмотром своей, бабушки в Павловске.

Где был Жуковский, не помню. Только у обеденного стола императрицы Марии Федоровны (который совершался с некоторою торжественностью и на который всегда приглашались все те, которые только в придворном словаре значились *особами*) я его никогда не видела.

По возвращении государя из Турции и государыни из Одессы двор поселился в Зимнем дворце. Мария Федоровна скончалась, город был в трауре; все было тихо, и я, познакомившись с семейством Карамзиных, начала встречать у них Жуковского и с ним сблизилась. Стихи его на кончину императрицы были напечатаны и читались всеми теми, которые понимали по-русски. Жуковский жил тогда, как и до конца своего пребывания при дворе, в Шепелевском дворце (теперь Эрмитаж). Там, как известно, бывали у него литературно-дружеские вечера. С утра на этой лестнице толпились нищие, бедные и просители всякого рода и звания. Он не умел никому отказать, баловал своих просителей, не раз был обманут, но его щедрость и сердоболие никогда не истощались. Однажды он мне показывал свою записную книгу: в один год он роздал 18 000 рублей (ассигнациями), что составляло большую половину его средств.

Он говорил мне: «Я во дворце всем надоел моими просьбами и это понимаю, потому что и без меня много раздают великие князья, великие княгини и в особенности императрица; одного Александра Николаевича Голицына я не боюсь просить: этот даже радуется, когда его придешь просить; зато я в Царском всякое утро к нему таскаюсь». Один раз, после путешествия нынешнего государя, Жуковский явился ко мне с портфелем и говорит: Посмотрите, какую штуку я выдумал!

Я так надоел просьбами, что они, лишь как увидят меня, просто махают руками. Надобно 3000 рублей ассигнациями, чтобы выкупить крепостного живописца у барина. Злодей, узнавши, что я интересуюсь его человеком, заломил вишь какую сумму. Вот что я придумал: всю историю представил в рисунках. Сидят Юлия Федоровна Баранова и великая княгиня Мария Николаевна, я рассказываю историю. Все говорят: «Это ужасно! Ах, бедный! Его надобно высвободить». Картина вторая: я показываю рисунки, восхищаются: «C'est charmant, quel talent!»[36]. Картин этих было несколько, и, разместив всех, приложив своих денег, он собрал с царской фамилии деньги и послал их в Оренбург, где томился художник у невежды-барина, который не ценил его живописи.

Жуковский любил рассказывать про свою жизнь в деревне в Белевском уезде, про дурака Варлашку, который не умел обходиться с мужскою одеждою и ходил в фланелевой юбке; как Варлашка, уходя спать на чердак, с лестницы всякий вечер кричал «боюсь» и прочий вздор. Не знаю, всем ли известны пером нарисованные виды этой деревни, в которой он жил в молодости: необыкновенная прелесть в них! Они были после литографированы, и вся коллекция у меня. Один знаток англичанин мне говорил, что в этих линиях слышится необыкновенный художественный талант.

Шутки Жуковского были детские и всегда повторялись; он ими сам очень тешился. Одну зиму он назначил обедать у меня по средам и приезжал в сюртуке; но один раз случилось, что другие (например, дипломаты) были во фраках: и ему и нам становилось неловко. На следующую среду он пришел в сюртуке, за ним человек нес развернутый фрак. «Вот я приехал во фраке, а теперь, братец Григорий, – сказал он человеку, – уложи его хорошенько». Эта шутка повторялась раза три, наконец и ему и мне надоела, но Жуковский говорил, что в передней она всегда имела большой успех, и очень этим восхищался. Этого Григория он очень полюбил, когда я ему сказала, что он играет очень дурно на дрянной скрипке. «Как же это так, на дурной скрипке? Надобно бы ему дать хорошую».

[36] Как прекрасно, какой талант!

При совершенном неуменьи наживаться, он хорошо распоряжался своими маленькими доходами и вел свои счеты с немецкою аккуратностью. Вообще в его чисто русской натуре было много германизма, мечтательности и того, что называют Gemütlichkeit[37]. Он любил расходиться, разболтаться и шутить в маленьком кружке знакомых самым невинным, почти детским манером. Комнаты его, в третьем этаже Шепелевского дворца, были просто, но хорошо убраны. «Только, – говорил он, – жаль, что мы так живем высоко, мы чердашничаем». У него были развешены картины и любимый его ландшафт работы Фридриха – еврейское кладбище в лунную ночь, которое не имеет особенного достоинства, но которым он восхищался. Как живопись, так и музыку он понимал в высшем значении; но любил также эти искусства по какой-нибудь ассоциации воспоминания. Так, однажды он мне писал: «Буду у вас обедать, а после обеда пусть m-le Klebeck мне споет:

Land meiner seligsten Gefühle,
Land meiner Jugend и пр.»[38]

Не забудьте, что тут рядом сядет «Воспоминание».

Тот, которому так дорого было воспоминание, у которого память сердца так была сильна, мог написать эти прелестные стихи:

О милый гость, святое прежде,
Зачем в мою теснишься грудь!
Могу ль сказать живи надежде,
Скажу ль тому, что было: будь?

Лунная ночь, с ее таинственностью и чарами, приводила его в восторг. Отношения его к старым товарищам, к друзьям молодости никогда не изменялись. Не раз он подвергался неудовольствию государя за свою непоколебимую верность некоторым из них. Обыкновенно он шел прямо к императрице, с ней объяснялся и приходил в восторге сообщить, что «эта душа все понимает». «У государя, – говорил он, – первое чувство всегда прекрасно, потом его стараются со всех сторон

[37] Добродушие *(нем.).*
[38] Страна моих святых чувств, Страна моей молодости *(нем.).*

испортить; однако, погорячившись, он принимает правду». Такой-то натуре пришлось провести столько лет в коридорах Зимнего дворца!

Но он был чист и светел душою и в этой атмосфере, ничего не утратив, ни таланта, ни душевных сокровищ. Эти сокровища, так щедро богом дарованные, сбереженные в полной чистоте и святости, сделали его высшим духовным человеком, каким он был в последние годы своей жизни. Письмо Базарова о его кончине свидетельствует об этом.

До 1829 года я не сближалась с Василием Андреевичем. В наш фрейлинский коридор ходили всякие люди просить помощи и подавать прошения, вероятно, полагая, что мы богаты и могущественны. Но ни того, ни другого в сущности не было. Однажды забрался ко мне серб, князь Божулич-Надин. Его дочь была со мною в институте; он желал возвратиться на родину и был в совершенной нищете. Таких денег у нас не было, и я решилась попросить Жуковского прийти ко мне и рассказала ему историю бедного серба.

Так как вы хотели иметь шуточные его письма, то вот вам его ответ:

«Милостивая государыня, Александра Иосифовна!

Имею честь препроводить к вашему превосходительству сто рублей государственными ассигнациями на счет того путешествующего сербского мужа, о котором с таким трогательным красноречием, при сиянии звездообразных очей своих, вы соблаговолили мне проповедывать во время сладко-сердечного моего пребывания в тесном жилище вашего превосходительства. Сие денежное пособие, извлеченное мною из собственного моего портфеля, будет мною собрано с их императорских высочеств; но для сего нужно мне иметь подробное описание той странствующей особы, о коей так благодетельно вы заботитесь, милостивая государыня. Итак, соблаговолите отложить вашу лень, столь усыпляющую ваше превосходительство, и миниатюрною ручкою вашею начертите несколько письменных каракулек, в коих означьте имя и обстоятельства оного сербского мужа, привлекшего на себя вашу благотворительность. Примите уверение в истинном благопочитании, с коим лично имею честь пресмыкаться у ног ваших. *Бык*».

Тотчас по присылке денег и письма он сам явился и говорит: «А каково я написал, ведь вышло хорошо!» – «Как можно

тратить время на такой вздор!» – «О, ведь я мастер писать такие штуки!» Сто рублей были его, потом он собрал еще, и серба мы снарядили в путь на родину. С этой поры у нас начались частые дружеские отношения и постоянные шутки, такие же детские и наивные, как письмо.

Вот еще и другое:

«Милостивая государыня, Александра Иосифовна!

Начну письмо мое необходимым объяснением, почему я отступил от общепринятого обычая касательно письменного изложения вашего почтенного имени. Мне показалось, милостивая государыня, что вас приличнее называть *Иосифовною,* нежели *Осиповною,* и сие основывается на моих глубоких познаниях библейской истории. В Ветхом Завете, если не ошибаюсь, упоминают о некотором *Иосифе Прекрасном,* сыне известного патриарха Иакова (он был продан своими злыми братьями). Вы, милостивая государыня, будучи весьма прекрасною девицею, имеете неотъемлемое право на то, чтобы родитель ваш именовался *Иосифом* Прекрасным, а не просто *Осипом,* слово несколько шероховатое, неприличное красоте и слишком напоминающее об *осиплости*, известном и весьма неприятном недуге человеческого горла.

Кончив сие краткое предисловие, обращаюсь к тому, что вооружило· гусиным пером мою руку для начертания нескольких строк к вам, милостивая государыня, строк, коим, признательно сказать, я завидую, ибо они; обратят на себя ваши звездно-сверкающие очи и, может быть, сподобятся произвести вашу зевоту, которая хотя и покривит прелестные уста ваши, но все не отнимет у них природной их прелести: ибо они останутся прелестными и тогда, когда вы, милостивая государыня, соблаговолите растянуть их на пол-аршина в минуту зевоты или надуть их, как добрую шпанскую муху, в минуту гнева. Чтобы кончить и выразить в двух словах все, что теперь у меня на сердце, скажу просто и искренно: все ли вы в добром здоровьи и будете ли дома после семи часов?

С глубочайшим почтением и таковою же преданностью честь имею быть, милостивая государыня, покорнейший слуга *Бык-Жуковский».*

Часть лета 1830 года мы провели в Петергофе, а потом в Царском Селе до сентября. Тут уже мы часто видались с Жуковским; но в 1831 году в Царском мы видались ежедневно. Пушкин с молодой женой поселился в доме Китаева, на Колпинской улице. Жуковский жил в Александровском дворце, а фрейлины

помещались в Большом дворце. Тут они оба взяли привычку приходить ко мне по вечерам, т. е. перед собранием у императрицы, назначенном к 9 часам. Днем Жуковский занимался с великим князем или работал у себя. Пушкин писал, именно свои сказки, с увлечением; так как я ничего не делала, то и заходила в дом Китаева. Наталья Николаевна сидела обыкновенно за книгою внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе, перед диваном, находились бумаги и тетради, часто несшитые, простая чернильница и перья; на столике графин с водой, лед и банка с крыжовниковым вареньем, его любимым (он привык в Кишиневе к дульчецам). Волоса его обыкновенно еще были мокры после утренней ванны и вились на висках; книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара, но он это любил, сидел в сюртуке, без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и прибирал всякую чепуху насчет своей соседки графини Ламберт. Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения. Он восхищался заглавием одной: «Поп – толоконный лоб и служитель его Балда». «Это так дома можно, – говорил он, – а ведь цензура не пропустит!» Он говорил часто: «Ваша критика, мои милые, лучше всех; вы просто говорите: этот стих не хорош, мне не нравится». Вечером, в 5 или 6 часов, он с женой ходил гулять вокруг озера, или я заезжала в дрожках за его женой; иногда и он садился на перекладинку верхом, тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистощимая mobilité de l'esprit[39]. В 7 часов Жуковский с Пушкиным заходили ко мне; если случалось, что меня дома нет, я их заставала в комфортабельной беседе с моими девушками. «Марья Савельевна у вас аристократка, а Саша, друг мой, из Архангельска, чистая демократка. Никого ни в грош не ставит». Они заливались смехом, когда она Пушкину говорила: «Да что же мне, что вы стихи пишете – дело самое пустое! Вот Василий Андреевич гораздо почетнее вас». «А вот

[39] Подвижность ума.

за то, Саша, я тебе напишу стихи, что ты так умно рассуждаешь». И точно, он ей раз принес стихи, в которых говорилось, что

Архангельская Саша
Живет у другой Саши.

Стихи были довольно длинны и пропали у нее. В это время оба, Жуковский и Пушкин, предполагали издание сочинений Жуковского с виньетками. Пушкин рисовал карандашом на клочках бумаги, и у меня сохранился один рисунок, также и арабская головка его руки. Жуковский очень любил вальс Вебера и всегда просил меня сыграть его; раз я рассердилась, не хотела играть, он обиделся и потом написал мне опять галиматью. Вечером Пушкин очень ею любовался и говорил, что сам граф Хвостов не мог бы лучше написать. Очень часто речь шла о сем великом муже, который тогда написал стихи на Монплезир:

Все знают, что на лире
Жуковский пел о Монплезире
И у гофмаршала просил
Себе светелочки просторной,
Веселой, милой, нехолодной и пр.

Они тоже восхищались и другими его стихами по случаю концерта, где пели Лисянская и Пашков:

Лисянская и Пашков там
Мешают странствовать ушам.

«Вот видишь, – говорил ему Пушкин, – до этого ты уж никак не дойдешь в своих галиматьях». – «Чем же моя хуже», – отвечал Жуковский и начал читать:

Милостивая государыня, Александра Иосифовна!
Честь имею препроводить с моим человеком
Федором к вашему превосходительству данную вами
Книгу мне для прочтения, записки французской известной
Вам герцогини Абрантес. Признаться, прекрасная книжка!
Дело, однако, идет не об этом. Эту прекрасную книжку
Я спешу возвратить вам по двум причинам: во-первых,
Я уж ее прочитал: во-вторых, столь несчастно навлекши
Гнев на себя ваш своим неприступным вчера повеленьем,
Я не дерзаю более думать, что было возможно

Мне, греховоднику, ваши удерживать книги. Прошу вас
Именем дружбы прислать мне, сделать
Милость мне, недостойному псу, и сказать мне, прошла ли
Ваша холера и что мне, собаке, свиной образине,
Надобно делать, чтоб грех свой проклятый загладить и снова
Милость вашу к себе заслужить? О царь мой небесный!
Я на все решиться готов! Прикажете ль, кожу
Дам содрать с своего благородного тела, чтоб сшить вам
Дюжину теплых калошей, дабы, гуляя по травке,
Ножек своих замочить не могли вы? Прикажете ль, уши
Дам отрезать себе, чтобы, в летнее время, хлопушкой
Вам усердно служа, колотили они дерзновенных
Мух, досаждающих вам неотступной своею любовью
К вашему смуглому личику. Должно, однако, признаться:
Если я виноват, то не правы и вы. Согласитесь
Сами, было ль за что вам вчера всколыхаться, подобно
Бурному Черному морю? И сколько Слов оскорбительных с ваших
Уст, размалеванных богом любви, смертоносной картечью
Прямо на сердце мое налетело! И очи ваши, как русские пушки,
Страшно палили, и я, как мятежный поляк, был из вашей
Мне благосклонной обители выгнан! Скажите ж,
Долго ль изгнанье продлится? Мне сон привиделся чудный.
Мне показалось, будто сам дьявол, чтоб черт его побрал!
В лапы меня ухватил...
Пользуюсь случаем сим, чтоб опять изъявить перед вами
Чувства глубокой, сердечной преданности, с коей пребуду
Вечно вашим покорным слугою.

Василий Жуковский

У него тогда был камердинер Федор (который жил прежде у Александра Ивановича Тургенева) и вовсе не смотрел за его вещами, так что у него всегда были разорванные платки носовые, и он не только не сердился на него, но всегда шутил над своими платками. Он всегда очень любил и уважал фрейлину Вильдермет, бывшую гувернантку императрицы Александры Федоровны, через которую он часто выпрашивал деньги и разные милости своим protégés, которых у него была всегда куча. M-lle Вильдермет была точно так же не сведуща в придворных хитростях, как и он; она часто мне говорила: «Joukoffsky fait souvent des bevùes; il est naïf, comme un enfant»[40], – и Жуковский

[40] Жуковский часто попадает впросак. Он наивен, как ребенок.

точно таким же образом отзывался об ней, На вечера, на которые мы ежедневно приглашались, Жуковского, не знаю почему, императрица не звала, хотя очень его любила. Однажды он ко мне пришел и сказал: «Вот какая оказия, всех туда зовут, а меня никогда; ну, как вы думаете: рассердиться мне на это и поговорить с государыней? Мне уж многие намекали». – «Ведь вам не очень хочется на эти вечера?» – «Нет». – «Разве это точно вас огорчает?» – «Нет, видите, ведь это, однако, странно, что Юрьевича зовут, а меня нет». – «Ведь вы не сумеете рассердиться, и все у вас выйдет не так, как надобно, и скучно вам будет на этих вечерах; так вы уж лучше не затевайте ничего». «И то правда, я и сам это думал, оно мне и спокойнее и свободнее». Тем и кончилась эта консультация.

Когда взяли Варшаву, приехал Суворов с известиями; мы обедали все вместе за общим фрейлинским столом. Из Александровского прибежал лакей и объявил радостную и страшную весть. У всех были родные и знакомые; у меня два брата на штурме Воли. Мы все бросились в Александровский дворец, как были, без шляп и зонтиков, и, проходя мимо Китаева дома, я не подумала объявить об этом Пушкину. Что было во дворце, в самом кабинете императрицы, я не берусь описывать. Государь сам сидел у ее стола, разбирал письма, писанные наскоро, иные незапечатанные, раздавал их по рукам и отсылал по назначению. Графиня Ламберт, которая жила в доме Олениной против Пушкина и всегда дичилась его, узнавши, что Варшава взята, уведомила его об этом тогда так нетерпеливо ожидаемом происшествии. Когда Пушкин напечатал свои известные стихи на Польшу, он прислал мне экземпляр и написал карандашом: «La comtesse Lambert m'ayant annoncée la première prise de Varsovie, il est juste, qu'elle reçoive le premier exemplaire, le second est pour vous»[41].

От вас узнал я плен Варшавы.
Вы были вестницею славы
И вдохновеньем для меня.

«Quand j'aurais trouvé les deux autres vers, je vous les enverrai»[42].

---

[41] Графиня Ламберт возвестила мне первая о взятии Варшавы: надо, чтобы она и получила первый экземпляр. Второй для вас.
[42] Когда я найду две другие строчки, пришлю их вам.

Писем от Пушкина я никогда не получала. Когда разговорились о Шатобриане, помню, он говорил: «De tout ce qu'il a écrit il n'y a qu'une chose qui m'aye plu; voulez vous que je vous l'écris dans votre album? Si je pouvais croire encore au bonheur, je le chercherais dans le monotonie des habitudes de la vie»[43].

В 1832 году Александр Сергеевич приходил всякий день почти ко мне, также и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки», – и на первом листе написал стихи: «В тревоге пестрой и бесплодной» и пр. Почерк у него был великолепный, чрезвычайно четкий и твердый. Князь П. А. Вяземский, Жуковский, Александр Ив. Тургенев, сенатор Петр Ив. Полетика часто у нас обедали. Пугачовский бунт, в рукописи, был слушаем после такого обеда. За столом говорили, спорили; кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово. Его живость, изворотливость, веселость восхищали Жуковского, который, впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все после кофия уселись слушать чтение, то сказали Тургеневу: «Смотри, если ты заснешь, то не храпеть». Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что никогда не спит: и предмет и автор бунта, конечно, ручаются за его внимание. Не прошло и десяти минут, как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рассмеялись, он очнулся и начал делать замечания как ни в чем не бывало. Пушкин ничуть не оскорбился, продолжал чтение, а Тургенев преспокойно проспал до конца.

Вы желаете знать мое понятие о Жуковском, т. е. нечто в роде portrait littéraire et historique[44]. Я никогда ничего не писала, кроме писем, и мне трудно теперь писать. Однако вот мое мнение. Жуковский был в полном значении слова добродетельный человек, чистоты душевной совершенно детской, кроткий, щедрый до расточительности, доверчивый до крайности, потому что не понимал, чтобы кто был умышленно зол. Он как-то знал, что есть зло en gros, но не видал его en detail[45],

---

[43] Из всего, что он написал, мне понравилось одно. Хотите, чтобы я его написал вам в альбом? Если бы я мог еще верить в счастье, я бы искал его в единообразии житейских привычек.

[44] Литературного и исторического портрета.

[45] В общем, в деталях.

когда и случалось ему столкнуться с чем-нибудь дурным. Теорией религии он начал заниматься, после женитьбы; до тех пор вся его религия была практическое христианство, которое ему даровано богом. Он втуне принял и втуне давал: и деньги, и протекцию, и дружбу, и любовь. Те, которые имели счастье его знать коротко, могут отнести к нему его же слова:

О милых спутниках и т. д.

Разговор его был простой, часто наивно-ребячески шуточный, и всегда, примешивалось какое-нибудь размышление, исполненное чувства, причем: его большие черные глаза становились необыкновенно выразительны и глубоки.

Воспоминания о Гоголе

Каким образом, где именно и в какое время я познакомилась с покойным Н. В. Гоголем, совершенно не помню. Это может показаться странным, потому что встреча с замечательным человеком обыкновенно нам памятна, и притом у меня память прекрасная. Когда я однажды спрашивала Н. В., «где мы с вами познакомились», он мне отвечал: «Неужели вы не помните? Вот прекрасно! Так я ж вам не скажу: это, впрочем, тем лучше, это значит, что мы всегда были с вами знакомы». И сколько раз я его потом ни просила мне сказать, где мы познакомились, он всегда отвечал: «Не скажу, мы всегда были с вами знакомы». В 1837 году я провела зиму в Париже, rue du Mont Blanc, № 21. Русских было довольно, в конце зимы был Гоголь с приятелем своим Данилевским. Он был у нас раза три один, и мы уже обходились с ним как с человеком очень знакомым, но которого, как говорится, ни в грош не ставили. Все это странно, потому что мы читали с восторгом «Вечера на хуторе близ Диканьки» и они меня так живо перенесли в великолепную Малороссию. Оставивши еще в детстве этот жрай, я с необыкновенным чувством прислушивалась ко всему тому, что его напоминало, а «Вечера на хуторе» так ею и дышат. С ним тогда я обыкновенно заводила речь о высоком камыше и бурьяне, о белых журавлях на красных лапках, которые по вечерам прилетают на кровлю знакомых хат, о галушках и варениках, о сереньком дымке, который легко струится и выходит из труб каждой хаты; пела ему «Не ходи, Грицько, на вечерницы». Он более слушал, потому что я очень болтала, но однажды описывал мне малороссийский вечер, когда солнце садится, табуны гонят с поля и отсталые лошади несутся, подымая пыль копытами, а за ними с нагайками в руках пожилой хохол с чупруном; он описывал это живо, с любовью, хотя прерывисто и в коротких словах. О Париже мало было речи; по-видимому, он уже и тогда его не любил. Однако он посещал с Данилевским театры, потому что рассказывал мне, как входили в оперу à la file dans la queue[46] и как торгуют правом на хвост. С свойственною ему одному способностью замечать то, что другим кажется

[46] По очереди.

ни смешным, ни замечательным, он рассказывал это очень смешно. Один раз говорили мы о разных комфортах в путешествии, и он сказал мне, что хуже всего на этот счет в Португалии, и советовал мне туда не ездить. «Вы как это знаете, Ник<олай> Вас<ильевич>?» – спросила я его. – «Да я там был, пробрался туда из Испании, где также прегадко в трактирах», – отвечал он преспокойно. Я начала утверждать, что он не был в Испании, что это не может быть, потому что там все в смутах, дерутся на всех перекрестках, что те, которые оттуда приезжают, всегда много рассказывают, а он ровно никогда ничего не говорил. На все это он очень хладнокровно отвечал: «На что же все рассказывать и занимать публику? Вы привыкли, чтобы вам с первого слова человек все выкладывал, что знает и не знает, даже и то, что у него на душе». Я осталась при своем, что он не был в Испании и меж нами осталась эта шутка: «Это когда я был в Испании». В Испании он точно был, но проездом, потому что в самом деле оставаться долго было неприятно после Италии: ни климат, ни природа, ни художества, ни картины, ни народ не могли произвести на него особенного впечатления. Испанская школа сливалась для него с Болонскою в отношении красок и в особенности рисунка; Болонскую он совсем не любил. Очень понятно, что такой художник, как Гоголь, раз взглянувши на Рафаэля в Риме, не мог слишком увлекаться другими живописцами. Вообще у него была une certaine sobriété dans l'appréciation de l'art; il fallait que toutes les cordes de son âme reconnaissent une chose pour belle pour qu'il la qualifia de telle[47]. «Соразмерная стройность во всем, вот что прекрасно», – говорил он.

Лето того же 37 года я провела в Бадене, и Н. В. приехал не лечиться, но пил по утрам холодную воду в Лихтентальской аллее. Мы встречались почти каждое утро. Он ходил или лучше сказать бродил один, потому что иногда был на дорожке, а чаще гулял en zig-zag на лугу у Стефани-бад, Часто он так был задумчив, что я долго, долго его звала; обыкновенно он отказывался со мною гулять, прибирая самые нелепые резоны.

---

[47] Известного рода трезвость в оценке искусства; лишь в том случае, когда он всеми струнами души своей признавал произведение прекрасным, тогда оно получало от него наименование прекрасного.

Его, кроме Карамзина, из русских никто не знал, и один господин высшего круга мне сказал, встретив меня с ним: «Vous donnez dans la mauvaise société; vous vous promenez avec un certain Gogol, qui est très mauvais genre»[48].

В июне месяце он нам вдруг предложил вечером собраться и объявил, что пишет роман под названием «Мертвые души» и хочет прочесть нам две первые главы.

Андрей Карамзин, граф Лев Сологуб, Платонов и нас двое условились собраться в 7 часов вечера. День был знойный. Около 7-го часа мы сели кругом стола. Н. В. взошел, говоря, что будет гроза, что он это чувствует, но несмотря на это вытащил из кармана тетрадку в четверку листа и начал первую главу столь известной своей поэмы. Меж тем гром гремел, и разразилась одна из самых сильных гроз, какую я запомню. С гор потекли потоки, против нашего дома образовалась каскада с пригорка, а мутная Мур бесилась, рвалась из берегов. Он поглядывал в окно, но продолжал читать спокойно. Мы были в восторге, хотя что-то было странное в духе каждого из нас. Однако он не дочел второй главы и просил Карамзина с ним пройтись до Грабена, где он жил. Дождь начал утихать, и они отправились. После Карамзин мне говорил, что Н. В. боялся идти один домой и на вопрос его отвечал, что на Грабене большие собаки, а он их боится и не имеет палки. На Грабене же не было собак, и я полагаю, что гроза действовала на его слабые нервы, и он страдал теми невыразимыми страданиями, известными одним нервным субъектам. На другой день я еще просила его прочесть из «Мертвых душ», но он решительно отказал и просил даже не просить. В августе мы оставили Баден-Баден, и Гоголь с другими русскими проводил нас до Карлсруэ, где ночевал с моим мужем в одной комнате и был болен всю ночь, жестоко страдая желудком и бессонницей. О первой своей нервической болезни, которую выстрадал в Вене, он не говорил ни слова.

Мы приехали в Россию в 1838 году. Он оставался в чужих краях, и ничего об нем не слыхали, не были с ним в переписке. В 1841 году он вдруг явился ко мне в хорошем расположении

[48] Вы находитесь в дурном обществе; вы гуляете с каким-то Гоголем, человеком очень дурного тона.

духа, но о «Мертвых душах» не было и помину. Я узнала тут, что он уже был в коротких отношениях с Виельгорскими, но сама еще тогда редко с ними виделась и не старалась разъяснить, когда и как эта связь устроилась. Находила его сближение с comme il faut, очень естественным и простым. В том же году под весну я получила от него письмо, очень длинное, все исполненное слез, почти стону, в котором жалуется с каким-то почти детским отчаянием на все насмешливые отметки московской цензуры. К письму была приложена просьба к государю, в случае, что не пропустят первый том «Мертвых <душ>». Эта просьба была прекрасно написана, очень коротко, исполнена достоинства и чувства, вместе доверия к разуму государя, который один велел принять «Ревизора» вопреки мнению его окружавших. Я, однако, решилась прибегнуть к совету графа М. Ю. Виельгорского; он горячо взялся за это дело и устроил все с помощью князя Д. А. Дондукова, бывшего тогда попечителем универ<ситета>. Ни этого письма, ни просьбы у меня не нашлось; вероятно, они у графа Виельгорского, и даже мне кажется, что просьбу я возвратила Гоголю, как вещь мне не принадлежащую.

Весною 42 года Гоголь приехал в Петербург и остановился у Плетнева, приходил ко мне довольно часто и уже очень запросто, очень дружески. Очень сблизился с братом моим Аркадием О<сиповичем>, изъявил желание прочитать отрывки уже напечатанных «Мертвых душ» и читал у Вяземского разговор двух дам. Никто так не читал, как покойный Николай Васильевич и свои и чужие произведения; мы смеялись неумолкаемо, и, если правду сказать, Вяземский и мы не подозревали всей глубины, таящейся в этом комизме. Такова уже участь комика, и надобно, чтобы долго смеялись ему, пока вдруг не уразумеют некоторые избранные, что этот смех вызван у него плачем души любящей и скорбящей, которая орудием взяла смех.

А отчего душа так или иначе выражает свои чувства, известно одному богу. Этот вопрос, конечно, смущал самого Гоголя. Высокий христианин в душе, он знал, что образец наш, Христос Спаситель, не смеялся никогда. Потому легко понять, что произошло в нем, когда он увидел, что Чичиков, Собакевичи, Ноздревы производят лишь смех с отвращением для иных, отвращение в людях высшего тона и в малом числе его

поклонников смех с восторгом к артисту. Один Плюшкин в 1-м томе выступает резко, как трагическое лицо, но Плюшкин вообще менее интересовал читающую публику. Все это в первую минуту Гоголь чувствовал; но до страдальчества дошло это позже, когда пошла так называемая его школа, и страдание это вырвалось из груди его в «Переписке с друзьями». Ее никто не понял, эту переписку, потому что никому не был открыт он вполне, и что *перегорело в его душе* (собственные его слова в письме ко мне), было известно только богу.

Летом в июле месяце я жила в городе. Он сам предложил читать мне новую комедию «Женитьба». Вяземский, Плетнев, брат мой Аркадий и двое Карамзиных были приглашены к обеду. Гоголь был весел, спокоен; после обеда, отдохнув немного, вынул из кармана тетрадку и начал читать так, только как он один умел читать. Швейцару было приказано никого не принимать; но внезапно взошел князь Михаил Александрович Голицын, который мало знает русский язык. Меня это смутило, я подошла к нему и рассказала, в чем дело; он просил позволения остаться. К счастью Гоголь не обратил никакого внимания и продолжал читать. После прочтения все его благодарили; он казался весел и доволен впечатлением и ушел домой. Голицын не находил слов, чтобы благодарить, и сказал, что подобных приятных минут не проводил в Петерб<урге>, что читал «Мертвые души» с восторгом и радовался, что, наконец, увидел их автора. Вскоре Гоголь уехал за границу.

Осенью того же года я поехала в Италию и остановилась на два месяца во Флоренции. Неожиданно получаю письмо от Н. В., в котором он пишет, что хотел сам ко мне ехать, но что удерживает больной Языков; просит меня скорее приезжать в Рим. В генваре месяце брат мой Аркадий туда поехал для приискания мне квартиры, а в конце того же месяца я отправилась с детьми. Мы выехали в Рим часов в 7, уже смеркалось, кое-где зажигался фонарь. И мы шагом потянулись в собственных экипажах, не с vetturino[49].

Переночевавши в Romiglione, мы встали как-то празднично, с мыслью, что на другой день проснемся в Риме. Погода была

---

[49] Проводником *(ит.)*.

великолепная, солнечная и tiède[50]. Я отворила все окна, выглядывала то в одно, то в другое, чтобы увидать скорее купол Петра; от нетерпения у меня разболелась голова. Наконец мы поравнялись с гробницей Нерона. Vetturino мне закричал: «Ecco San Pietro, alla destra, signora»[51], и я перекрестилась. На одну минуту показался весь Рим в каком-то легком тумане, как огромная масса, и немного, очень немного выступил знаменитый купол Петра, который, увы! жестяной. Потом я уже начала помышлять об обеде, расположении комнат и проч<их> житейских суетах, потому что дети устали от дороги.

Начало вечереть, проехали Ponte Malvo и въехали после пятидневного похода в Porta del Popolo. Остановились у гауптвахты, где заплатили за догану[52] и получили письмо от брата с направлением, куда ехать. Смеркалось, вокруг фонтана и по Corso тянулись еще экипажи римлян, и мы тоже потянулись за ними вдоль по длинному Corso, повернули налево и остановились на Piazza Troiana у Palazetto Valentini. Верхний этаж был освещен. На лестницу выбежал Н. В. с протянутыми руками и лицом, исполненным радости. «Все готово, – сказал он, – обед вас ожидает, и мы с Аркадием Осиповичем уже распорядились. Квартиру эту я нашел, воздух будет хорош, Corso под рукой, а что лучше всего, вы близко от Колизея и Foro Boario». Немного поговорили, и он отправился домой с обещанием прийти на другой день. В самом деле пришел в час, спросил бумажку и карандаш и начал писать, куда следует понаведываться чаще Александре Осиповне и с чего начать. Были во многих местах и кончили Петром; он возил бумажку с собой и везде отмечал что-нибудь, написал: *Петром осталась довольна Александра Осип<овна>.* Таким образом он меня возил целую неделю и направлял всегда так прогулки, что кончалось все Петром, это так следует: на Петра никогда не наглядишься, хотя фасад у него и *комодом.* Когда мы осмотрели Рим *en gros*[53], он начал ко мне являться реже по утрам. Он жил Via Felice с Языковым, который в то время был болен, не ходил, и Н. В. проводил с ним

[50] Мягкая.

[51] Вот Святой Петр направо, сударыня *(ит.).*

[52] Таможню.

[53] В общем.

все досужие минуты. Никто не знал лучше Рима, подобного чичероне не было и быть не может. Не было итальянского историка или хроникера, которого бы он не прочел, не было латинского писателя, которого бы он не знал, все, что относилось до исторического развития искусства даже современности итальянской, ему было известно и как-то особенно оживляло для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое воображение и которую он так нежно любил, в которой его душе яснее виделась Россия, в которой, описывая грустных героев 1-го тома «Мертвых душ», отечество его озарялось для него радужно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления. Изредка тревожили его там нервы в мое пребывание, и почти всегда я видела его бодрым и оживленным. И точно, в Риме есть что-то примиряющее человека с человечеством. Слава языческого мира там погребена так великолепно; на великолепных развалинах воздвигся другой Рим, христианский, который сперва облекся в смирение в лице мучеников или молчаливых отшельников в катакомбах, но впоследствии веков, зараженный тою же гордынею своих предков, начал погребаться с древним Римом. Развалина материальная и развалина духовная – вот что был он в 40-х годах, но все над ним то же голубое небо, то же яркое, теплое, но не палящее солнце, та же синяя ночь с сиянием звезд, тот же благотворный воздух, не тревожный, как неаполитанский, но успокаивающий. И столько красоты и величия в воспоминаниях не примиряет ли нас с человечеством? Остается благодарность Провидению, которое позволило всякому принести плод свой во время свое, и, гуляя по развалинам, убеждаешься без горечи, что народы, царства, так же как и всякая личность, преходящи. Рим мне казался всегда каким-то всемирным музеумом, в котором всякий камень гласит об историческом, назидательном событии, но уже не имел никакого значения в настоящем, и вот почему в Риме не грустно, а отрадно. Николаю Васильевичу, как художнику, говорил весь Рим особенным языком. Это сильно чувствуется в его отрывке «Рим». S-te Beuve говорит что ни один путешественник не делал таких точных и вместе оригинальных наблюдений; особенно поразило его замечание Гоголя о трастеверинах

и собрание нескольких песен почти никому незаметной, но весьма особенной группы римлян. Едва ли сами жители города знают, что трастеверяне с ними никогда не сливались и не сливаются, что у них даже свой язык еще, или свой patois[54]. Заметив, что Гоголь так хорошо знает все, что касается до древности, я сама завлеклась ею; я его мучила, чтобы узнать поболее. Карты, планы у меня лежали на столе, Nibuhr, Canina, Visconti – все беспрестанно пересматривалось; мне хотелось перенестись в эту историческую даль, в этот мрак, и часто я к нему приставала с вопросами.

Один раз, гуляя в Колизее, я ему сказала: «А как вы думаете, где Нерон сидел? Вы это должны знать, и как он сюда являлся, пеший, в колеснице или на носилках?» Гоголь рассердился: «Да что вы ко мне пристаете с этим мерзавцем! Вы воображаете, кажется, что я в то время жил; вы воображаете, что я хорошо знаю историю. Совсем нет. Историю никто еще так не писал, чтобы живо можно было видеть или народ, или какую-нибудь личность. Вот один Муратори понял, как описывать народ; у него одного чувствуется все развитие, весь быт, кажется, Генуи; а прочие все сочиняли или только сцепляли происшествия; у них не слышится никакой связи человека с той землей, на которой он поставлен». Потом продолжал уже разговор об истории и, советуя мне прочесть *Cantu*, прибавил: «Histoire universelle» Боссюэта написана с одной духовной точки, в ней не видна свобода человека, которому бог предоставил действовать или хорошо, или дурно; он был католик. Guizot написал хорошо также «Histoire des Révolutions», но слишком с феодальной точки. Надобно бы найти середину и написать ярче, придать более выпуклости. Я всегда думал написать географию; в этой географии можно бы было увидеть, как писать историю. Но об этом после, друг мой, я заврался, а скажу вам между прочим, что подлец Нерон входил в эту ложу в золотом венке и в том костюме, в котором вы его видели в Ватикане. Но не часто и не долго он говорил; обыкновенно шел один поодаль от нас, подымал камушки, срывал травки или, размахивая руками, попадал на кусты и деревья, в campagna ложился

[54] Местное наречие.

навзничь и говорил: *«Забудем все, посмотрите на это небо»*, – и долго задумчиво и вместе весело он глядел на это голубое, безоблачное, ласкающее небо. В одно утро он явился с праздничным лицом и объявил, что хочет мне сделать сюрприз. «Надобно, чтобы Аркадий Осипович и Ханыков были с нами», – и мы поехали в San Giovani in Laterano. Он отправил нас в церковь, а сам оставался на паперти, так что вправо у него была S-ta Croce in Yerusalemo, а влево Scala Santa. Мы осматривали все капеллы, все редкости, все предметы уважения или удивления и вышли к нему; он стоял на одном месте, и глаза его как будто терялись вдали и как будто ему... <оборвано>.

Меня просили многие из моих знакомых написать не биографию Ник. Вас., но просто все обстоятельства моего знакомства с ним. Гоголь был такое интересное, такое новое явление на литературном поприще, что биографию его почти невозможно написать, если друзья его не согласятся передать черты его жизни или слова его, более или менее значительные и все обнаруживающие внутреннее состояние его души. Гоголь был добр, кроток, ленив и вместе деятелен, самолюбив и смиренен; вообще двойственность в нем обнаруживалась и обличалась резко, как всегда бывает у людей гениальных. Постоянное было в нем одно: желание победить все низкое, недостойное и стать выше душою. Его уважение, даже особенное предпочтение... <оборвано>.

Воспоминания о Н. В. Гоголе
(в записи А. Н. Пыпина)

Как<им> обр<азом>, где им<енно> познак<омилась> с Н. В. – соверш<енно> не помню, но поро<й>, к<огда> я спраш<ивала> у Н. В., где мы с ва<ми> позн<акомились>, он мне отв<ечал>: «Неуж<ели> вы не помн<ите>? Вот прекрасно! так я же вам и не ск<ажу>. Это впроч<ем> тем лучше. Это знач<ит>, что мы всегда б<ыли> с в<ами> знак<омы>». Сколько раз я пот<ом> прос<ила> его сказ<ать>, где мы позн<акомились>, он отв<ечал>: «Не скажу ж – мы всегда были знакомы».

В 1837 я провод<ила> зиму в Пар<иже>, Rue de Mont Blanc № 21, и Н. В. ход<ил> ко мне дов<ольно> часто. Я с ним уже обх<одилась> к<ак> с чел<овеком> хор<ошо> знакомым. Разгов<ор> мы ч<асто> вели о Мал<оссии>, о высоком камыше, о бурьяне, о журавл<ях> на красн<ых> лапках (аисты), о галушк<ах>, варен<иках>, о сереньком дыме. Пела ему Грицько. Он более слуша<л>, но однажды описыв<ал> мне мал<ороссийский> веч<ер>, к<огда?> солнце сад<ится>, табуны несутся, подым<ая> пы<ль> копыт<ами>, а за ними хохол с чубом и с наг<айкой> в рук<е>. Он описывал все это очень живо, с любовью, но прерывисто и в коротк<их> слов<ах>. О Париже было мало реч<и>, по-вид<имому>, уж он тогда его не люб<ил>. Он, одн<ако>, посещ<ал> кам.<?> театры, п<отому> ч<то> расск<азывал> мне, к<ак> входят a la file[55], как покупают право на хвост (как он назыв<ал> en fil), как им торгуют, и с свойственным ему способом замечать то, что друг<им> каж<ется> не смешным и не замечате<льн>ым, он это расск<азывал> оч<ень> забавно. Однажды мы гов<орили> о раз<ных> комфортах в путеш<ествии>, и он мне сказ<ал>, ч<то> хуже всего на этот счет в Португалии и не сов<етовал> туда ехать. «А вы к<ак> это знаете, Н. В.?» – «Я там был; пробрался в Лисаб<он> из Исп<ании>, где так же прегадко в трактирах. Слуги там очень нечисты, и раз, когда я жал<овался> трактирному слуге, ч<то> котлеты хол<одные>, то он оч<ень> хладнокр<овно> пощуп<ал> ее рук<ой>

---

[55] По очереди.

и приб<авил>, ч<то> нет, ч<то> достаточно теплые». Так как он ни разу не упом<инал> прежде об Исп<ании>, то я нач<ала> утв<ерждать>, ч<то> он не б<ыл> в Исп<ании>, ч<то> он не мог там б<ыть>, п<отому> ч<то> там разб<ойники?>, дерутся на вс<ех> перекрестках, и на все это он отв<ечал> мне очень хладн<окровно>: «На что ж все расск<азывать> и заним<ать> собою публ<ику>. Вы привыкли, чтобы вам с перв<ого> сл<ова> человек все выхлестал – что знает и чего не знает, даже и то, что у него на душе». Я осталась при своем, ч<то> он не б<ыл> в Исп<ании>, и между нами была шутка: «А, это когда вы бы<ли> в Исп<ании>» (или «когда я б<ыл> в Испании»). Шутка эта б<ыла> повод<ом> к др<угой> шутке, уже в Риме в 1843 г., при В. А. Перовск<ом>, Я. В. Ханык<ове> и А. О. Россет. Зашла речь об Испании. Я сказ<ала>, что Н. В. мастер очень серьезно солгать. На ч<то> он мне и сказал: «Так если ж вы хотите знать правду, я никогда не б<ыл> в Исп<ании>, но зато я б<ыл> в К<онстантинополе>, а вы этого и не знаете». Тут он нач<ал> опис<ывать> нам во всех подробностях кон<стантинопольские> ули<цы>, описывал местности, называл собак, как под<ают> кофе в мал<еньких> чашк<ах> с гущей. Целы<х> с полчаса занима<л> нас св<оими> расск<азами>. После этого я ему ск<азала>: «Вот сейч<ас> и видно, ч<то> вы б<ыли> в К<онстантинополе>». А он отв<ечал> мне на это: «Видите, к<ак> легко вас обм<ануть>». «Вот же я и не б<ыл> в К<онстантинополе>, а в Исп<ании> и П<ортугалии> был». Он был в Константиноп<оле> точно, после путеш<ествия> в Иерус<алим>, но когда я расспр<ашивала>, он мне ничего не расск<азал>. Т<аким> обр<азом> он молч<ал> и о Св<ятых> мест<ах>. Только расск<азал> мне одну ночь, проведенную им в церкви. Я понимаю, поч<ему> он говорил мало об Испа<нии>. Он б<ыл> под влиянием Рима. Испанск<ая> школа слив<алась> для него с болонскою, с венец<ианскою> в отнош<ении> красок и в особ<енности> рисунка, кот<орый> он не любил, особ<енно> болонцев. Такой худ<ожник>, как Гог<оль>, взглянувши на М<икель> А<нджело> и на Раф<аэля>, не мог слишк<ом> увлекаться другими живописцами. «Il avait un certain sobriété dans l'appréciation des belles arts. Il fallait que toutes les cordes de son âme reconnaiss<aient> quelque chose

pour belle, pour qu’il la quallifia de telle»[56]. Заметьте, какая стройность всегда в антично<сти>.

В 1837 лет<ом> я жила в Бад<ене>. Н. В. приехал больной, но не лечился. Он пил по утрам хол<одную> в <оду> в Лихтентальской аллее. Он ходил или лучше сказ<ать> брод<ил> один по лугу, зигзагами возле Стефани-бад. Часто он б<ывал> так задумч<ив>, ч<то> я его звала и не могла дозваться, и когда и дозовусь, то он отказ<ывался> гулять, прибир<ая> сам<ый> нелеп<ый> резон. Его из русск<их>, кроме покойно<го> Андрея Ник. Карамз<ина>, никто не знал, и даже один господ<ин> из высш<его> круга меня упрекал, что я гуляю с mauvais genre[57]. В июле месяце он нам вдруг предложи<л> собраться вечером и объяви<л>, что пишет ром<ан> под назв<анием> «М<ертвые> Д<уши>» и хоч<ет> нам прочесть 2 перв<ых> главы. Я пригласила покойных Андр<ея> Карамз<ина> и гр. Льва Сологуба и В. П. Платоно<ва> (поб<очный> сын князя Зубова). День б<ыл> оч<ень> знойный. В 7 часов веч<ера> он сел у круглого стола, окно затвори<ли?>; началась страшная гроза. С гор полилися каскады. Сначала он б<ыл> смущен, но потом продолжал читать. Мы оч<ень> много смеялись и были в восторге. После он прос<ил> Кар<амзина> провод<ить> его на Грабен, говоря, ч<то> т<ам> много собак. На Грабене же не б<ыло> соб<ак>. Гоголь был в нервич<еском> распол<ожении> от чтения и грозы. На другой день я просила Н. В. еще проч<итать>, но он отказ<ался> решит<ельно> и даже прос<ил> не просить.

В полов<ине> ав<густа> мес<яца> мы остав<или> Баден. Н. В. нас провод<ил> до Карлсру, где с нами переночевал в трактире. Был всю ночь болен. На др<угой> день мы уех<али>, а он возвр<атился> в Баден с Кар<амзиным> и Плат<оновым>. Мы с ним езди<ли> на 3 дни в Страсбург, и в Стразбург<ской> каф<едральной> церкви он карандашом срисовывал необыкновенно красиво карнизы над карнизами. Как вы хорошо рисуете? – «А вы этого и не знаете?» Принес кусок церкви. – Над каждой колонной различные орнаменты и оч<ень> красивы.

---

[56] Он был несколько строг в оценке произведений искусства. Для признания чего-либо прекрасным ему необходимо было признать это всеми струнами своей души.

[57] Человеком дурного тона.

Разорвал – «я лучше что-ниб<удь> нарисую». После этого я не б<ыла?> с ним в переп<иске?> в 1838–41. В 1841 году он яв<ился> ко мне в Пет<ербурге> в дом мой на Мойке; б<ыл> в хор<ошем> распол<ожении> духа, но о «М<ертвых> Д<ушах>» не б<ыло> и помину. Тут я узн<ала>, ч<то> он в коротк<их> отнош<ениях> с сем<ейством> графов Виельгорских. Я находила это оч<ень> естественн<ым>, потому что он б<ыл> оч<ень> дружен с Иосиф<ом> Виельгорским. Весной 1841 я получила от него очень длинное п<исьмо>, исполненное> слез, воплей, стонов, в кот<ором> он жалуется на моск<овскую> цензуру с каки<м-то> почти детск<им> отчаян<ием>. К письму была прилож<ена> пр<осьба> госуд<арю>, к<оторую> я д<олжна> б<ыла> под<ать>, если отк<ажутся> печат<ать> I т<ом> «М<ертвых> Д<уш>». Просьба была коротка и прекр<асно> написана, с полн<ым> доверием к милостив<ому> вним<анию> г<осударя> имп<ератора> и к его высок<ому> разуму. Я решилась, одн<ако>, посовет<оваться> с гр. М. Ю. Виельгорским. Он горячо взялся за это дело и устроил его с кн. Дундуков<ым>, попечит<елем> Пет<ербургского> окр<уга>. Ни письма, ни просьбы нет. Они у М. Ю. Виельгорского. В 1842 Гоголь остан<авливался> у Плетнева, часто быв<ал> у нас и очень сблиз<ился> с брат<ом> Арк<адием> Ос<иповичем>. Тогда он нам читал отрывки из напеч<атанных> «М<ертвых> Д<уш>» у князя П. А. Вяземск<ого>. Особенно хор<ошо> и забавно читал разговор двух дам и, кажется, никто из нас не подозрев<ал> тайного смысла «М<ертвых> Д<уш>». Он же сам не обнаруж<ивал> ничего. После этого он мне предлож<ил> чит<ать> ком<едию> «Женитьбу». К обеду б<ыли> приг<лашены> Вяз<емский>, Плетнев, Андр<ей> и Владимир Карамзины и Арк<адий>, брат мой, по желанию Гоголя.

После обеда все собрал<ись> в кабинете. Швейцару приказ<али> б<ольше> никого не принимать, но внезапно взош<ел> кн. М. А. Голицын, котор<ый> долго жил за границ<ей>, почти там воспитыв<ался> и мало зн<ал> р<усский> яз<ык>. Гоголю он бы<л> почти незнак<ом>. Это появление меня смутило. Я подошла к нему и расск<азала>, в чем дело. Он просил убедительно позвол<ить> остаться. К счастью, Гоголь не обрати<л> никак<ого> внимания и продолж<ал> чит<ать>. После чтения все его благод<арили>, он каз<ался> очень

довол<ьным> впечатлением, весе<л> и уше<л> домой. Голицын не наход<ил> слов благодарить. Это почти начало 1844.

Вскоре Г<оголь> уех<ал> за границу. Осенью 1843 я поех<ала> в Италию и остан<овилась> в ноябре во Флоренции. Неожиданно получи<ла> письмо от Н. В., кот<орый> пишет, что его уд<ерживает> больной Язык<ов> и прос<ил> меня приехать в Рим. Письмо это оканч<ивалось>: «Вас увидеть будет “светлый праздник для души моей”». Вторично пис<ал>, оканч<ивая?>: «Приезжайте: вы не знаете, как вы сами себе будете благодарны». В конце дек<абря> брат мой поех<ал> в Рим для приискания мне там жилья, а в конце генв<аря> я сама отправи<лась> и приехала на Piazza Troiana palazzeto Valentini. Верхний этаж б<ыл> освещен. На лестницу выбеж<ал> Н. В. с протянуты<ми> рук<ами> и лицом, исполненн<ым> радости. «Все готово, – сказ<ал> он, – обед вас ожидает, и мы с Арк<адием> О<сиповичем> уже распоряд<ились>. Квартеру эту я наш<ел>. Воздух будет хорош. Корсо под рукою, а что всего лучше – вы близко от Колизея и Fora Boario» Немного поговори<ли>, и он отправился домой с обещанием придти на др<угой> день. В сам<ом> деле приш<ел> в час, спроси<л> бумажку и карандаш и нача<л> писать: «Куда следует понаведываться чаще А. О. и с чего начать». Мы были в этот день во многих местах и кончили Петром. Он возил бумажку с собой и везде отмечал что-нибудь. Напис<ал>: «Петром осталась А. О. довольна». Таким образом он воз<ил> меня неделю и направлял всегда так прогулку, ч<то> кончалось все Петром. «Это так следует, – гов<орил> он, – на Петра никак не наглядишься, хотя фасад у него и комодом». Раз он воз<ил> нас в San Pietro in vinculi, где стоит статуя Моисея Мик<ель> Анж<ело>. Он велел нам идти за собою и не оглядываться в правую сторону, потом привел нас к одной колонне и вдруг велел обернуться. Все ахнули от удивления и вост<орга>, увидев Моисея с длинной бород<ой> сидящего. Гог<оль> сказ<ал>: «Вот вам и Мик<ель> Анж<ело>. Каков?» Сам так радовался, как будто бы *он* эту статую сделал. Вообще он хвастал Римом перед нами, как будто это его открытие.

В особ<енности> он заглядывался на древн<ие> статуи и на Рафаэля. Мы с ним посещали Фарнезину, где он оч<ень> серд<ился> на м<еня>, п<отому> ч<то> наход<ил>, ч<то> я

не дов<ольно> восхищаюсь Психеею Рафаэля. Он столько же восхищ<ался> Р<афаэлем> живоп<исцем>, к<ак> и Раф<аэлем> архитектором: вози<л> нас даже нарочно на виллу, постр<оенную> по рисункам Рафаэля. С ним мы также сов<ершили> путеш<ествие> на Петра, и к<ак> я ему гов<орила>, ч<то> я не реш<илась> бы ни за что идти по внутр<еннему> карнизу Петра, кот<орый> так<ой> ширины, что кар<ета> в 4 <места> – Он сказ<ал>: «Теп<ерь> и я не решил<ся>, пот<ому> ч<то> нервы у<ж не те>, но прежде я по цел<ым> час<ам> лежал на этом кар<низе>, и верхний слой Петра мне так изв<естен>, как едва ли кому другому. Нельзя надивиться дов<ольно> гению М<икель> А<нжело>, когда вглядишься в Петра». Мы с ним сов<ершили> поездку в Альбано. Он снач<ала> казв<ался> оч<ень> вес<елым> и дов<ольным>, потом вдр<уг> поч<увствовал> скуку и томн<ость?>. Вечером мы собрались вместе и од<ин> из нас нач<ал> читать «Lettres d'un voyageur» George Sand. Я заметила, как Н. В. был необ<ыкновенно> тревож<ен>, лом<ал> руки, не гов<орил>, ни<чего?>, к<огда?> мы восх<ищались> нек<оторыми> местами, смотрел как-то пасмурно и даже вскоре оставил нас. На др<угой> день, когда я его спрашив<ала>, зач<ем> он уш<ел>, он спрос<ил>, люблю ли я скрыпку? Я ск<азала>, что да. Он сказ<ал>: «А люб<ите> ли вы, к<огда> на скр<ыпке> фальш<иво> игр<ают>?» Я ск<азала>: «Да что же это знач<ит>?». Он: «Так ваша Ж<орж> З<анд> вид<ит> и понимает природу. Я не мог равн<одушно> вид<еть>, к<ак> вы можете эт<им> <нрзб> восх<ищаться>». (Разсказ<ал>: «Я уд<ивляюсь>, к<ак> вам вообще нрав<ится> все это растрепанное»). Мне тогда казал<ось>, ч<то> он к<ак> б<ы> жалел нас, что мы мож<ем> эт<им> восх<ищаться>. Но и весь д<ень> он б<ыл> оч<ень> пасму<рен>. Након<ец>, возвр<ащаясь> из гулянья, с удивл<ением> узнал<и>, что Н. В. от нас улетел в Р<им> (На 3 дня <нрзб> Ханыков, дети).

Во вр<емя> прогул<ок> его особ<енно> забав<ляли> наши ослы, к<оторых> он сч<итал> особ<енно> умными и приятными животными и ув<ерял>, что ни на к<аком> яз<ыке> не наз. <нрзб> gli ciuci[58] и пора срыв, безгр. ради травли <?>.

[58] Ослы *(ит.)*.

Представлялся в<ел.> к<нягине> Марье Никол<аевне> утром. Она оч<ень> милост<иво> приняла и раз приказа<ла> приглас<ить> на музык<альный> веч<ер> к гр. Вьель<горской>, где она была.

Под весну, к<огда> уже сдел<алось> в поле веселее, мы с ним выезжали в кампанию ди Roma. Оч<ень> люб<ил> Ponte momentano u aqua Cetoza, ложился на спине, ни слова не гов<орил>. Когда спра<шивали>, отвеч<ал>: «Зачем гов<орить>? Тут надобно дышать, дышать, втягивать носом этот живит<ельный> воздух и Б<ога> благодар<ить>, что столько прекр<асного> на свете».

На Стр<астной> нед<еле> Гог<оль> говел, и тут я уже зам<етила> его религ<иозное> располож<ение>. Он стоял обыкнов<енно> поодаль от других и до т<акой> ст<епени> б<ыл> погр<ужен> в себя, к<ак> бы никого не вид<ел> и ник<ого> не б<ыло> вокр<уг> него.

В мае я отпр<авилась> в Неап<оль>, а Н. В. еще неск<олько> врем<ени> остав<ался> с Яз<ыковым>. После этого я об нем не имела ник<аких> изв<естий> до июля. Но в июле, одн<ако>, я знала чрез Жук<овского>, что он у него в Эмсе, а в Эмс я собир<алась> к Жук<овскому>, к<оторого> давно не вид<ела>. Пока у нас шла переп<иска> с Жук<овским> и мы условливались, дело это тянулось, я решила все остав<ить> и ехать в Эмс, и узнала от Ж<уковского>, что Г<оголь> поех<ал> в Бад<ен> ко мне, а из Бад<ена> получила в Эмсе (всего 3 дня) письмо шуточное, в кот<ором> он гов<орит>, что каша без масла все-таки в горло идет, а Баден без вас никаким образом. Я переех<ала> в Бад<ен> и нашла Н. В. Он почти всяк<ий> д<ень> у м<еня> обедал, исключ<ая> те д<ни>, к<оторые> он гов<орил>: «Пойду полюбоваться, ч<то> там русские дела<ют> за teble дотом». Не бывши почти ни с к<ем> знак<ом>, Г<оголь> знал почти все отнош<ения> между людьми и угад<ывал> многое оч<ень> верно. Особенно занимала его princesse de Betun, к<оторую> он наз<ывал> Бетюнище. Изв<естный> русской пуб<лике> князь Дол<горуков> прос<ил?>, Гоголь будто не видел и не слыш<ал> и уехал в дилижансе к Жук<овскому> во Франкфурт. Мы не условились, ув<идимся> мы в буд<ущую> зиму или нет. Я просила приех<ать> в Ниццу. Отвеч<ал>, что он чувств<ует>, что слишк<ом> привязыв<ается> к семейству Соллог<уб>

и ко мне, а ему не следует этого, чтоб не связыв<ать> себя никакими. Я поех<ала> в Ниццу и не получ<ив> писем, в дек<абре> поех<ала> <нрзб>. Возв<раща>юсь домой – вдруг вижу Г<оголя>. «Вот видите, и я теперь с вами, и поселился оч<ень> близко к Вам и распоряжусь так, ч<то> буду между вами и Вьельгурск<ими>». Квартира неуд<ачная>, и он перех<ал> к Вьельгурск<им> в дом г-жи Paradis.

В Бадене он всяк<ий день?> после обеда чит<ал> «Илиаду», она мне надоед<ала>. Он сердился, оскорблялся и рассказыв<ал> Жук<овскому>, что я и на «Илиаду» топаю ногами. В Ницце почти ежедн<евно> обед<ал> у меня и после обеда вытаскив<ал> из карм<ана> выписки из св. отцов. Иногда читал Марка Аврелия. С умилением говори<л>: «Божусь богом, что ему недостает только б<ыть> христианином!»

О своих собств<енных> делах он гов<орил> в<есьма?> мало, но так к<ак> я знала, ч<то> способы его сущ<ествования> оч<ень> скудны, то мне хот<елось> хотя шуткой выпытать, что у него есть. Один раз – я помню, к<ак> я смеялась! я начала его экзаменовать, ск<олько> у него белья и платья. На что он отв<ечал>: «Я вижу, ч<то> вы просто совсем не умеете отгад<ывать>. А я больш<ой?> ф<рант?> на галстук и жил<ет>». У него 3 галст<ука>: 1 пар<адный>, друг<ой> повседневный и 1 дорожный теплый. У него б<ыло> только то, ч<то> необх<одимо> челов<еку>, чтоб быть чистым. «Это мне так следует, все<м> т<ак> след<ует>, и вы так будете, как я, жить, и я увижу то вр<емя>, к<огда> у вас будет только 2 платья: одно, к<оторое> всяк<ий> д<ень> буд<ете> надев<ать>, друг<ое> – в воскр<есенье> и в празд<ничные> дни. А лишняя меб<ель>, комф<орт> и всякие игр<ушки> вам так надоед<ят> со вр<еменем>, ч<то> вы сами понемн<огу> станете избавляться от них. Я вижу, ч<то> это время придет. Вот я заметил, ч<то> у меня в чем<одане> зав<елась> ненужн<ая> вещь, я вам ее под<арю>». И на др<угой> д<ень> принес мне рис<унок> Иванова. В то вр<емя> на м<еня> нах<одила> ч<асто> тоска, и Г<оголь> сам списал 14 п<сал>мов и заст<авлял> учить наизусть, после об<еда> спраш<ивал> уроки как у мал<еньких> детей.

Г<оголь> об<ычно> занимался все утро, а вых<одил> гул<ять> в 3 часа, или один, или с графом Мих. Мих. Вьельгурским. Я его часто встр<ечала> на бер<егу> моря. Если его внез<апно> пораж<ало> к<акое>-ниб<удь> освещ<ение>, то он ни слова не гов<орил>, а только останавлив<ался>, указывал и улыбался. Он рассказ<ывал>, ч<то> к<огда> ех<ал> в Ниццу через Марсель, чувствов<ал>, что умирает, с покорностью молился до утра – слабость, однакож сел в ди<лижанс> и поех<ал> в Ниццу. «Тараса Б<ульбу>» прочел в Ницце, рассказ<ывал> об учителях и представлял некоторых, бывал <?> весел.

В ап<реле> я поех<ала> гов<еть> в Пар<иж>, а он в Штуттг<арт>, но попал гов<еть> в Дармштадт. В июне месяце во Франкф<урт>е я нашла Г<оголя> в Hôtel de Russie на ул. Цейль, где и я останов<илась>. А Жук<овский> жил в Саксенгаузене. Мы провели 2 нед<ели> втроем оч<ень> приятно, виделись кажд<ый> д<ень>. Г<оголь> был как-то беззаб<отно> весел во все это вр<емя> и не жалов<ался> на здоровье. Мне каж<ется>, ч<то> он тогда б<ыл> не в ладах с madame Жуковскою. Она сама гов<орила>, ч<то> он ей в тягость, что он навод<ит> хандру на Жук<овского>.

Я поех<ала> в Росс<ию>, и мы переписыв<ались>. В 1845 г. наша переп<иска> очень деятельна, а летом я получала от него самые грустные письма. Жал<овался> на св<ое> здоро<вье> и что его все забыли. Я поех<ала> осенью в Калугу, в 1846 все еще перепис<ывались>. Он оч<ень> часто пис<ал> в Калугу и в 1847. В 1848 я осенью жила в Павловске. Явился Г<оголь> в дов<ольно> хор<ошем> расп<оложении> дух<а>, но не хот<ел> ни у кого быв<ать>, ничего не хот<ел> гов<орить> о Иерус<алиме>, отговаривался при мне ехать на вечер, ссылаясь, ч<то> ему жиды шили в Бейруте сюртук и что в этом сюртуке не может явиться ни к кому в Петерб<урге>. Он бывал осенью часто у Вьельгурских, у С. П. Апраксиной, о к<оторой> он гов<орил>, что он люб<ит>. Она сама по себе оч<ень> добра – она сестра моего любез<ного> А. П. Толстого. Вообще он ее очень высоко ставил, любовался очень ею к<ак> светскою женщ<иной>, что никто не умеет дать бал хор<ошо> и экономно. Если этому надо быть, то ч<тобы?> меньше было времени и денег. Он уехал осенью и упрек<ал> письменно,

что я не поехала его провож<ать> до дилижанса. Ему было грустно. В Москву. Писал мало – я была больна и не могла ему отвечать.

Геогр<афия?> д<олжна?> б<ыть> так нап<исана?> ч<то>б<ы> см. <?> свящ. <?> чем с той <?> почв<ой>, на кот<орой> он родился. Все входило в общую теорию. Очень любил соч<инение> Храповицкого о хозяйстве. Не видела до 1851. В 1851 письмо с приглашением в Крым. У Вороного-Др<яново> осмотрели только запущенный дом. В М<оскве> в мае Гоголя не было, на порожное <?> вр<емя?> пригласила в подмосковную. Я занемогла. Бронецкого уезда в с. Спасское. Нервы – бессонница – волн<ения> – тоска. – «Ну я опять вожусь с нервами». – «Что дел<ать>? Я сам с нерв<ами> вожусь. Не <нрзб>». Очень жаркое лето. Гоголю – 2 комнатки во флиг<еле> окнами в сад. В одной он спал, а в другой раб<отал>, стоя, и к<ак> не б<ыло> пюпитра, то взд<умал> поставить бревна. Прислуживал чел<овек> Афанасий, от кот<орого> он встав<ал> часов в 5. Сам умыв<ался> и одевался без помощи человека. Шел прямо в сад с молитв<енником> в руке – в рощу – т. е. анг<лийский> сад. Возвращ<ался> к 8 час<ам>, тогда подав<али> кофе. Потом занимался, а в 10 или в 11 ч. он прих<одил> ко мне или я к нему. Когда я – у него тетр<ади> в лист очень мелко. Покрыв<ал> платком. Я сказ<ала>, что я прочла – «Никита и генерал-губ<ернатор> разговарив<ают>». «А вот как! вы подглядываете! так я же буду запирать». Предлагал часто Четьи-Минеи. Каждый день читал житие святого на тот день. Перед обед<ом> пил всегда полынную водку, кот<орая> придав<ала> деятельность желудку, ел с перцем. А после об<еда> мы ездили кат<аться>. Он прос<ил>, ч<тобы> езд<или> в сосн<овую> или в еловую рощу. Он любил после гулянья брод<ить> по бер<егу> Москвы р<еки>; заход<ил> в куп<альню> и купался. М<ежду> т<ем> мое зд<оровье> б<олее> и б<олее> расстр<оивалось>. Гог<оль> разг<овором?> хот<ел> меня повес<елить> и предлож<ил> прочесть 1-ю главу. Но нервы т<ак> б<ыли> расстр<оены>, ч<то> я нашла пошл<ой> и скучной. «Вид<ите>, к<аковы?> мои нервы, даже и Тент<етников> скучен». – «Да, вы правы: это все-таки дребедень, а ваш<ей> душе не этого нужно». Казался оч<ень> груст<ным>. Так к<ак> его комн<аты> были оч<ень> малы,

то он в жары любил приход<ить> в дом и садился в гостиной> на средн<ий> диван, в глубине комнаты – для прохлады. Придет и сядет. Вот что раз случ<илось>. Я взошла в гост<иную>, дум<ая>, ч<то> ник<ого> нет, и вдруг увидела Гог<оля> на див<ане> с кн<игой> в р<уках>. Когда я взошла, он к<ак> б<удто> испуг<ался>. Ему дико показ<алось>, что кто-то явился. Глядел в меня – иду – «Николай В<асильевич>, что вы тут делаете?» К<ак> б<удто> проснулся. – «Ничего. Житие (в июле) такого-то». Что-то приятное – молился он что ли – в экстазе. Чуть ли не Косьмы и Дамиана. По вечерам Г<оголь> брод<ил> перед домом после куп<анья>, пил воду с красн<ым> вин<ом> и с сах<аром> и уходил час<ов> в 10 к себе. Был нездоров, жалов<ался>, не разгов<аривал> ни с людьми, ни с приятелями <?>. Шутил над садом Попова с затеями. Девушки: «Это наш Никол<ай> Ив<анович> сдел<ал>». Одна шутка: «Где же наш Ник<олай> Ив<анович>» и т. п. С детьми ездил к обедне, к заутрене. Любил смотреть, как загоняли скот домой. Это напоминало Малороссию. Село Константиново за рекой Москвой. Любил ходить на Марштино <?> версты 2. «Больше некуда как на Н<евский> просп<ект> – на Марштино». – «Почему не гов<орили?> с мужик<ами>?» – «Да у вас старых мужиков нет». – Терпеть не мог фабричных служ<ащих> в фуражках и дамы рярумянен<ной>. Странности над опис. <?> Малороссии. «Куда ехать? В Малороссию. – А потом к себе – к Малор<осени?> невозможно». Совето<вал?> – «Помолитесь как перв <?> мысль <?> – не помните – ехать». Больны <?> – расстались – благословил образом, «и молитва моя за вас будет». Приходил всякий день по <?> в Трубников, пер. <?> в собств. доме. Сигрин-пастор. – Псалмы. М. Овербек. Письмо к новому году. Не любил <нрзб> крестьянок. Не то наши бегичевские. Villa Madame? Gli ciucci <нрзб>[59].

«С вами это было?» – «Все было и такое было, чего с вами не будет». – «А думали ли вы о смерти?» – «О, это любимая моя мысль, на кот<орой> я кажд<ый> д<ень> выезжаю».

[59] Вилла Мадама? Ослы *(ит.)*.

Воспоминания о Н. В. Гоголе

Париж, 25/13 сентября 1877 г.

Каким образом, где именно и в какое время я познакомилась с Николаем Вас<ильевичем> Гоголем, совершенно не помню. Это должно показаться странным, потому что встреча с замечательным человеком обыкновенно нам памятна, у меня же память прекрасная. Когда я однажды спросила Гоголя: «Где мы с вами познакомились?» – он отвечал: «Неужели вы не помните? вот прекрасно! так я же вам не скажу. Это значит, что мы были всегда знакомы». Сколько раз я пробовала выспросить его о нашем знакомстве, он всегда отвечал: «Не скажу, мы всегда были знакомы». В 1837 г. я проводила зиму в Париже, Rue du Mont Blanc, 21, на дворе, т. е. entre cour et jardin[60], но Гоголь называл этот hôtel трущобой. Он приехал с лицейским товарищем Данилевским, был у меня раза три, и я уже обходилась с ним дружески, но как <с> человеком, которого ни в грош не ставят. Опять странность, потому что я читала с восторгом «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они так живо переносили меня в нашу великолепную Малороссию. Оставив восьми лет этот чудный край, я с необыкновенным удовольствием прислушивалась ко всему, что его напоминало, а «Вечера на хуторе» так ею и дышат. С ним в это время я обыкновенно заводила разговор о высоком камыше, о бурьяне, белых журавлях с красным носиком, которые при захождении солнца прилетают на знакомые хаты, крытые сторновкой, о том, как гонит плечистый хохол с чубом лошадей в поле, и какая пыль поднимается их копытами. Потом заводилась речь о галушках, варениках, пампушках, коржиках, вспоминали хохлацкие песни:

«Грицько, не ходи на вечерницы.
Там увей дивки чаровницы»,

или

«На бережку у ставочка»...

Или любимая его песня «Цвыли лози при дорози»:

«Ходы козак по улицы в свитлой белой кошуленцы...»

[60] Между двором и садом.

Он вообще не был говорлив и более любил слушать мою болтовню. Вообще он был охотник заглянуть в чужую душу. Я полагаю, что это был секрет, который создал его бессмертные типы в «Мертвых душах». В каждом из нас сидит Ноздрев, Манилов, Собакевич и прочие фигуры его романа. О Париже мало было речи, он уже тогда не любил его. Он, однако, посещал театры с Данилевским, потому что рассказывал мне, как входят в оперу à la queue[61] и как торгуют правом на хвост, с свойственной ему способностью замечать то, что другим не кажется ни замечательным, ни смешным. Раз говорили о разных комфортах в путешествии, и он сказал мне, что на этот счет всего хуже в Португалии и еще хуже в Испании, и советовал мне туда не соваться с моими привычками. «Вы как это знаете, Николай Вас<ильевич>?» – спросила я его. – «Да я там был, пробрался из Испании, где также очень гадко в трактирах, все едят с прогорклым прованским маслом. Раз слуга подал мне котлету, совсем холодную. Я попросил его подогреть ее. Он преспокойно пощупал рукой и сказал, что она должна быть так. Чтобы не спорить, я спросил шоколаду, который оказался очень хорошим, и ушел». – «Неправда, Николай Васильевич, вы там не были, там все дерутся, гверильясы, все в смутах, и все, которые оттуда приезжают, много рассказывают, а вы ровно ничего». На все это он очень хладнокровно отвечал: «Вы привыкли, чтобы вам все рассказывали и занимали публику, чтобы с первого раза человек все запечатлел, что знает, что пережил, даже то, что у него на душе». Я осталась при своем, что он не был в Испании, и у нас осталось это русской шуткой (Жуковский говорил, что русская шутка только тем и хороша, что повторяется). В Испании он точно был и, кажется, там познакомился с Боткиным. Он оставался недолго, ни климат, ни природа, ни картины не могли произвести особенного впечатления. Испанская школа для него с болонскою, как в отношении красок, так и рисунка, была противна. Он называл Болонскую школу пекарской. Понятно, что такой художник, как Гоголь, раз взглянувши на Рафаэля в Риме, не мог слишком увлекаться другими живописцами. Его приводил в восторг сжатый строгий рисунок Рафаэля, он не любил Перуджино

[61] По очереди.

из Ранционгли. Один Джан Bellini нравился своей божественной наивностью. Но все это не может сравниться с нашими византийцами, у которых краска ничего, а все в выражении и чувстве. Вообще у него была некоторая сдержка в оценке произведений художников. Надобно было, чтобы все струны его души признали вещь за прекрасную, чтобы он ее признал гармоническою. «Стройность, гармония во всем, вот что прекрасно», – говорил он. Лето того же 37 г. я провела в Бадене, и Ник<олай> Вас<ильевич> приехал. Он не лечился, но пил по утрам холодную воду в Лихтентальской аллее. Мы встречались всякое утро. Он ходил, или, вернее, бродил по лугу зигзагами. Часто он был так задумчив, что я не могла дозваться его, и не хотел гулять со мной, прибирая самые нелепые причины. Он был во всю жизнь мастер на нелепые причины.

В июле месяце он неожиданно предложил собраться вечерком и объявил, что пишет роман под названием «Мертвых душ». Андрей Карамзин, граф Лев Сологуб, Валериан Платонов собрались на нашу дачу. День простоял знойный, мы уселись, и Гоголь вынул из кармана тетрадку в четвертку и начал первую главу своей бессмертной поэмы. Между тем, гром гремел, разразилась одна из самых сильных гроз, какую я запомню. Дождь лил ливмя, с гор потекли потоки. Смиренная Мур, по которой куры ходили по суху, бесилась и рвалась из берегов. Мы были в восторге. Однако Гоголь не кончил второй главы и просил Карамзина довести его до Грабена, где он жил. Дождь начал утихать, и они отправились. После Карамзин сказал, что Ник<олай> Вас<ильевич> боялся идти один, что на Грабене большие собаки, и он их боится, и не взял своей палки. На Грабене же не оказалось собак, а просто гроза действовала на его слабые нервы. На другой день я его просила прочесть далее, но он решительно отказал и даже просил не просить. Мы уехали осенью <из> Баден-Бадена, и Гоголь с другими русскими провожали нас до Карлсруэ, где Гоголь ночевал с моим мужем и был болен, страдал желудком и бессонницей. О первой и страшной болезни он не любил говорить. Его спас приезд Боткина, который усадил его полумертвого в дилижанс, и в Глогнице он после двух месяцев, в течение которых он ровно ничего не ел, выпил чашку бульона. Ехали день

и ночь, и в Венеции Гоголь был почти здоров, сидел на Пиацетте и грелся итальянским солнцем, не палящим, а ласкающим.

В 1838 году я была в России, потеряла Гоголя из виду и не переписывалась с ним. В 1841 году он явился ко мне в весьма хорошем расположении духа, но о «Мертвых душах» не было и помину. Я узнала, что он был в коротких сношениях с Виельгорскими. Они часто собирались там обедать, и Жуковский называл это «макаронными утехами на бульоне». Ник<олай> Вас<ильевич> готовил макароны, как у Лепри в Риме: «Масло и пармезан, вот что нужно». В этом же году я получила от него очень длинное письмо, все исполненное слез, почти вопль, в котором жалуется на московскую цензуру. К письму была приложена просьба в форме письма к государю, в которой он напоминал, что он милостиво оказал ему протекцию на «Ревизора» и велел дирекции заплатить ему четыре тысячи р. асс. Я решилась посоветоваться с Мих<аилом> Юрьев<ичем> Виельгорским, он горячо принялся за дело и все устроил с помощью князя Дундукова, который был товарищем министра просвещения, графа Уварова. Ни мое письмо, ни письмо Гоголя к государю не нашлись, они или остались у Виельгорского, или были отосланы автору. «Мертвые души» вышли в свет toto quale[62] без глупых поправок и вычеркивания цензоров. Весной 42 года Гоголь приехал в Петербург и остановился у Плетнева. Приходил довольно часто и уже совсем на дружеской ноге. Он тогда сблизился с моим братом Аркадием, изъявил желание прочесть нам отрывки уже отпечатанных «Мертвых душ». У Вяземского он читал разговор двух дам. Никто так не читал, как Гоголь, и свои и чужие произведения. Мы смеялись неумолкаемо. В нем был залог великого актера. Мы смеялись, не подозревая, что смех вызван у него плачем души любящей и скорбящей, которая выбрала орудием своим смех. А отчего душа так или иначе выражает свои чувства, известно одному Богу. Высокий христианин в душе, Гоголь чувствовал, что образец наш – Христос Спаситель даже не улыбался, а плакал и вздыхал. Потому легко представить, что произошло в его душе, когда он увидел, что Чичиков, Манилов, Собакевич и Ноздрев возбуждают лишь смех или отвращение. «Полюбите нас

[62] Полностью *(ит.).*

черненькими, а беленькими нас всяк полюбит», задумал он уже тогда. Перед ним уже летали образы почище, поидеальнее. Уленька, Чагранова, Никита, генерал-губернатор, помещик Вороново-Дряново, Платонов, который влюбился в портрет петерб<ургской> львицы Чаграновой. Все это в первую пору своей авторской жизни он почувствовал, но до страдальчества оно дошло позже, когда создалась его школа, т. е. реалистическая литература. Его жалобы и стоны вырвались из груди в его «Переписке с друзьями». Эту переписку никто не понял. Она подняла гвалт на всю Русь, потому что Гоголь не был открыт, никто не знает, писал он мне, что «перегорело в моей душе», оно известно только Богу.

В июле месяце я оставалась в Пет<ербурге>, и Гоголь предложил прочесть мне новую комедию «Женитьба». После обеда Вяземский, Плетнев, Аркадий, Тютчев – мы сидели в гостиной, и он начал читать в рукописи. Смех был постоянный: Подколесин, сваха, капитан Жевакин, Яичница – все, начиная с фамилий, возбуждали смех. Швейцару приказано было не понимать. Он пропустил князя Михаила Алекс<андровича> Голицына как короткого знакомого. Тот взошел. К счастию, Гоголь не обратил внимания, <продолжал> читать и после чтения пошел в кабинет мужа и крепко уснул на диване и проснулся на вечере, потому что у мужа собрались играть в ералаш и преферанс. Он зашел ко мне и сказал: «Там занимаются делом до восьми часов утра, но там ангел-хранитель в синем мундире под сладким лицом генерала Дубельта, следовательно, до драки не дойдет». Голицын не находил слов, чтобы благодарить меня за приятные минуты, которые он провел у меня: «Я читал с восторгом “Мертвые души” и всегда желал видеть их автора. Подобных минут я не проводил в этом пошлом Петер<бурге>».

Осенью я поехала с братом Аркадием в Италию и остановилась во Флоренции. Неожиданно получила письмо от Гоголя, который писал: «Точно ли вы во Флоренции? Приезжайте скорее в Рим, вы увидите, как будете самой себе благодарны». В генваре брат мой опередил меня в Рим для приискания квартиры. Мы потянулись в собственных экипажах с веттурино. Переночевавши в Romiglione, мы были празднично

расположены, погода была великолепная, солнечная и tiède[63]. Я опустила все окна, выглядывая то в одно окно, то в другое. Наконец мы поравнялись с гробницей Нерона, vetturino[64] мне крикнул: «Ecco San Pietro, a la destra[65]».

На одну минуту явился купол св. Петра в сизом тумане. Я начала помышлять о квартире, о помещении детей и еде. Начинало вечереть, мы проехали по знаменитому Ponto Мальво, и въехали после пятидневного похода через Porta del Popolo. У чиновника заплатили по десяти франков в догану и потянулись на Корсо, где еще тянулись кареты и коляски римских принсипе и маркизов. В догане мне передали письмо брата, который извещал, что надобно ехать на форо Траяно в palazetto Валентини. Первый этаж был освещен. На лестницу выбежал Ник. Вас. с протянутыми руками и лицом, исполненным радости. «Все готово, – сказал он, – обед вас ожидает. Квартиру эту я нашел, воздух будет хорош. Corso под рукой, а что всего лучше, вы близки от Колизея, форо Боарио». Немного поговоривши, он отправился домой с обещанием придти на другой день. В самом деле он пришел, спросил бумажку и карандаш и начал писать: «Куда следует понаведываться А. О. и с чего начать». Были во многих местах и кончали Петром. Он взял бумажку с собой и написал: «Петром осталась А. О. довольна». Таким образом он нас возил целую неделю и направлял всегда так, что все кончалось Петром. «Это так следует. На Петра никогда не наглядишься, хотя фасад у него комодом». При входе в Петра Гоголь подкалывал свой сюртук, и эта метаморфоза преобразовывала его во фрак, потому что кустоду приказано было требовать церемонный фрак из уважения к апостолам, папе и Микель-Анджело. Когда мы осмотрели Рим en gros[66], он стал реже являться ко мне.

У нас был комический слуга Александр, который утром рано находил необходимым сообщать мне все приключения его утра. «Ho rincontrato signor Gogol, credo che venir a vedere si,

[63] Мягкая.
[64] Кучер *(ит.)*.
[65] Вот святой Петр справа *(ит.)*.
[66] В общем.

perche passer sulla Piazza del Apostoli»[67] или говорил, что встретил «il generale» Перовского. Перовского кучера, лакеи и в лавках купцы все звали «il signor generale»[68]. Он подъехал к таможне и встретил кн. Зинаиду Волконскую. В Неаполе их высадили в догане. К<нягиня> Волконская дала таможенным чиновникам несколько байок, а Перовский десять франков. Вдруг он видит, что таможенный люд строится в шеренгу и думал, что они обиделись. Напротив, они с уважением поклонились и сказали: «Signor generale, l'administrazia della Dogana voi ringrazia sur tante bontà que generosità e della avara una principessa a data solamente quelche baiochi»[69]. Перовский провел однажды целый год в Неаполе, с восхищением рассказывал мне о Сорренто, Пестуме и Капри. Я к без того хотела туда ехать.

Мы выехали рано весной на Понтийские болота, в которых купаются великолепные буйволы и кормятся желтыми цветами четимеры. Другая дорога гориста, идет на Арильяну и параллельна с болотами. Мы завтракали в Terracino, некогда притоне brigante[70], потом остановились в Mala di Gaeta, в одном из прелестнейших уголков света. В Капуе встретили прокаженного и остановились в гостинице на Chiaja. Итальянцы делали Corso, и два часа были так скучны, что меня одолели. Меня остановила меньшая дочь моя Надя, как ни старалась я ее будить, она крепко заснула и в Неаполе спала без просыпу. Перовский мне сказал, что она заразилась понтийской лихорадкой, и побежал за аллопатом доктором Романья. Он меня успокоил, и через три дня она была совсем здорова, и мы поехали в Сорренто и остановились в прекрасной гостинице на берегу моря. Против нас стоял остров Капри, который обливали синие волны моря. С восхождением солнца я уже сидела у растворенного окна. Женщины чудной красоты в живописных костюмах несли на голове огромные кувшины или амфоры, полные воды. В Пестум я не попала и вернулась на Кайо. Из Неаполя я поехала на крошечном пароходе французской

---

[67] Я встретил синьора Гоголя, думаю, что он идет сюда, так как шел по Пьяцца дель Апостоли *(ит.)*.
[68] Синьор генерал *(ит.)*.
[69] Синьор генерал, администрация таможни благодарит вас за такую доброту и щедрость, а скупая княгиня дала только несколько байок *(ит.)*.
[70] Разбойников *(ит.)*.

компании. Уже в порте лодка сильно качалась, мальчишки пели и плясали салтареллу. Днем поднялся сильный ветер, кареты привязывали постоянно. Ночью разразилась буря, которая заливала пароход. Капитан Arnoud и рулевой были привязаны, по пароходу рыскал кельнер с лоханками и стаканами, подходил к каюте, где я лежала с Олей, которую беспрестанно покрывала. Она спала крепким сном, Соня и Надя лежали с няней внизу в каюте. Соня заснула над лоханкой, а няня говорила: «Охота вам была запрудить море русскими телами»; призывала всех святых, приговаривая: «Кто по морю не плавал, еще Богу не молился». По лестнице меня вел полковник папских войск Загер. Он сопровождал мою знакомую, графиню Пурталес. Кельнер меня успокаивал странным образом: «J'ai vu périr "Pallas" et "La Semiramide" près de Marseille et me voilà cependant» – «Et comme sauve t on les naufragés?» – «Pardieu, on les attache sur une planche et puis, nos amis, faites que vous pourrez, mangez que vous pouvez et puis mourrez de faim sur un rocher»[71]. К утру ветер стал утихать, и мы вошли с трудом в миниатюрный порт Чивита-Веккиа. Нас бросили в лодки и, наконец, мы ступили на благословенную твердую землю. M-lle Овербек уже рвало кровью. Я послала за доктором и на другой день долго хлопотала об лошадях, чтобы засветло приехать в Рим. В Остии, описанной так прекрасно Плинием Меньшим, мы обедали. От древнего великолепия остался кругленький пруд, в котором гармонично квакали лягушки. Я, как Анна Ив<ановна> царица, люблю кваканье этих зеленых зверей. Известно, что она развела их в любимом своем загородном доме и по вечерам садилась с Бироном, чтобы вдвоем наслаждаться этим концертом. Начинало вечереть, где-то на пригорке лошади стали: ни тпру, ни ну. Курьер мне сказал: «Нечего делать, я отпрягу ваших лошадей, и кучер останется с вами». – «Вот те на!» Няня, моя девушка и Надя, мы сидели час. Вдруг является кавалер в круглой шляпе, плаще и подъезжает к нам шагом. Словом, совершенный brigante. Я уже готовилась сказать ему: «Prende tutte,

---

[71] Я видел гибель «Паллады» и «Семирамиды» у Марселя, и однако я цел. – А как спасают потерпевших крушение? – Черт возьми, их привязывают к доске, а потом, друзья мои, делайте, что хотите, ешьте, что можете, или умирайте с голоду на скале.

ma lasciate noi vivere»[72], но он учтиво поклонился и сказал: «Non avete paura»[73]. К полночи мы были у Porta del Borgo, vicina al Vaticano[74]. Тут осмотрели пантакарты и велели ехать в догану. Там оставили наши экипажи на дворе, и эти бестии продержали нас более часа, несмотря на то, что содрали по две скуди с экипажа. Наконец мы приехали на Piazza del Popolo в два часа ночи и подъехали в гостиницу M-me Milici, где нас ожидал чай и жареная курица. После улеглись с намерением встать рано утром, чтобы засветло ехать во Флоренцию.

Дорога между Римом и Флоренцией была небезопасна, и курьер предложил мне взять двух провожатых с заряженными ружьями и пистолетами. Утром он объявил, что распорядился насчет жандармов, но что нам нельзя достать лошадей до часу, потому что граф Браницкий едет в девяти экипажах, и все в четыре лошади. Нечего было делать, мы поехали проститься с Петром и с Дашковыми, которые еще запоздали в Риме. В час мы тронулись и приехали поздно в Радикафали. Это перевал в Тоскану, где кончаются опасности. Радикафальская станция на самой вершине горы, оттуда вид на юг и на север прекрасный, но пустынный и угрюмый. Дети проголодались, но тут ничего не могли достать. Я спросила девку, нет ли купить молока. «Ma dove, – отвечала мне нечесаная, грязная девка, câpre sono nella montagna»[75]. Дети заснули, и в час мы были в Сиене в узкой улице и темной гостинице. Спросили обедать и сели за стол, Соня против меня и m-lle Овербек завязывала ее салфетку. Я ей сказала: «Заприте дверь». Она вернулась, и лицо ее изменилось. После скверного обеда all'uso di Francia[76], прилаживания итальянских слуг к их подлейшему обеду, мы поспешили в соборную церковь академии, украшенную историческими картинами Пинтуриккио, смотрели, как юноши играли в Palle[77], и пришли домой в три часа. Нянька Нади меня встретила с тревожным лицом и сказала, что ребенок играл с мячиком, ударил себя в глаз, что она мыла глаз, но Надя все

[72] Возьмите все, но пощадите нас *(ит.)*.
[73] Не бойтесь *(ит.)*.
[74] Порта дель Борго рядом с Ватиканом *(ит.)*.
[75] Но откуда... козы в горах *(ит.)*.
[76] На французский лад *(ит.)*.
[77] Мяч *(ит.)*.

повторяла: «Не могу открыть глазок». Я приказала курьеру заказать лошадей в восемь часов, позвать доктора и пошла в свою спальню. Моя девушка предложила мне лечь на одну из высоких итальянских кроватей, а я легла на свою походную, зажгла свечу и читала Евангелие, как вдруг что-то мелькнуло передо мной. Я думала, что это обман зрения или бабочка, а может быть, летучая мышь, которая забралась под занавески, и взглянула на зеркало и там увидела, как <будто> движущуюся тень. Вскочила с кровати, пошла в детскую комнату и просила m-lle Овербек перенести мою кровать в их комнату. Заснула очень крепко. Доктор уже осмотрел глаз, сказал, что она тронула нерв своих век, и что я могу спокойно ехать в Ливорно. На половине дороги m-lle Овербек сказала мне: «Я нашла способ открыть этот глаз». Подали холодной воды, старшие сестры вымыли лицо и руки, а Наде сказали, что ей не велел доктор мыться холодной водой. Тут пошли капризы, даже колотушки. Ей долго отказывали, но, наконец, позволили, и она с радостью объявила: «И я открыла дазок». Ровно в три часа приехали в Ливорно, где детей занимали колодники, которые летом работали в порте в желтых и красных куртках с страшными словами на спине homicida, parricida[78] и проч. Перовский пришел, и тогда я спросила m-lle Овербек, что нам явилось в Сиене. «Я видела почти прозрачную фигуру, которая склоняла голову на правую сторону», а m-lle Овербек сказала: «А я так встретила его глаза. Они были впалы и горели каким-то дьяволическим взором, полным насмешки». Конечно, Перовский смеялся и говорил, что это бабьи сказки. Детям мы ничего не сказали. В Бадене приехала belle-soeur[79] m-lle Овербек, и мы говорили о Сиенском случае. Оля вбежала, мы замолчали, а она сказала: «J know about what you speak. About what, yes. J know: it is about Sienna[80]». Значит, ребенок понимал всегда наше беспокойство.

Мы совершили тогда самое странное путешествие. Перовский советовал не делать крюков в Италии, а ехать просто по протоптанным дорогам, где можно не умирать с голода

[78] Убийца, отцеубийца *(ит.)*.

[79] Невестка.

[80] Я знаю, о чем вы говорите. Да, я знаю, о чем: о Сиене *(англ.)*.

без лошадей. Я хотела du pittoresque[81] и поехала на Buchetto, где местоположение восхитительно. Мы ехали шагом, впрягая иногда волов. Эти два четвероногие не ссорились с лошадьми и дружно шли на гору и с горы. В Buchetto не нашлось трех яиц, и нам сказали, что· в лесу есть bruchiate[82]. Мы сели под деревом и ели сырые каштаны. Наконец, на одной станции добыли кусок сыру и хлеб, поделились и приехали в Пиаченцу, где женщины носят странную прическу, заплетают косу в девять плеток, ставят их короной и прикалывают длинными серебряными булавками. Они чешутся по субботам; легко себе представить, что гнездится в их черных волосах. Тут тоже запаслись сыром и хлебом и к вечеру приехали в Парму, где знаменитый Corregio писал своих ангелов. После Рафаэля это все de la petite bière[83], замечателен только его белый колорит. В Парме доживала свой век герцогиня Пармская, которая была гораздо счастливее со своим вторым мужем, графом Нейпперг, чем с великим страдальцем острова св. Елены. Она каталась в коляске с огромным зеленым веером, как и прочие дамы. Это единственный город, где господствует веер. Потом мы поехали в Германию, по Splügen, как легчайший переезд. Дорога была опасна и вместе безопасна. Via Mala была построена Наполеоном. Под горой мы ночевали. В Шплюгене всего один дом с двумя рамами и натопленный зелеными изразцовыми печами. Via Mala почти доходит до Вагуца, где мы ночевали и прозябли порядком. А потом мало-помалу горы уступили место холмам, покрытым прекрасным лесом.

В Бадене мы поселились в знакомом доме старухи Дурхгольц, взяли: кухарку, одним словом, зажили домком. Я поехала к Жуковским в Эмс, разминулась с Гоголем, и он приехал в Баден. Он из Греффенберга туда приехал, не заезжая к Жуковскому. Он писал мне: «Каша без масла не совсем хорошо лезет в горло, но Баден без вас просто невозможен. Я нахожу одно утешение. Надежда Николаевна вышла ко мне вся завитая. Мы бросились друг к другу в объятия, крепко поцеловались, но она вспомнила, что не все совершила, и, взяв мою руку,

[81] Живописного.
[82] Каштаны *(ит.).*
[83] Пустяки.

сказала: “Николай Вас<ильевич>, поцелуйте вучку!”, так что со временем она будет хоча и не кокетка, но модница и щеголиха». Она была прелестный ребенок, все говорила, как попугай, после старших сестер. В Риме она восхищала Перовского. Повторяла всем, как Перовский меня любит и Август тоже. Перовский говорил: «Она всех умнее. Вы все ездите смотреть развалины, колонны и ворота всяких римских подлецов. Она даже из окна любуется Траянской колонной по-своему и считает кошек». Она не могла произносить «кошки» и говорила «тоськи». За обедом ей подали шпинат с гвоздичным орехом, она при Перовском сказала: «Надежда Станна, я не могу кушать спинат с олёхами и помпот тоже с олёхами». Она в Риме начала у Гоголя просить «вучку». Он закрывал ее какой-нибудь книжкой, она сердилась: «Я не хочу читать, а пожалуйте вучку». – «Зачем вы меня принимаете за священника?» Кончалось это все брыканьем ее кривых ног, слезами, и нянька ее уносила из гостиной. Один раз она меня очень рассмешила, сказав мне: «Мама, помнишь, как ты очень обижала нас между Римом и Флоренцией?» Я рассмеялась. Она рассердилась и сказала: «Тебе смешно, а ведь это очень больно». Она любила рассказывать всякий вздор очень серьезно своей няне. Когда мы ехали из Фонтенебло в Париж, она мне сказала: «Хочешь, я тебе расскажу про нови короля?» Я ей отвечала: «Ну, нет, я тебе расскажу про этого короля».

Никто не знал Рим так хорошо, как Гоголь. Не было итальянского историка или хроники, которую он не прочел. Все, что относится до исторического развития, искусства, даже современности итальянской, все было ему известно, как-то особенно обрисовался для него весь быт этой страны, которая тревожила и его молодое воображение. Он ее нежно любил. В ней его душе яснее виделась Россия, в которой описывал грустных героев 1-го тома, и отечество озарялось для него радужно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он <мог> глядеть прямо в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления. Изредка тревожили его старые знакомые: нервы, но в мою бытность я постоянно видела его бодрым и оживленным. И точно, в Риме есть что-то примиряющее человека с человечеством. Слава языческого мира погребена там великолепно, на ее развалинах

воздвигся Рим христианский, который сначала облекся в смирение в лице грустных и молчаливых отшельников катакомбов, но впоследствии веков заразился гордостию своих предков и начал спогребаться с древним Римом. Развалина материальная, развалина духовная – вот что был Рим в 40-х годах, но над ним все то же голубое небо, то же яркое солнце, та же синяя ночь с миллионами звезд, тот же благорастворенный воздух, не тревожный, как в Неаполе, а, напротив, успокаивающий и убаюкивающий. Истинные красоты природы не примиряют ли нас с человечеством? Останемся благодарны Провидению, которое позволяет каждому принести плод во время свое, и, гуляя по развалинам, убеждаешься без скорби и горести, что народы, царства, как и всякая личность, преходящи. Рим всегда казался каким-то всемирным музеумом, в котором каждый камень гласит об историческом, назидательном событии, но уже не имеет никакого значения в настоящем, и вот почему в Риме не грустно, а отрадно. Ник<олаю> Вас<ильевичу> Рим, как художнику, говорил особенным языком. Это сильно чувствуется в его отрывке «Рим». St. Beuve встретил его на пароходе, когда после смерти Иосифа Виельгорского, они ехали в Марсель навстречу бедной матери. St. Beuve говорил, что ни один путешественник не делал таких точных и вместе оригинальных наблюдений. Особенно поразили его знания Гоголя о трастевериянах и собрании нескольких песен, почти никому не известных (позже я узнала от Грегоровиуса, что есть античная напечатанная литература римлян). Едва ли сами жители города знают, что трастевериянe никогда не сливались с ними, что у них свой язык или patois[84]. Заметив, что Гоголь так хорошо знал то, что относилось к языческой древности, я его мучила, чтобы узнать поболее. Он мне советовал читать Тацита. Я все его спрашивала, что такое история; карты, планы, Nybby, Canina, Peronezi лежали на нашем столе, все беспрестанно перечитывалось. Мне хотелось перенестись в эту историческую даль. Что таилось в этом Нероне? И я часто к нему приставала.

Однажды, гуляя в Колизее, я ему сказала: «А как вы думаете, где сидел Нерон? Вы должны это знать. И как он сюда являлся:

[84] Просторечие.

пеший, или в колеснице, или на носилках?» Гоголь рассердился и сказал. «Да вы зачем пристаете ко мне с этим подлецом? Вы, кажется, воображаете, что я жил в то время, воображаете, что я хорошо знаю историю, – совсем нет. Историю еще никто не писал так, чтобы живо обрисовался народ или личности. Вот один Муратори понял, как описать народ, у одного его слышится связь, весь быт народа и его связь с землею, на которой он живет». Потом он продолжал разговор об истории и советовал читать *Cantu* «Историю республики» и прибавил: «Histoire universelle» Боссюэта превосходна, но написана только с духовной стороны, в ней не видна свобода человека, которому Создатель предоставил действовать хорошо или дурно. Он был римский католик. Guizot хорошо написал «Histoire des révolutions», но то слишком феодально, а то с революционной точки зрения. Надобно бы найти середину и написать ярче, рельефнее. Я всегда думал написать географию. В этой предполагаемой географии можно было бы видеть, как писать историю. Но об этом после, друг мой, я заврался по привычке передавать вам все мои бредни. Между прочим, я скажу вам, что мерзавец Нерон являлся в Колизей в свою ложу в золотом венке, в красной хламиде и золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел и аккомпанировал себе на лире. Вы видели его статую в Ватикане, она изваяна с натуры. Но не часто и не долго он говорил. Обыкновенно шел один поодаль от нас, поднимал камушки, срывал травки или размахивал руками, попадал на кусты, на деревья, ложился навзничь и говорил: «Забудем все, посмотрите на это небо!» – и долго задумчиво, но как-то вяло глазел на этот голубой свод, безоблачный и ласкающий.

Одним утром он явился в праздничном костюме, с праздничным лицом. «Я хочу сделать вам сюрприз, мы сегодня пойдем в купол Петра». У него была серая шляпа, светло-голубой жилет и малиновые панталоны, точно малина со сливками. Мы рассмеялись. «Что вы смеетесь? Ведь на Пасху, Рождество я всегда так хожу и пью после постов кофий с густыми сливками. Это так следует». Я ему сказала: «А перчатки?» – «Перчатки, – отвечал он, – я прежде им верил и покупал их на Пиацца Мадама, но давно разочаровался на этот счет и с ними простился». Ну, мы дошли, наконец, до самого купола, где читали надписи.

Видели, что Лазарь Якимович Лазарев удостоил бессмертный купол своим посещением, прочли надпись государя Ник<олая> Пав<ловича>: «Я здесь молился о дорогой России», и вернулись очень усталые домой. Гоголь сказал нам, что карниз Петра так широк, что четвероместная карета могла свободно ехать по нем. «Вообразите, какую штуку мы удрали с Жуковским, обошли весь карниз. Теперь у меня пот выступает, когда я вспомню наше пешее похождение, вот какой подлец я сделался. Аркадий Ос<ипович>, не угодно ли вам пройтись?». – «Нет, я попробовал на Александровской колонне и закаялся навеки». Мы посетили San Clemente, где он нас поставил в углу, велел закрыть глаза и потом сказал: «Посмотрите». Перед нами предстала знаменитая статуя Моисея, Микель-Анджело. Борода почти до ног и рога на голове. Точно он прожил века и глядел в нескончаемое будущее. Потом видела Scala sancta, народ набожно, молча поднимался, затем перед нами таинственная личность этого избранника Божия, создателя закона, до малейших подробностей указывающего человеку чисто-начисто как нравственные, так и материальные признаки, который за непослушание лишился радости перейти через Иордан и видеть землю обетования. В Латеране мы осмотрели гробницы пап и принсипе. Сколько нехристианской гордости в эпитафиях! С паперти по правую сторону возвышалась скромная церковь San Giovanni in Jerusalemo, перед ней простиралось зеленое поле, по левую Pietro nelle Catones. Ходили на Monte Testaccio и осмотрели погорелые останки этой древней и великолепной церкви San Paulo Fuori le Mura. J. Robert написал сцену этого бедствия: два монаха с выражением ужаса проходят среди падающих камней и бревен. На Monte Testaccio под рукой San Paulo Fuori le Mura составляют настоящую гору битых посуд, в которых жгли трупы рабов. Патрициев сжигали, но их пепел хранился в колумбариях с надписью каждого. Эти колумбарии и теперь посещаются любопытными. Мы были в одном из них и видели урны, в которых сохранялись эти бренные останки. Даже под носом без стыда унесли урну и лампадку. Мы посетили Santo Onufrio, где похоронен Тассо, но кипариса уже не стало. Гоголь говорил, что вид оттуда с террасы прекрасный, и были ясно видны пять таких дерев. Это только

détail[85], но для художника все идет в дело. Ездили часто в Villa Madama, где прелестная «Галатея» Рафаэля и история Психеи. Сама Villa строена по плану Рафаэля. И он, подобно Микель-Анджело, соединил все искусства. Купидоны «Галатеи» точно живые летают над широкой бездной, кто со стрелой, кто с луком. Гоголь говорил: «Этот итальянец так даровит, что ему все удается». В Сикстинской капелле мы с ним любовались картиной Страшного Суда. Одного грешника тянуло то к небу, то в ад. Видны были усилия испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу встречали его чертенята со скрежетанием зубов. «Тут история тайн души, – говорил Гоголь. – Всякий из нас раз сто на дню то подлец, то ангел». После поездок мы заходили в San Agostino и восхищались сибиллами Рафаэля и рядом с церковью покупали макароны, масло и пармезан. Гоголь сам варил макароны, на это у Лепри всего пять минут берет, и это блюдо съедалось с удовольствием. В Риме трудно было достать хорошее мясо и телятина считалась какой-то délicatesse. Австрийский посол дал мне обед, и графиня Шпеер мне сказала: «Il a fait de grands frais pour vous; nous aurons du veau rôti et de la salade»[86]. Мне кажется, что было лучше, чем теперешнее довольствие. Мы с ним, Перовским и Ханыковым были в Тиволи, любовались кипарисами Траяновых времен, остатками храмов с каскадами, которые падали в маленькое озеро, на котором плавали белые цветы, называемые drum, и cicerone сказал мне: «Vede, Signora, tutti nascie» – «Credevo che sono fiori del Papa» – «No, Signora, fiori del Papa si chiamano parce parcini»[87]. В Риме все или del Papa, или all'uso di Francia. Одно, кажется, варенье у Spielman'а называется dolce del Papa[88]. У Шпильмана делали для англичан muffins ét toaster bread[89]. Вел. кн. Мария Николаевна с герцогом Лейхтенбергским жили у нашего посланника Потемкина. Он был женат на англичанке. Она была красивая, статная, как заводский конь, но не имела ни малейшего понятия

---

[85] Частность.
[86] Он очень потратился на вас; у нас будет жареная телятина и салат.
[87] Посмотрите, синьора, все нарождаются. – Думаю, что это папские цветы. – Нет синьора, папские цветы называются parce parcini *(ит.)*.
[88] Папское сладкое *(ит.)*.
[89] Горячую сдобу и поджаренный хлеб *(англ.)*.

об общежитии, беспрестанно манкировала в<еликую> к<нягиню>, а нас, русских, ни в грош не ставила. Но мы, помимо ее, знакомились и делали себе положение в свете. Тогда была к<нягиня> Белосельская в Риме и задавала ужасный тон. В<еликая> к<нягиня> ее никогда не звала на вечера. Мои дети всякий день играли со старшей ее дочерью, потому что Марусю еще носили на руках. Адина не была хороша, но была преострый и милый ребенок. Она умерла в Петербурге на четвертом году. Вечером мы играли у великой княгини в вист и преферанс: герцог, Матвей Юрьевич Виельгорский и я. Всякий вечер проводил там герцог Фридрих Саксен-Руссентальский. Он был свеж и хорош.

Гоголь оставил Рим с Языковым прежде меня. Из Неаполя я поехала, как выше сказано, в Баден-Баден, это первое отечество русских в Германии. Гоголь очутился там и писал мне комическое письмо вышеприведенное. Там была тогда в<еликая> к<нягиня> Елена Павл<овна>, в<еликий> к<нязь>, Свистуновы, Толстая с мужем, Васенька Шереметев, красавец m-r Lee с графиней Гацфельд, которую я знала в Берлине, но по причине ее скандальной жизни ее уже никто не принимал. Николай Киселев жил рядом с нами в rez-de chaussée[90], над ним Платонов, напротив них Клеопатра Трубецкая с графом Беарном, которого мы звали «бубновым валетом». В картах он называется Hector de Béarn, comte de Galiard. Он имел право на этот титул и носил его в самом деле. Гоголь задумал читать мне «Илиаду», которая мне страшно надоедала, что он и сообщил Жуковскому. Последний в записочке из Эмса написал мне: «Правда ли, что вы даже на Илиаду топаете ногами?» Гоголь обедал у меня и говорил: «Я ходил в “Hôtel d’Angleterre”, где лучший стол, но мне надоели немцы, которые с грациями поедают всякую жвачку кримскильдам».

В<еликая> к<нягиня> Елена Пав<ловна> вздумала выдать свою старшую дочь Марью Мих<айловну> за будущего герцога Баденского. Отказано было Брауншвейгскому и другим. Все представлялись ей. Я спросила Николая Васильевича: «Когда же вы подколете ваш сюртук и пойдете к ней?» – «Нет, пусть прежде представится Балинский, а потом уже я, и какая

[90] В нижнем этаже.

у него аристократическая физиономия». Балинский был мой курьер, родом из Курляндии. Однажды в 2 часа пришли меня звать к обеду к ней. Я наскоро оделась и поехала в наемном дилижансе на дачу Герца, где она жила. В гостиной я заметила тревогу в ее штате, и бедная к<нягиня> Львова мне объявила, что герцогиня Баденская будет обедать и мне места нет. «А где, сударыня, прикажете мне искать обед? У меня уже все отобедали». Тут пришел в<еликий> к<нязь>, я ему сказала: «Прошу объявить в<еликой> к<нягине>, что я остаюсь за обедом вашей супруги, которая только и знает, как бы русских топтать в грязь», и преспокойно осталась в приемной. Дверь отворилась, и она вошла с герцогиней. У Аленки лицо покривилось, а герцогиня, протянув мне руку, сказала: «C'est mal d'oublier ses amis»[91], посадила меня возле себя; лицо в<еликой> к<нягини> прояснилось, она уже видела меня своей помощницей и свахой. Эта свадьба не состоялась по двум причинам. Красивый юноша, вкусивший слишком рано жизнь в развратной Вене, окончил жизнь размягчением мозга. Его приезд праздновался с торжеством. В Бадене выстроили ворота, украшенные зеленью и красивым миткалем, и везде надпись: свобода в конституции. В<еликий> к<нязь> сказал:«Il n'y a pas de constitution sans liberté»[92].

Герцог уже жил особняком от жены. Он дал праздник в<еликой> к<нягине>, и мы были приглашены. Там была однако фрейлина герцогини в коротеньком черном платье, толстые ляжки ее так и вертелись с толстым камергером, а волосы, причесанные à l'enfant[93], разлетались во все стороны. Вдруг замолчала музыка, и все рассмеялись, потому что толстый камергер и его дама нашли нужным довертеться до своего места без музыки. Первый камердинер подошел с подносом, на котором стоял одинокий бокал, и пошел неспешным шагом к в<еликой> к<нягине>. Герцог и Гугорт, видимо, были в восхищении от своей выдумки. Это все происходило в Егергаузе. Лев Нарышкин мне сказал: «Дураки, хвалятся, что это все им принадлежит; у меня на Волге гораздо более земли, но она

[91] Нехорошо забывать своих друзей.
[92] Не бывает конституции без свободы.
[93] По-детски.

лежит даром. Рубль с десятины, все-таки пятьдесят тысяч десятин дают пятьдесят тысяч р<ублей>». Думали уважить в<еликого> к<нязя> и запретили Мицкевичу ехать в Баден, что рассердило в<еликого> к<нязя>. Он мне сказал: «Что мне за нужда, что Мицкевич будет в Бадене, не съест же он меня!» Гоголь к нему поехал в Карлсруэ. Вернувшись, он мне сказал, что Мицкевич постарел, вспоминает свое пребывание в Пет<ербурге> с чувством благодарности к Пушкину, Вяземскому и всей литературной братии. Он приехал в Баден, где нашел Алекс<андра> Ив<ановича> Тургенева. Этот смехотвор чуть не утонул в Муре и выкупал мой чай, присланный Жучком: «Примите его от Гоголя в знак дружбы и уважения вашего Быка, Бычка, Васеньки Жуковского».

Гоголь меня все расспрашивал о русских и знакомых мне французах. Иногда ходил в Hôtel d’Angleterre обедать и потом таскался на террасе и на рулетке. Со свойственной способностью все замечать, он узнал княгиню Бетюну. «Ну, сказал он мне, я узнал из вашего описания к<нягиню> Бетюн, и это просто Бетюнище. Она спрашивала каждого блюда два раза и выпила досуха две бутыли кислого рейнского». С террасы он принес целый короб новостей: кто прячется за кустами, кто амурится без зазрения совести, кто проиграл, кто выиграл и гаже всех ведут себя наши соотечественники и соотечественницы, исключая вас, к<нязя> и княгини Мещерской». Тогда случился Веревкинский скандал, который кончился страшным репримандом. Баденская официя порицала герцогиню за ее связь с жидом Герцом. Веревкин заступился, замахнулся на Голера, даже на Зама и условились драться на дуэли из пистолетов. Весь Баден смутился точно как от нравственного землетрясения. Дуэль происходила в Раштоне на шпагах. Увы, оба дуэлянта лишились жизни. Веревкин наповал, а офицер баденский мучился три дня и умер как христианин. Монго Столыпин, друг бедного Веревкина, был его секундантом и привез его тело в крытой коляске. Все бродили по аллеям и видели этот крытый экипаж, который был отослан с поручением, что все гостиницы условились не принимать это несчастное тело. Более всех кричал и размахивал руками граф Гурьев. Выписали священника из Стутгардта, его похоронили по обряду нашей церкви. Мы все, кроме Гурьева, присутствовали при этих

похоронах. Оплакивали эту кончину и завалили эту бедную, теперь забытую, могилу цветами. По несчастью Александр Трубецкой много тут сплетничал, все могло устроиться. Он вызвал пощечину Веревкина, и после этого дуэль сделалась необходимой. В<еликого> к<нязя> это происшествие очень огорчило, и он уехал в Киссинген с к<нязем> Ильей Анд<реевичем> Долгоруким и полковником Философовым. Толстой его опередил для заготовления приличного помещения. В Киссингене он получил письмо от Гендрикова, который сообщал, что милая жена Пашенька умерла. Я тотчас ему написала, зная, что эта смерть была большим огорчением для его любящего сердца. Он отвечал, что ожидал моего сочувствия и был уверен, что, зная Пашу, я оценила его потерю. В<еликая> к<нягиня> не могла терпеть меня, потому что догадывалась, что он поверял мне тайны своего сердца.

Гоголь уехал во Франкфурт. В Кобленце с ним был странный случай. Вечером он выставил сапоги, потому что рано утром пароход выходил в 6-ть часов. Проснувшись, Гоголь слышит, что все кричат: «Sie haben es gemacht»[94], высовывается, решается высунуть свой длинный нос. Тут все немцы хором закричали: «Er, er hat es gemacht»[95]. Вот что случилось. Один господин сунул ногу в сапог, и, о ужас, сапог до половины был полон золотой размазней, он закричал. Один за другим все любопытные высунули свои носы, и он всех огулом обвинил в неожиданной катастрофе. На пароходе вместо дружеских отношений все друг на друга косились.

В Страсбурге я должна была проститься с Балинским. Уже в Бадене, когда производилось привязывание кофров и ящиков, я заметила, что Балинский вовсе не сведущ в этом искусстве, отправилась в Hôtel d'Angleterre, и мне очень рекомендовали Charles, немца. Балинский, всегда смиренный, принял с достоинством и объявил мне, что идет за полицией. Полиция пришла и произвела все согласно достоинству de la grande nation[96]. Балинскому приказано было возвратить мне 50 франков, я хотела ему оставить эти деньги, но он с чувством истинного

[94] Вы это сделали *(нем.).*
[95] Он, он это сделал *(нем.).*
[96] Великой нации.

достоинства unsern Baltischen provinzen[97] их не принял; то я вручила их полиции для раздачи бедным, предложила полицейским 10 фр. за производство procès-verbal[98], но они отвечали, что французская полиция не унижает себя неправильными доходами. Балинскому было сделано внушение быть осторожнее и учтивее. Он уселся в дилижанс, а мы в своих экипажах отправились в Ниццу и поселились на зиму у Croix de marbre, в доме Masclet. Масклег давно жил в России, и русские охотно у него останавливались. Виельгорские жили в доме Paradis, и Гоголь у них жил. Утром он всегда гулял с Мих<аилом> Мих<айловичем> и Анной Мих<айловной>, обедал то у них, то у меня. «Насчет дессерта вы не беспокойтесь, – говорил он, – я распоряжусь», и приносил фрукты в сахаре. Кухарка пела во все горло: «M-r Gogo, m-r Flogo, des raviols, des raviols et de la salade du Père Français»[99] – После обеда Ник<олай> Вас<ильевич> вытаскивал тетрадку и читал отрывки из отцов церкви. Он особенно любил Григория Нисского и высказался следующими словами: «Искусство он понял, но разум искусства не понял».

Он написал мне 9-ть псалмов, и я должна была ему повторять урок так безошибочно, чтобы не запинаться. «Нет, нет, дурно, – говорил он иногда, – вас следует наказать в угол». Эти псалмы писаны хорошим почерком, и я их берегу с его письмами, как сокровища. Он нам читал в Ницце у старухи графини Сологуб «Тараса Бульбу».

Не раз вздыхал он о бедной Софье Мих<айловне> и говорил: «Ничто не может быть ужаснее, как когда чувство встречается с черствым бесчувствием». Сцены между Софьей Мих<айловной> и старой графиней были самые комические. Однажды она ей выговаривала, что у нее шляпы дурны. Софья очень хорошо отвечала, что у нее денег нет и она еще должна за эту шляпку marchande de mode[100]. «Экая беда, – ответ был, – tu ne retienne pas la salaire de l'ouvrier»[101]. Владимир Ал<ександрович> то и дело, что таскался в Меран волочиться за Duchesse d'Istrie, которая была еще очень хороша и весьма

[97] Наших балтийских губерний *(нем.)*.
[98] Протокола.
[99] Г. Гого, г. Флого, редиски, редиски и французский салат.
[100] Модистке.
[101] А ты не задерживай заработок работника.

свободного обращения. Бедная Софья Мих<айловна> все терпела молча, читала Библию и занималась детьми. Раз она мне сказала: «On dit que l'amour est aveugle; ce n'est pas vrai, mais il est indulgent et pardonne tout en· voyant tout, en devinant tout»[102].

Из Ниццы все потащились на север, я говела в Париже, Гоголь в Дармштадте. Мы съехались во Франкфурте. Он жил в Саксенгаузене у Жуковского, а я в Hôtel de Russie, на Цейле. Несчастный сумасшедший Викулин в Hôtel de Rome. Жуковский посещал Викулина всякий день, платил в гостинице и приставил к нему человека. Викулин пил, чтобы заглушить приступы своей болезни и тем еще более раздражил свои нервы. После визита в Hôtel de Rome, Жуковский приходил ко мне и рассказывал все старые, мне известные анекдоты. В особенности он любил происшествие Jean Paul Richter у герцога Кобургского. «Знаем, знаем», – говорили мы. Гоголь грозил ему пальцем и говорил: «А что скажет Елисавета Евграфовна, когда я скажу, какие гадости вы рассказываете?» Жену Жуковского приводило в негодование, когда он врал этот вздор.

Я разбирала свои вещи и нашла, что мой portefeuille, capo dopera[103] английского магазина, был слишком велик и, купив себе новый, маленький, у жида на Цейле, предложила Гоголю получить мой в наследство. «Вы пишете, а в нем помещается две дести бумаги, чернильница, перья, маленький туалетный прибор и место для ваших капиталов». – «Ну, все-таки посмотрим этот пресловутый portefeuille». Рассмотрев с большим вниманием, он мне сказал: «Да это просто подлец, куда мне с ним возиться». Я сказала: «Ну, так я кельнеру его подарю, а он его продаст этому же жиду, а тот всунет русскому втридорога». – «Ну, нет! кельнеру грешно дарить товар английского искусства, а вы лучше подарите его в верные руки и дайте Жуковскому: он охотник на всякую дрянь». Я так и сделала, и Жуковский унес его с благодарностью. Гоголь говорил мне: «У меня чемодан набит, и я даже намереваюсь вам сделать подарок». Тут пошли догадки. Я спросила: «Не лампа ли?» – «Вот еще что! Стану я таскать с собой лампу. Нет, мой сюрприз будет

---

[102] Говорят, любовь слепа: это неправда: она снисходительна и все прощает, всё видя и обо всем догадываясь.
[103] Портфель, образцовое произведение.

почище», – и принес мне единственную акварель Иванова. Сцена из римской жизни. Купец показывает невесте и ее матери запястье и коралловые украшения. Плотный купец в долгополом гороховом сюртуке, сзади даже отгадывается выражение его лица. Невеста опустила руки и смотрит смиренно, трастеверянин длинного роста, он выглядит глуповато, он в ботфортах с накинутым черным плащем. Писано широкой кистью и élégamment[104]. Кажется, он не накладывал краски для эффекту. Я подарила эту акварель в<еликой> к<нягине> Марии Николаевне, она очень обрадовалась и сказала: «Это будет мой подарок Саше. У государя есть альбом с произведениями лучших акварелистов, но эта всех лучше, и ему, главное будет приятно, что это русская акварель». Я очень рада, что так распорядилась. У меня могла ее украсть моя дочь Ольга Ник<олаевна>: она все забирает, бережет, после не отдает. У нее ведь альбом со стихами Пушкина, Вяземского, Плетнева, граф<ини> Ростопчиной и Лермонтова. Меня в Калуге очень рассердил священник Петр Степанович, уроженец владимирский, который мне сказал: «Вас в Калуге боятся, потому что Лермонтов вам писал: “но, молча, вы глядите строго”» и т. д.

Из Франкфурта Гоголь поехал в Москву, а за ним и я поехала в Питер, и началась наша переписка. Летом я жила в городе, потому что у детей была скарлатина. Петр Петр<ович> приехал погостить у нас и все рассматривал с своим камердинером Павлом, которого он звал Панькой. Человек был честный и прекрасный и умер скоропостижно, что огорчило старика несказанно. Он отвез его тело в Москву, похоронил его у самой церкви в Картунове, отпустил его семейство на волю, дал им землю, деньги, чтобы завестись домиком, и подарил им две коровы и лошадь. Они были сторожами церкви и гробницы любимого старшего сына. Чтобы развлечь дядю, мы приглашали Вяземского, Виельгорских и Баско обедать. У нас жила немка мамзель Кайзер, настоящая ворона с вечно раскрытым ртом. Баско уселся возле нее, и она сделалась жертвой его шуток. Подали апельсины, она уже начала чистить свой, как он очутился на люстре. После обе да мы повели его в детскую, где он делал

[104] Изящно.

ventriloque[105]: в нем то сыпался сор, то валились камни. Петр Пет<рович> – большое дитя, и дети очень забавлялись. Баско в самом деле был самый искусный штукарь. Театр всегда был полон, когда он делал представления, они были разнообразны и всегда новы. Наш курьер Портиччи знал, как он это все творит. Баско взял его в Одессе и с ним доехал в Пет<ербург>. On ne sait pas comme il faisait, mais en Pologne il parlait Polonais comme ventriloque[106]. Прежде Баско при имп. Павле был в Петр<опавловской> крепости, раз он остановил все часы во дворце. Часовщик как ни возился, не мог их завести без его помощи.

В 1815 году был ventriloque. Имп. Александр Павлович позвал его, к после обеда он делал разные штуки, командовал войску голосом имп<ератора>. Государь имел привычку отдыхать час в своей спальне. Рядом с спальней была столовая. Волконский приказал тафельдекеру[107] оставить уборку и ушел к себе. Но государь услыхал страшный шум, встал и удивился, что никого нет, а шум продолжается. Тогда вышел из передней штукарь и сказал ему женским голосом: «Je vous demande pardon, Sire, pour cette mauvaise plaisanterie»[108].

Имп<ератору> хотелось видеть все и всех в Париже, и посетил известную гадальщицу Lenormand. Она раскладывала карты про форма, но говорила в сомнамбулическом сне, который вызывала теплой ванной. Она ему сказала, что конец его царства будет очень грустный, что он умрет на юге России, что новое царство его брата начнется смутами, что его царствование будет длинное, славное, но потом смешала карты и сказала: «Et à présent je ne vois que du feu, des flammes et du sang et la mort. Il sera suivi d'un regne très doux, plain, de liberté»[109].

У государя был карандаш, подаренный ему Лафатером. Этот карандаш был в красном футляре и государь никогда им не писал. Лафатер занимался какой-то философской тезой

---

105 Чревовещание.

106 Не знали, как он это делал, но в Польше он говорил по-польски как чревовещатель.

107 От *нем.* Tafeldecker – лакей при столовой.

108 Прошу прощения, государь, за эту дурную шутку.

109 А теперь я вижу только огонь, пламя, кровь и смерть. За ним последует царствование мягкое, ровное и свободное.

и все не мог вывести заключения, когда к нему вошел почтенный старец, дал ему карандаш и сказал: «Вот тебе сентенция: она в Евангелии от Иоанна». Не знаю, где этот карандаш. Это мне рассказывал М<ихаил> Юрьевич Виельгорский. Удивительный человек был этот милый граф. Его библиотека была наполнена разных книг и раз<ных> документов, он прочитал всю эту литературу в 20 000 томов, был масон петерб<ургской> ложи с другом своим Сергеем Степ<ановичем> Ланским. Имп<ератор> был генералом du grand Orient[110]. Правила этих лож совершенно схожи с иерусалимскими. Виельгорский мне говорил: «On a très bien fait de les fermer: c'est un très puissant moyen pour tenir les masses dans leur devoir, mais c'est une epée à deux tronchants»[111]. Гоголю были равно ненавистны Ленорманы и масоны.

Зимой 40-го года Гоголь провел месяц или два в Петерб<урге>. Жил у Плетнева в университете, где он преподавал историю, два или три раза очень увлекательно читал, потом, как брат, посвятил себя Елизаветинскому институту, где воспитывались его две сестры на казенный счет. Жуковский его посещал с разными сладкими утешениями. Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетневым и Тютчевым. Для Крылова всегда готовились борщ с уткой, салат, подливка с пшенной кашей или щи и кулебяка, жареный поросенок или под хреном. Разговор был оживленный, раз говорили о щедрости к нищим. Крылов утверждал, что подаяние вовсе не есть знак сострадания, а просто дело эгоизма. Жуковский противоречил. «Нет, брат, ты что ни говори, а я остаюсь на своем. Помню, как я раз так из лености не мог ничего есть в Английском клубе, даже поросенка под хреном».

Имп<ератрица> всегда желала познакомиться с Иваном Андреевичем, и Жуковский повел его в полной форме библиотекаря имп<ераторской> библиотеки в белых штанах и шелковых чулках. Они вошли в приемную. Дежурный камердинер уже доложил об них, как вдруг Крылов с ужасом сказал, что он пустил в штаны. Белые шелковые чулки окрасились желтыми

[110] Ложи Великого Востока.

[111] Очень хорошо сделали, что их закрыли; это очень мощное средство для удержания масс в повиновении, но это палка о двух концах.

ручьями. Жуковский повел его на черный дворик для окончания несвоевременной экспедиции: «Ты, брат, вчера за ужином верно нажрался всякой дряни». Он повел его в свою квартиру в Шепелевский дворец, там его вымыли, кое-как одели и повезли его домой. Плетнев мне рассказывал, что Крылов всегда в грязном халате лежал на диване, а над ним висела картина, которая покосилась, и он всегда рассчитывал, когда она на него упадет. Весьма немногие знают, что Крылов страстно любил музыку, сам играл в квартетах Гайдена, Моцарта и Бетховена, но особенно любил квартеты Боккерини. Он играл на первой скрыпке. Тогда давали концерты в Певческой школе. В первом ряду сидели – граф Нессельрод, который от восторга все поправлял свои очки и мигал соседу князю Лариону Вас<ильевичу> Васильчикову, потом сидел генерал Шуберт, искусный скрыпач и математик. Все математики любят музыку. Это весьма естественно, потому что музыка есть созвучие цифр. Во втором ряду сидела я и Карл Брюллов. Когда раз пели великолепный «Тебе Бога хвалим», который кончается троекратным повторением «Аминь», Брюллов встал и сказал мне: «Посмотрите, ажно пот выступил на лбу». Вот какая тайная связь между искусствами! Когда четыре брата Миллеры приехали в Петербург, восхищению не было конца. Они дали восемь концертов в Певческой капелле, играли самые трудные квартеты Бетховена. Никогда не били такт, а только смотрели друг на друга и всегда играли в tempo[112]. Казалось, что был один колоссальный смычек. После обедни в большой церкви в Зимнем дворце, где пели певчие, начиналось пение. Я ездила на эти концерты. Это был праздник наших ушей. Ларион Вас<ильевич> Васильчиков говорил: «Важные, чудесные квартеты Бетговена, а я все-таки более люблю скромные квартеты старичка Боккерини. Помнишь, Иван Анд<реевич>, как мы с тобой дули их до поздней ночи?» Гоголь очень любил, но только духовную музыку и ходил к певчим. Певчих набирают со времен Разумовского в Украине и с восьмилетнего возраста, голоса этих малюток трогательны, и в два года учения они уже готовы петь Бортнянского и Сарти. Сарти приехал при имп. Елизавете Алек<сеевне>, его «Вкусите и видите» восхитительно.

[112] Такт.

Придводным хором дирижировал Львов, после него его сын, который сочинял херувимские и прочие канты самые нелепые, он сторговался с Синодом, велел их разучивать по всей России, что дало ему 10 000 дохода. Митрополит Филарет горячо жаловался, что испортили наше церковное пение, Теперь это пение под управлением Бахметьева совсем испортилось, и охотники ездят к графу Шереметеву, где Ласунский(?) сделал много перемен.

Шереметев ничего не щадит для церкви. Князь Одоевский говорил тоже, что Глинки «Господи, помилуй» всегда кончается с accord parfait[113], как будто обедня кончилась. Это повторение accord parfait очень томительно. Одоевский открыл ключ к древней церковной музыке и ввел ее в домашней церкви графини Протасовой. Я была на этой обедне, которая прекрасна. В соборе Успения в Москве поют киевским постепенным напевом. У ранней обедни священники и дьяконы выходят в середину церкви, становятся пред амвоном, у каждого клочок бумаги, на котором крюки. Особенно хороша «Херувимская». Я сообщила это государю, который хотел непременно побывать у Успенья. Я лечилась холодной водой и всякое утро с Каролиной Ив<ановной> ходила в церковь, согревшись скорым шагом после закутывания в мокрые простыни, и становилась у гробницы святителя Ионы. Он, кажется, был из древнего рода дворян Скрыпицыных; Филипп Иона тоже похоронен в Успенском соборе. Святитель Алексей из рода Колычевых тоже покоится в Чудовом монастыре, на его гробницу клала имп. Мария Феод<оровна> царского младенца, ныне царствующего имп. Александра.

Но вернемся à nos moutons[114], т. е. к Гоголю. Он жил у Жуковского во Франкфурте, был болен и тяготился расходами, которые ему причинял. Жуковскому он был нужен, потому что отлично знал греческий язык, помогал ему в «Илиаде». Василий Андр<еевич> просил меня сказать в<еликой> к<нягине> Марии Николаевне, чтобы она передала эту просьбу государю. Она родила преждевременно, забывала мою просьбу и сказала:

---

113 Заключительного аккорда.
114 К прежнему разговору.

«Parlez vous-même à l’Emp<ereur>[115]». На вечере я сказала государыне, что собираюсь просить государя, она мне отвечала: «Il vient ici pour se reposer, et vous savez qu’il n’aime qu’on lui parle affaires; s’il est de bonne humeur, je vous ferai signe et vous pourrez laisser votre demande[116]. Он пришел в хорошем расположении и сказал: “Journal des Débats” печатает des sottises. C’est une preuve que j’ai bien agi[117]». Я ему сообщила поручение Жуковского, он отвечал: «Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостаивается ли повесть “Тарантас”». «Я заметила, что “Тарантас” – сочинение Соллогуба, а “Мертвые души” – большой роман». «Ну, так я его· прочту, потому что позабыл “Ревизора” и “Разъезд”».

В воскресенье на обычном вечере Орлов напустился на меня и грубым, громким голосом сказал мне: «Как вы смели беспокоить государя, и с каких пор вы – русский меценат?» Я отвечала: «С тех пор, как императрица мне· мигнет, чтобы я адресовалась к императору, и с тех пор, как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов». За словами я не ходила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: «Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия». За ужином Орлов заговаривал со мной, но тщетно. Мы остались с ним навсегда в разладе. Я послала за Плетневым, мы сочинили письмо· к Уварову и запросили шесть тысяч рублей ассигнациями. Плетнев говорил, что всегда дают половину, у нас уж такой обычай. Между тем мы отписали Гоголю и требовали, что<бы>, отложивши лень, он послал Уварову благодарственную писулю, когда получит желаемую пенсию. Я после узнала, что он писал и государю. Получивши тысячу серебром, т. е. три тысячи пятьсот руб., он поехал в Иерусалим. Что он чувствовал у гробницы Спасителя, осталось тайной для всех. Знаю, что он мне не советовал ехать в Палестину, потому что комфортов совсем нет.

---

[115] Скажите сами императору.

[116] Он приходит сюда, чтобы отдохнуть, и вы знаете, как он не любит, когда с ним говорят о делах; если он в добром настроении, я сделаю вам знак и вы сможете отдать свою просьбу.

[117] Глупости. Это доказывает, что я поступил правильно.

Он поселился у графа Александра Петровича Толстого в доме Татищева на Никитской. Под весну я была очень больна и лечилась у Иноземцова холодной водой. Гоголь мне советовал бросить это лечение: «Мы с Аркадием Осип<овичем> поплатились за это лечение». Он мне писал из Греффенберга: «Хотите ли вы знать, как Аркадий Осип<ович> лечится в Греффенберге? В пять часов утра его будят, тотчас обливают холодной, как только можно <водой>, завертывают его в мокрые простыни и приказывают ему потеть. Но он не слушается, тираны доктора его раскутывают, когда он совсем посинеет и кричит благим матом, после чего его сажают бригадирше в холодную воду, и он с отмороженной бригадиршей бежит в рубашке и кальсонах в лес.

Дамы, все с отмороженными же бригадиршами, гуляют в лесу в длинных мантилиях, так что приличия соблюдаются строго. Из леса все бегут домой, где поедают множество булок и запивают синим снятым молоком. Сливки идут доктору в кофий, или сбиваются в масло. Обед самый гадкий, суп, разварная корова и черносливный компот. Насладившись два месяца такой жизнью, мы простились с гидропатией навеки. Говорят, что Юлий Кесарь никогда бы не покорил Галлию, если бы не купался в холодной воде. Все эти новые способы лечения очень стары. За них принимаются, когда испорченность нравов доводит до нервных болезней. Заключение: Ал<ександра> Осип<овна> Смирнова никогда не должна лечить свои нервы холодной водой. Это заключение вы должны написать на лбу, как Эзра в хранительнице».

Граф Алекс<андр> Петр<ович> был у меня в гостинице «Дрезден», как вошел Хомяков. Они разговорились о политике, религии и наконец об освобождении крестьян. Когда граф уехал, Хомяков мне сказал: «Я вам обязан этим приглашением; до свиданья в пять часов у Толстых». Гоголь пришел ко мне утром и был очень встревожен. «Что с вами, Ник<олай> Вас<ильевич>?» – «Надежда Ник<олаевна> Шереметева умерла, вы знаете, как мы с ней и с Фонвизиным жили душа в душу? Последние два года на нее нашло искушение: она боялась смерти. Сегодня она приехала, как всегда, на своих дрожках и спросила, дома ли я. Поехала куда-то, опять заехала в дом Татищева, не нашла меня и сказала людям: "Скажите Николаю

Вас<ильевичу>, что я приехала с ним проститься”, – поехала домой и душу отдала Богу, который отвратил предсмертные страдания. Ее смерть оставляет большой пробел в моей жизни».

У Толстого был прекрасный русский стол, обедали мы с братом Клементием, Хомяков, Гоголь и хозяин. Хомяков болтал без умолку, был в ударе и смешил нас всех, перебрасываясь с Клементием Ос<иповичем> самыми неожиданными выходками. После обеда подали чай и кофий, который графиня сама разливала и потом уснула. День был жаркий. Граф и Хомяков все говорили об освобождении крестьян, а Гоголь, Лева и Клема ходили со мной по колоннаде и все жаловались на нестерпимую жару. Клема сказал: «Совсем это не жара, а потому что говорят все об одном, спросите Леву, как душно в губернском правлении, все это от того, что все пишут об одном». Клема был тогда в раздраженном положении, впрочем, как и всегда. Он шел с Левой по Кузнецкому мосту в контору дилижансов. Лева ему заметил, что у него поношенный сюртук. «Это ничего, – сказал Клема, – в дилижансе он покажется новым и модным, ведь там ездит всякая дрянь, а в Петерб<урге> я проберусь домой и закажу новое платье, пущусь в свет, буду играть в карты с рябчиком Голицыным». – «А на какие деньги?» – спросил Лева. – «На Смирновские, у него все можно взять. Бьюсь об заклад, что с его письменного стола унесу храм Пестума, статую гладиатора, и он не заметит, лишь оставить ему десть бумаги, чернила и перья. Ведь он готовится в губернаторы, а известно, что эти дураки только и делают, что пишут, пишут “по материи”. Лева, ты читал годовые отчеты губернаторов, такая чепуха, что Бог прости, а бедный государь по ночам их читает и карандашом делает отметки. Я никогда не буду губернатором, какой черт меня принудит сидеть в губернском правлении с Симановичем, Григорьевым и прочей дрянью. Гораздо лучше остаться навеки майором. Этот чин, как и бригадирский, совсем исчез на Руси. Этот пробел следует заполнить и занять у немцев какое-нибудь длинное слово. Я знал в Дрездене Frau Stüttern, Hoffräthin, очень милую wichtige Dame[118]. У немцев все смешно, но в Дрездене смешнее, чем где либо».

---

118 Советницу... важную даму *(нем.).*

Клема поселился с Николаем Скалоном и Аркадей. К ним часто ходил князь Иван Серг<еевич> Гагарин, и в городе толковали о неурядице в доме Пушкина. Гагарин вышел от них в смущении и сказал: «Гаже анонимных писем ничего не может быть». Он уже получил свое, написанное незнакомым почерком. Вслед за ним братья, Скалой, Карамзины, Вяземский, Жуковский, Виельгорский, даже государь получили эти злополучные письма. Кого подозревать? Все единогласно обвиняли банкаля Долгорукова, он один способен на подобную гадость. Его последняя пакостная история с почтенным стариком Левенштерном закрыла ему вход во все дома. Оказалось, что они были точно написаны им, и этот мерзавец обвинял князя Ивана Гагарина. Уверяли даже, что он <от> этого сделался иезуитом. После несчастной дуэли с французским авантюристом Дантесом последовала страдальческая смерть Пушкина. Государь, один государь показал истинное горе и участие. При его постеле дежурили постоянно Жуковский, Вяземский, Скалой и мои братья. Даже Ося приехал из Стрельны. Они несли его гроб в Конюшенную церковь. Похороны посетили все послы иностранных дворов. Граф Фикельмон дал первый толчок этому движению. Народу было большое множество. Гоголь неутешно оплакивал эту смерть. Россия почувствовала, что замолкла ее лира. Громовое известие дошло до меня в ложе Китти Тюфякиной на первом представлении «Гугенотов». Николай Киселев мне сообщил, он был очень дружен с Пушкиным и был, видимо, огорчен. «Наши немцы одни совершенно не принимают никакого участия в русском горе». Но он ошибся. Когда Медем был послан министром при авст<рийском> имп<ераторе>, княгиня Меттерних позвала его обедать и сказала, что будет Геккерен, друг Дантеса. Медем отвечал: «Madame, chaisissez entre la Hollande et la Russie»[119], никогда не встречал Геккерена и называл: «Ce mécréant ne devait pas vivre, il a vexé les droits de la nature. La Hollande devrait rougir d’avoir un pareil représentant»[120]. Этот подлец жил и умер в совершенном одиночестве в Голландии. Он был сродни со всей аристократией, но ни одна душа

[119] Мадам, выбирайте между Голландией и Россией.

[120] Этот нечестивец не должен был жить, он оскорбил законы природы. Голландии должно быть стыдно, что ее представляет такой человек.

не почтила погребальную процессию, даже Дантес не поехал к своему папеньке, и его похоронили как собаку.

Зимой мужа моего назначили губернатором в Калугу. Он вывез всю нашу мебель, закупил много посуды, люстры и аплике на сто человек и отправился в Калугу. Я переехала на квартиру Карамзиных на зимние месяцы, получила от Гоголя письмо, в котором он просит не смущаться предстоящей новой жизнью. «Вы можете сделать много добра, в моих советах не будет недостатка, замечайте сначала все, но будьте, по словам апостола Якова, медлены глаголати. Утешайте себя возможностию делать плодотворное добро». Приезд мой в Калугу был новой эрой в моей жизни. Я никогда не была в русской губернии. Сама природа была другая. Из Москвы все время едешь в гору по лесным дачам и болотам. Детей с m-lle Овербек послали вперед, они ночевали у помещика Чирикова, где их приняли с почетом, и они забавлялись. Я выехала с братом Львом Арнольди. Он один был в двуместной карете, а повар Сильвио сидел сзади под канатом и смотрел с удивлением на шоколадную размазню, которая называлась большая дорога. Я ехала сзади в четвероместном рыдване с княжной Цициановой, моей девушкой Ленхен и с Аннушкой, фактотумом княжны. Мы ночевали у уездного предводителя, которого не посадили, а заставили стоять у притолки, не подозревая, что он не только персона, но даже особа. Мы пошли в монастырь к обедне, но опоздали, помолились и получили благословение служившего отца Антония. Он нам показывал ядра, сложенные в груду за стенами, все стены были испещрены ядрами фр<анцузской> артиллерии, которая была разбита в прах. Я вспомнила стихи Мятлева:

Хотите ли вы знать,
Как m-r Наполеон выгнал вон,
И как встретили мы друга
Comme за la ville Калуга.
M-r Napoléon le vieux chemin убрал,
Из пушка паф, паф etc.

Предводитель предложил мне ехать вперед и прокладывать нам дорогу, потому что Афанасьевские луга небезопасны. Княжна смеялась и говорила: «Ma parole d’honneur, il ne quitte

la boue[121]». К вечеру мы дотащились до полдороги и ночевали на сене и каретных подушках. Лева растянулся в дормезе, а Ольга в передней. Утром рано поехали и в 2 часа въехали по Московской улице в столичный град Калужского воеводства, в котором в полном значении этого слова воевал Смирнов. Калуга до приезда Екатерины была воеводством, последний воевода был Телятьев.

Екатерина устроила генерал-губернаторство, назначила Кречетникова и создала новую епархию. Первым епископом был Евлампий, болезненный, прямой человек и очень святой жизни. Его замечательный портрет украшает гостиную преосвященного Николая, теперешнего епископа. Волоса черные как смоль, лицо строгое, совершенно монашеское. Старичок Никитич, который всегда служил на больших банкетах, мне рассказывал любопытные вещи о тогдашней жизни. М<итрополит> Платон спросил у Евлампия, что он думает о христа-ради юродивом Лаврентии, по нем служат панихиды и молебны и делаются чудеса. «А как вы думаете, не пора ли его вынуть из-под спуда?» – «Не знаю, как вам угодно». – «Мы было думали, что явление его мощей привлечет богомольцев и оживит торговлю, но лучше повременить, неравно Лаврентий законфузится, в этих делах лучше все предоставить мудрости божией». Лаврентий и до сих пор под спудом, но его образ висит в каждом калужском доме. Мы потащились по Московской улице, когда нас встретила карета Ник<олая> Мих<айловича>, лежащая на боку, и лакей Алексей был погружен в рассуждение о случившемся реприманде. Мы подъехали к губернаторскому дому, красивой наружности. Дети выбежали мне навстречу, и Владимир Яков<левич> Ханыков приглашен был к обеду. Я села за клавикорды, и княжна мне сказала: «Понимаю, это уж с горя». К обеду был приглашен мой провожатый, исправник. Я тотчас по приезде спросила Ник<олая> Мих<айловича>: «Я полагаю, что довольно, если я заплачу ему пятьдесят руб.». Он так и ахнул: «Ведь это дворянин и служит бесплатно по выбору всего уездного дворянства». На другой день Ник<олай> Мих<айлович> посвятил меня в компликацию служебной иерархии, я не подозревала, что огромная Россия поддерживается

[121] Честное слово, он не пропускает своих чаевых.

такими тузами, как председателями гражданской, уголовной, казенной палат, что есть такое судилище, как губернское правление, что есть совестный судья, пробирмейстер, врачебная управа, которая отличается во время рекрутского набора и набивает себе карманы. Мелкопоместные дворяне тоже украшают своим присутствием город Калугу и селятся на Московской улице. Эта улица составляет род Faubourg St. Germain. На следующий день мне дали лист и послали меня делать визиты по иерархическому порядку. Первый визит, конечно, был к архиерею, преосвященному Николаю. Я поехала с матушкой, которая не выходила. Мне казалось, что везде меня подвозили к заднему крыльцу. Эти визиты нагнали на меня скуку и тоску. Я все это описала Гоголю, и он остался очень доволен моими сведениями.

Весной он выехал из Москвы с Левой и Климой. Последний на одной станции потерял тарантас, который пропал без вести. А Гоголь и Лева остановились в Малом Ярославце менять лошадей. Городничий спросил брата: «Кто этот господин, ваш попутчик?» – «Это Гоголь». – «Как Гоголь, тот самый, который написал "Ревизора"?» – «Да». – «Ну, так, пожалуйста, представьте меня ему». Мы уже перебрались в загородный дом и назначили помещение Гоголю в домике, где жил Нелединский. Он был очень доволен устройством комнаты и говорил: «Вид прекрасный, под ногами прозрачная речка, а затем этот великолепный бор». Ему служил Афанасий, который тотчас потрафил свою должность. Гоголь вставал в пять часов, пил кофий в восемь, запивал его холодной водой. Это служило для него лекарством. К нам он являлся в два часа. В воскресенье он пил кофий с нами и приходил в полном параде, в светло-желтых нанковых панталонах, светло-голубом жилете с золотыми пуговками и в темном синем фраке с большими золотыми пуговицами и в белой пуховой шляпе. Он купил эту шляпу в рядах, куда сопровождал его Лева, старую шляпу он оставил в лавке. Все рядовые один за другим пробовали эту шляпу, нашли, что его голова была более других, потому что он писал такие умные книги, и решили поставить ее под стеклянным колпаком на верхней полке счастливца, у которого великий писатель купил шляпу. Я, чаю, она и теперь стоит на этом месте. Из рядов они пошли в книжную лавку, где нашли тридцать томов,

в том числе и его сочинения, в мусака переплете. Наш переплетчик все переплетал очень дурно в этот цвет. Если он приходил, люди докладывали, что пришел «мусака». Гоголь, где бы ни был в России и за границей, заходил в книжную лавку и перелистывал каталог. «Это, – говорил он, – самый верный пробный камень умственного развития города. Где в Германии две и три тысячи книг, в России в губернских городах тридцать или много сто книг». В Москве он всякий день ходил к Ферапонтову на Никольской. Там он встречал коротенького и плотного человека, по выбору книг и по произношению он догадался, что перед ним Михаил Семен<ович> Щепкин, ударил его по плечу и сказал: «Гей чи живы, чи здоровы, уси родичи гарбузовы». Это оригинальное знакомство кончилось дружбой самой тесной. Я часто ездила с ним в Лаврентьевскую рощу, он вытаскивал тетрадку и записывал виды. Скромный архиерейский дом осеняла Лаврентьевская роща, и в самом деле пейзаж был великолепный. «So rueful and calm»[122]. Перед моим отъездом он мне дал записку, кого отыскать в Москве. Я познакомилась через Александра Ив<ановича> Тургенева с Екатериной Ал. Свербеевой. Хомякова я прежде знала, и он писал ко мне стихи: «От роз ее название» и etc., etc. С Константином Аксаковым произошла комическая сцена. Он пришел в десять часов утра в зипуне на красную кумачевую рубашку, подпоясанный пестрым кушаком, с ермолкой в руке. Перекрестился, и я тотчас ему сказала: «Что это за костюм?!» Обиженным тоном он ответил: «Сударыня, вы в костюме, а я хожу в русском платье». Вечером мы были собраны у Хомякова, Шевырев, Погодин, Аксаковы и князь Дмитрий Хилков. Разговор был литературный, решили, что лучшие прозаисты духовные писатели, хорошо знакомые со славянским языком; перешли к поэтам, все сошлись, что выше, вдохновеннее Пушкин, но князь Хилков сказал, что не всегда. Аксаков вскочил, вспылил и цитировал несколько пьес, все невпопад. Когда он прочел «Пророк» и его «Ответ митрополиту Филарету», Хомяков сказал: «Вот это так поэзия. Кто же, по-вашему, поэт?» – «Царь Давид и все пророки, особенно Исайя». – «Так после этого с вами нельзя спорить». – «Да я вас и не просил», – отвечал очень

122 Так грустен и спокоен *(англ.).*

хладнокровно князь Дмитрий. Все расхохотались, а Аксаков уселся и что-то бормотал про себя.

В конце лета Гоголь предложил нам собраться в два часа у меня. Граф Алексей Толстой сослан был за какой-то пиджак в Калугу с сенатором Давыдовым для ревизии нашей губернии. Он прочел нам первую главу второго тома «Мертвых душ», всякий день в два часа. Тентетников, Вороново-Дряново, Костанжогло, Петух, какой-то помещик, у которого было все на министерскую ногу, в чем он убивал драгоценное время для посева, жнитвы и косьбы, и все писал об агрикультуре. Чичиков уже ездил с Платоновым, который от нечего делать присоединился к этому труженику и вовсе не понимал, что значила покупка мертвых душ. Наконец, приезд в деревню Чаграновых, где Платонов влюбился в портрет во весь рост этой петерб<ургской> львицы. Обед управляющего из студентов с высшими потребностями. Стол был покрыт: хрусталь, серебро, фарфор саксонский. Бедный студент запил и тут высказал то, что тайно подрывало его энергию и жизнь. Сцена так была трагически жива, что дух занимало. Все были в восторге. Когда он читал главу о Костанжогло, я ему сказала: «Дайте хоть кошелек жене его, пусть она шали вяжет». «А, – сказал он, – вы заметили, что он обо всем заботится, но о главном не заботится». Гоголь уехал в Москву, где через Ивана Вас<ильевича> Киреевского узнал, что в Оптиной пустыне, в скиту, живет знаменитый отшельник и молчальник. Он к нему неоднократно ездил, его так помучил своей нерешенностью, что старец грозил ему отказать его принимать. Мне осталось неизвестным, каких советов он просил у него. В то же время у графа Толстого он познакомился с ржевским священником Матвеем Александровичем и был с ним в частой переписке. Матвей Алек<сандрович> был точно замечательный человек. Кротость и смирение его были ни с чем несравнимы. Он езжал в Петерб<ург>, где живал у Татьяны Борисовны Потемкиной; на все философски-религиозные разговоры он отвечал только одной коротенькой фразой: «Как я рад, что Бог всего выше». С Гоголем они молились всегда на коленях и часто прибегали к исповеди и причастию. После долгого мясоеда настала страстная неделя. Нащокин и Щепкин позвали Гоголя на блины в пятницу в трактир Бубнова. Когда они за ним пришли, он

наотрез отказался. Щепкин начал кощунствовать. Он его взял за ушко: «Ты когда-нибудь будешь за эти слова раскаиваться, смотри, чтобы не было поздно». После этого настали предсмертные. Матвей Алек<сандрович> приехал из Ржева, и с ним он соборовался в присутствии Толстых. Граф и графиня, и Нащокин плакали навзрыд; потом стал исповедываться и в последний раз вкусил хлеба жизни вечной в земле преходящей. Призваны были доктора: Овер, Иноземцев. Ежеминутно знакомые и незнакомые приходили за известиями. Всем известны последние слова этой кроткой души: «Оставьте меня, мне хорошо» и его рисунок, который никто не понимает. Он скончался через три дня тихо и сжег главы второго тома.

Согласно с его желанием, Толстые хотели сделать скромные похороны, но весь университет поднялся и требовал настоятельно, чтобы его отпели в университетской церкви, оттуда студенты несли его на руках в Данилов монастырь. За гробом тянулись попарно его друзья в слезах и похоронили его на монастырском кладбище при огромном стечении народа. Погодин выбрал надпись из пророчества Исайи: «Горьким смехом моим посмеюся». Я посетила эту могилу. На черной плите золотыми буквами гравирована надпись и далее год его смерти. С ним рядом лежит Хомяков, Языков и молодой Валуев, юноша двадцати двух лет, уже успевший оставить потомству замечательные слова в журнале «Беседа». Еще до масленой Гоголь мне написал твердой рукой записку. Я была больна. Он писал: «Не смущайтесь, вы воскреснете от болезни, повторяйте слова вашего друга майора Филонова, который, как вы мне сказали, повторял неустанно: “Христос воскресе, Христос воскресе”. Прощайте, добрый друг, Христос с вами и ныне, и присно, и во веки веков да будет». Графиня Толстая вместо письма написала мне: «Смерть оставила нас сиротами, одно утешение повторять слова Ефрема Сирина». У меня это письмо сохранилось, но теперь оно не под рукой у меня, я его найду и сообщу вам. Переписка с ним вся в порядке и сохранности, из нее сделал выписки Кулиш с моего соизволения, а напечатал, не спросясь меня. На Гоголя имел большое влияние протоиерей Павловский, почтенный и добрейший священник, когда Гоголь жил у Репниных в Одессе. Плетнев сообщил Жуковскому эту неожиданную горесть. Выписываю его письмо малоизвестное

и, вероятно, почти всеми забытое. Вот оно. «Баден. 17/5 марта 1852 года. Любезнейший Петр Александрович, какою вестью вы меня оглушили, и как она для меня была неожиданна. Весьма недавно я получил письмо от Гоголя и сбирался ему отвечать и хотел дать ему отчет в моей теперешней стихотворной работе, т. е. хотел поговорить с ним подробней о моем “Жиде”, которого содержание ему было известно, который пришелся бы ему особенно по сердцу, и, занимаясь которым, я особенно думал о Гоголе... и вот уже его нет! Я жалею о нем несказанно, собственно для себя. Я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении. Теперь мой литературный мир ограничивается четырьмя лицами: двумя мужского пола и двумя женского: к первой половине принадлежите вы и Вяземский, к последней – старушка Елагина и Зонтаг. Какое пустое место оставил в этом маленьком мире мой добрый Гоголь! Жалею об нем еще для его начатых и недоконченных работ. Для нашей литературы – он потеря незаменимая. Но жалеть ли о нем для него? Его болезненная жизнь была и нравственным мучением. Настоящее его призвание было монашеское. Я уверен, что ежели бы он не начал свои “Мертвые души”, которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы был монахом и был бы успокоен совершенно, вступил в эту атмосферу, в которой душа его дышала бы свободно и легко. Его творчество, по особенному свойству его гения, в котором глубокая меланхолия соединилась с резкой иронией, было в противоречии с его монашеским призванием и ссорило его с самим собой. По крайней мере, так это мне кажется из тех обстоятельств, предшествовавших его смерти, которые вы мне сообщили. Гоголь, стоящий четыре дня на коленях не вставая, окруженный образами, <говорящий> тем просто, которые о нем заботились: “Оставьте меня, мне хорошо”, – как это трогательно! Нет, я не вижу суеверия. Это набожность человека, который с покорностью держится установлений православной церкви. Что возмутило эту страждущую душу в последние минуты, я не знаю, но он молился, чтобы успокоить себя, как молились многие святые отцы нашей церкви и, конечно, в эти минуты ему было *хорошо,* как он сам говорил. Путь, которым он вышел из жизни,

был самый успокоительный и утешительный для души его. *“Оставьте меня, мне хорошо”.* Так никому по себе неизвестно, что хорошо другому по свойству, и эта молитва на коленях четыре дня уже есть нечто вселяющее глубокое благоговение, так бы он умер, если бы, послушавшись своего естественного призвания, провел жизнь в монашеской келье. Где он жил в последнее время в Москве? Верно ли, что у графа? Если так, то бумаги в добрых руках, и ничто не пропадет. Надобно нам, его друзьям, позаботиться о издании его сочинений полном, красивом, по подписке в пользу его семейства: у него мать и две сестры живы. Если публиковать по подписке, то она может быть богатая. Позаботимся об этом. Если я был бы в России, то бы дело разом закипело. Между тем от себя напишу Толстому. А вас прошу сообщить как можно более подробностей о его последних минутах. Ваш Жуковский».

Маркевич мне говорил, что во время похорон с трудом он пробирался в толпе, полиция была вся на ногах, жандармы с озабоченными лицами рыскали во все стороны, как будто в ожидании народного восстания. Он нарочно спросил у жандарма: «Кого хоронят?» А тот громовым голосом отвечал: «Генерала Гоголя». Это уже чисто русская оценка заслуг отечеству.

Тургенев в Петербурге напечатал самую нелепую статейку, чтобы почтить человека, которого он уважал и любил, зная его лично. Государю эту статью представили, как манифест партии «пиджаков и общинного начала», его засадили прямо в сибирочку. Алексей Толстой посредством ныне царствующего государя добился до его избавления и двухнедельного страдания слышать, как секла благородная российская полиция пьяных мужиков и баб, забывая, что и она причастна тому же греху. Ему велено было жить в Орловской деревне и не писать. В этом уединении он написал свои лучшие повести: «Гамлет Щигровского уезда», исполненную трагического интереса «Муму» и «Постоялый двор», которые через два или три года были напечатаны. Его chef d’oeuvre «Бежин луг», где так живо чувство русской природы. Не раз в Спасском я сидела по вечерам у окна в светлую ночь и подслушивала то, что французы называют les bruits du silence[123], видела подпасков, стерегущих лошадей.

[123] Звуки тишины.

Тургенев был у Гоголя в Москве, тот принял его радушно, протянул руку, как товарищу, и сказал ему: «У вас есть талант, не забывайте, что талант есть дар Божий и приносит десять талантов за то, что Создатель вам дал даром. Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее. Главное – не спешите печатать, обдумывайте хорошо. Пусть скорее создастся повесть в вашей голове и тогда возьмитесь за перо, марайте и не смущайтесь. Пушкин беспощадно марал свою поэзию, его рукописей теперь никто не поймет, так они перемараны». Николай В<асильевич> сердился, когда ему говорили, что «Бежин Луг» и «La petite Fadette» схожи. Он вообще не любил Georges Санда. Когда мы были в Тиволи, Ханыков вечером читал вслух «Lettres d'un voyageur», Гоголь, видимо расстроенный, ушел. На другой день я его спросила, зачем он ушел. Он отвечал: «А вы разве любите, когда играют фальшиво на скрипке? У этой женщины нет искры правды, даже нет чутья истины. Она может только нравиться французам». В 48-м году печатался роман Достоевского «Макар Девушкин», который огорчил покойника. «А у него есть большой талант, жаль, что его перо пишет без остановки, но без руководства. Макар Девушкин оставляет в душе невыносимое чувство безотрадной грусти». Скончался Гоголь, литература облеклась в траур. Один Лермонтов пел стройно на свой лад, за что был наказан и отослан на Кавказ. Скоро и Хомяков закрыл свои глаза.

Почтенный наш священник Попов писал мне из Лондона: «Странная судьба наших поэтов-философов и философов-поэтов, они как будто не уживаются на нашей земле и отлетают на крыльях голубиных в лучшую страну. С Пушкиным мы лишились великого поэта, с Гоголем – великого писателя».

Теперь следует вас просить некоторые вставки. В бытность свою в Калуге он читал с восторгом Палласа, восхищался его познаниями в геологии и ботанике. «С ним я точно проехался по России от Питера до Крыма. Потом возьмусь за Галлена». – Вторая вставка. Когда он приехал с Максимовичем в Калугу, от Москвы до Калуги они останавливали тарантас и собирали цветы и завалили экипаж ими. В Калуге остались три дня, сушили травы и наклеили их как следует. Они останавливались по дороге ночевать только в монастырях до Киева, где Максимович уже был профессором. В Киеве Николай В<асильевич>

говел, оставался недолго и поехал на лето в Васильевку, где с нетерпением ожидали его мать и сестры. Он сеял и сажал деревья и кусты и выучил сестер, как это делать. Привез им как руководителя книгу Храповицкого о сельском хозяйстве, которую считал истинным сокровищем.

А теперь прощайте. Иди же, моя рукопись, на суд публики и назидай новое поколение, уклонившееся с прямой дороги. Слава бессмертного христианина, точно как смерть первых христиан-мучеников, не должна пропадать даром. Теперь вопрос, где печатать эту меморию и как назвать ее. Я думаю, что как ни пакостен Бартенев, надобно поддержать его «Архив» ради того, что он первый собрал много историко-анекдотических сокровищ. Выручка в пользу славянской братии. Это будет моя первая лепта, вторая будет вся из золотых испанских <нрзб>.

Мои мемуары пишутся, я уж добралась во дворец. Иезуит Гагарин мне советовал писать как попало, без систематического порядка, главный недостаток, что я запамятовала числа и года важных моментов для хроники русской. Итак, печатайте «Записки» новейшей девицы Дуровой.

De par Dieu à la voilà pour la France – вскричал Joinville. С ним и я повторяю: De par Dieu à la voilà pour la Russie[124].

Париж, 2 октября 1877 г.

Не забудьте нашу ссору в Калуге, когда вы воротились и порицали «Переписку с друзьями»; слова Хомякова к вам: «Поздравляю вас с первым впечатлением». Меня ночью Лева катал в санях; мои ругательства на вас как шишки на бедного Макара, при всех, и Клушин, этот смехотворный болтун, удивлялся придворному языку.

Передайте Анне мой дружеский поклон и скажите ей, что Марья Алек<сандровна> наконец победила английскую публику. Королева от нее без души, и весь двор ею оживляется. После Гоголя примусь за Самарина и его огромную переписку. Прощайте, все ваши письма у меня целы.

Остаюсь душевно преданная *А. Смирнова*

И вас буду выводить на свежую воду.

3-я вставка: Гоголь часто вспоминал свое детство в Васильевке. Описывал хаты с палисадником, перед которыми росли деревья,

[124] С Богом во Францию... С Богом в Россию.

украшенные богатыми черными сливами и черешнями. Он особенно был счастлив в самые жаркие июльские дни. Пяти лет он лежал на густой траве, заложив руки под голову и задрав ноги. «Солнце палило. Тишина была как-то торжественна, я будто слышал стук времени, уходящего в вечность. Кошка жалобно мяукала, мне стало нудно (по-малороссийски нудно, что по-русски грустно), я встал и с ней распорядился, взял ее за хвост и спустил ее в колодезь, что подле речки. Начали искать бедную кошку, я признался, что ее утопил, плакал, раскаивался и упрекал себя, что лишил Божью тварь наслаждений этой жизни». Это делал он в пять лет. Какая глубина чувства! Их домашним доктором был Трохимовский. Он по-своему лечил давно, до Греффенберга, холодной водой, вся процедура происходила у реки на солнце, не было ни завертывания в мокрые простыни, ни душа, раздражающих спинной мозг. Лекарства его составлялись из трав, которые росли в его околотке. «Бог, – говорил доктор, – так щедр и милосерден, что дает человеку на его потребу и в свое время, что ему нужно на пищу и на его здоровье».

У Гоголя точно была тетка и двоюродный брат, который бил мух хлопушками. Ссора Ивана Никифоровича с соседом тоже взята с натуры. Вот, кажется, все пробелы. Нет, таки еще не кончено. Когда дело шло о воспоминаниях малороссийских, у него было все картинно. Вот как после блюд и песен он рассказывал захождение солнца: «Солнце при закате, плечистый хохол с чупруном на макушке летит во весь опор без седла на степной лошади, за ним бежит хромоногий пес, оглядываясь назад, как будто боится, чтобы не отстала кобыла, жеребец или жеребенок. Журавли их провожают и на розовом небе летят в чинном порядке и кажутся красивыми платочками». (Вы помните, что в «Тарасе Бульбе» он не забыл эту деталь). Весь рассказ еще живее и картиннее. Не вычеркивайте побочных подробностей о других лицах. Мне кажется, что вводные лица, как в комедии, пополняют общее впечатление; не надо, чтобы записки были монотонны.

Прощайте, скажите Анне, что в Англии наконец поняли нашу в<еликую> к<нягиню>. Королева от нее без ума, и в Виндзор она одна имеет право приезжать, когда хочет. Дети ее прелесть как хороши, и Бог знает, может Анне придется их воспитывать; и вы начнете новую жизнь, вы будете учить русскому языку и давать уроки православия. Нет сомнения, что Англия опять окунется в паутину Римской церкви, а герцог, конечно, предпочтет нашу драгоценную церковь. Все это в будущем, но мне так чудится.

Душевно преданная *А. С.*

Еще заметить, что Гоголь давал своим героям настоящие имена, а не вздорные и бессмысленные, как в наших водевилях: Ленский, Онегин и пр. Он всегда читал в «Инвалиде» статью о приезжающих и отъезжающих. Это он научил Пушкина и Мятлева вычитывать в «Инвалиде» имена, когда они писали «Поминки». У них уже была накропана довольно длинная рацея:

Михаил Михайловича Сперанского
И арзамасского почт-директора Ермоланского,
Апраксина Степана,
большого болвана,
И князя Вяземского Петра,
Почти пьяного с утра.

Они долго искали рифму для Юсупова. Мятлев вбежал рано утром с восторгом: «Нашел, нашел»:

Князя Бориса Юсупова
И полковника Арапупова.

Ими. Николай Павлович велел переменить неприличные фамилии. Между прочими полковник Зас выдал свою дочь за рижского гарнизонного офицера Ранцева. Он говорил, что его фамилия древнее, и потому Ранцев должен изменить фамилию на Зас-Ранцев. Этот Ранцев был выходец из земли Мекленбургской, истый оботрит. Он поставил ему на вид, что он пришел в Россию с Петром III, и его фамилия знатнее. Однако он согласился на это прилагательное. Вся гарниза смеялась. Но государь n'entendait pas de retrogression[125], просто велел Ранцеву зваться Ранцев-Зас. Свекр поморщился, но должен был покориться мудрой воле своего имп<ератора>. Гоголь восхищался этим рассказом и говорил: «Я так постараюсь поднести это публике, известить их, что “Инвалид” в фельетоне заключает интересные сведения». Мы в Калуге с Левой ежедневно читали эту интересную газету и вычитали раз, что прапорщик Штанов приехал из Москвы в Калугу, через три дня узнали, что он поехал в Орел, из Орла он объехал наш город и поехал прямо

[125] Не зная движения назад.

в Москву. Из Москвы и дилижансе в столичный город Санкт-Петербург. Так было напечатано слово в слово в фельетоне «Инвалида». Оттуда прямо в Москву, а из Москвы в Калугу, а из Калуги в Орел. Мы рассчитали, что прапорщик Штанов провел на большой дороге отпускные двадцать один день. «А зачем он делал эти крюки, это неизвестно и осталось государственной тайной». Это заключение принадлежит Николаю Вас<ильевичу> и делает честь его прозорливости. Штанову так и следует рыскать по России.

Автобиографические записки

Воспоминания о детстве и молодости (основной текст)

Я родилась в 1809 году 6 марта, день мучеников в Аммерии. Мои воспоминания начинаются с трехлетнего возраста. В Одессе выпал снег в 1812 г. Я шепелявила и сказала отцу:

– Таталь, que ce que c'est ces petites plumes blanches?

– C'est de la neige, mon enfant.

– Et d'où cela vient?

– Du ciel, mon enfant, comme tout ce qui est sur la terre[126].

Отец мой был le Chevalier de Rossett, уроженец Руссильона, смежного с Швейцарией. Его мать была девица La Harpe, сестра наставника императора Александра, полковника Лагарпа. Дед мой был вольтерьянец, как, впрочем, все почти в это время; он воспитывал сына до 15-ти лет в этих же пагубных понятиях. Бабка моя перешла в римскую церковь и была ханжа весьма крутого нрава: она хотела обратить сына, с ним спорила и потчивала его пощечинами – он вышел из терпенья и оставил отеческий кров. Как он дошел до Вены, мне неизвестно, и все последующее я узнала от дяди Николая Ивановича Лорера (декабриста). Венский университет считался лучшим в Германии, и отец окончил там курс своих наук. Должно быть, что он встретил там знатных и богатых благодетелей. Я часто слыхала, что отец мой и герцог Ришелье говорили о князе Кантемире, а когда я спрашивала, кто был «Тантемиль», отец мне отвечал: «Va jouer avec ton ballon, cela ne te regarde pas»[127]. Эти благодетели советовали ему принять должность драгомана у Порты. Порта платила тогда щедрой рукой и награждала драгоманов драгоценными камнями, жемчугами и шалями (теперь турецкие шали точно так же тяжелы, как попоны, а в то время они славились, когда шаль была так тонка, что можно было ее продернуть в обручальное кольцо). Через три года отцу надоела эта должность и он приехал в Херсон и определился

---

[126] – Что это за маленькие белые перья? – Это снег, дитя мое. – Откуда он? – С неба, дитя мое, как и все, что есть на Земле.

[127] Иди играй со своим мячом, это тебя не касается.

в Черноморскую гребную флотилию, которой командовал известный праводушный и всеми уважаемый адмирал Мордвинов и вице-адмиралы Делабрю и de Galeta. Там он подружился с Мордвиновым, Николаем Аполлоновичем Волковым, господином Измайловым, т. е. с самыми образованными людьми. Тогда Мордвинов получил за заслуги Байдарскую долину, ему дан был выбор, и он, конечно, выбрал самую лучшую местность, где великолепная растительность, воздух самый живительный и местоположение самое красивое. Яйла освежает и оживляет эту местность. Мордвинов дал также землю моему отцу поблизости к Байдарской долине, но какой-то граф Капниси ею завладел незаконным образом. Тогда слишком мало заботились о документах, отчего были постоянные процессы. В послужном списке моего отца сказано было, что он был флигель-адъютантом князя Потемкина и получил Куяльники в Бессарабии, но и на это не было документов, остались только счета по Куяльнику (Куяльник – дача виноградная по-бессарабски). Мордвинов и многие другие оставили Крым, и в Херсоне остались адмиралы Делабрю и de Galeta. Тогда была война с турками, и Суворов осаждал Очаков.

Я была давно замужем, и муж мой был губернатором в Калуге. Однажды приехал престарелый князь Вяземский и спросил у него, на ком он женат. Он ему отвечал: «На mademoiselle Rossetti». – Et comment sen nomme-t-elle? – «Александра Осиповна». – «Mais c'est donc la fille de mon meilleur ami le Chevalier de Rossett! Je veux la voir»[128]. Тут гостили у нас двое из моих братьев. Он нас расцеловал и сказал: «Mes chers amis, votre Père était un génie, qui possédait les plus belles qualités du coeur, une instruction aussi solide que variée. Sans lui nous n'avions jamais pris Otchakoff. Souvoroff n'aimait pas les étrangers et ne l'a pas assez fait valoir, il'a reçu pour la prise d'Otchakoff l'ordre de Sacre-Coeur garni de diamants sur le cordon le Ste George à pendre au cou, la médaillé d'Otchakoff en or et six mille arpents de terre[129]

[128] А как ее зовут? – Александра Осиповна. – Так это дочь моего лучшего друга, шевалье де Россет! Я хочу ее видеть.

[129] Мои дорогие друзья, ваш отец был гений, обладавший самыми лучшими душевными качествами, прочным и разносторонним образованием. Без него мы никогда не взяли бы Очаков. Суворов не любил иностранцев и не дал оценить его по заслугам. За взятие Очакова он получил на шею орден

на Тилигуле». Тилигул впадает в Ингул, Ингул в Водяную, а Водяная в Буг под Николаевом.

Что делал мой отец после Очаковского дела, в котором турки потеряли до 10 000 убитыми и ранеными, а русские – 5000, остальное турецкое войско отправилось на своих довольно пробитых нашими ядрами судах, и до 20 000 погибло в море. С взятием Очакова кончилось владычество в Южной России турок.

Во время революции французские эмигранты рассеялись по всей Европе. В Петербург между прочими – герцог Ришелье и несколько аббатов, l'abbé Pratt, не тот, который был в Париже, Pratt был наставником бывшего обер-прокурора графа Протасова: другой аббат, Deloche, был учителем физики и естественных наук, маленького курса астрономии в Екатерининском институте; l'abbé Nicolle, иезуит; l'abbé Rosenau в Москве совратил графиню Ростопчину; l'abbé Préfactieuse; какой-то аббат был наставником Алексея Степановича Хомякова. Граф Олсуфьев и братья Мухановы тоже учились у аббата.

Император Александр был сметлив и тотчас, узнав герцога Ришелье, сказал ему: «Mon cher Duc, vous savez comme j'avais un grand remords, le midi de la Russie est un legs qu'elle m'a laissé; ce pays est riche en céréales, mais les propriétaires voient pourrir leurs récoltés faute de déboucher. Je vous donne des pleins pouvoirs et vous prie d'établir aussi vite que possible un courrier regulier entre la petite Russie, la Turquie et les ports de la Mediterrannée». – «Sire, – répondit le Duc de Richelieu, – je ferai tout mon possible pour justifier votre confiance et ne vous prie qu'une condition: je ne tirerai jamais mon epée contre un Français». – «Allez-vous, cher Duc, je vous connais»[130].

св. Духа, осыпанный бриллиантами на голубой георгиевской ленте, золотую очаковскую медаль и шесть тысяч десятин земли.

130 Дорогой герцог! Вы знаете, как меня мучит совесть. Юг России достался мне от нее в наследство: этот край богат зерном, но помещики видят, как гниет их урожай, не имея возможности вывезти его. Я даю вам полную власть и прошу вас возможно скорее установить регулярные сношения между Малороссией, Турцией и портами Средиземного моря. – Государь, – отвечал герцог Ришелье, – я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие, прошу вас лишь об одном условии: я никогда не обнажу свою шпагу против француза. – Тогда идите, дорогой герцог, я знаю вас.

Еще при Потемкине были отпущены большие суммы на постройку церкви, казармы, присутственных мест, госпиталя и тюрьмы. Каково же было удивление герцога, когда он приехал в Одессу! Все эти строения были почти развалины, всего были две систерны на 8000 жителей, половина их состояла из евреев и молдаван, а русские были нищие, и до сих пор есть улица, называемая Молдаванкой. С Ришелье отправились лучшие из эмигрантов: le Duc de Rochechoirt, Mortemart, le marquis de la Maisonfort, son cousin le Marquis de Rastignac, граф d'Allonville, граф de St.-Prjest, граф д'Олон, граф Кастельно, который писал историю Одессы и ее управления при герцоге.

Отец приехал в 1808 году, и Castelnau в своей книжке говорит: «Le chevalier de Rossett a conté aujourd'hui 250 vaisseaux qui sont entrés dans la rade d'Odessa et la population montait à 40 000»[131]. Почтенный старец, отец Павловский, мне говорил в 1867 году: «Ришелье был великий человек, все, что он оставил и что не успели испортить, было прекрасно». Из Лицея сделали университет, и преладный. Затруднениям не было конца, тотчас приступили к устройству систерн, к постройке церкви, казарм, присутственных мест, тюрьмы и карантина. Негде было мыть белье, и посылали на тройках белье в Херсон. Работники были отысканы только в Николаеве. Герцог очень обрадовался моему отцу, потому что он его познакомил с бытом края и некоторыми личностями, ему известными как люди честные и способные. Комендантом был назначен шотландец, генерал Фома Александрович Кобле. Тюрьма была под присмотром генерала Ферстера. Гарнизонный командир был полковник Гакебуш. Вызваны были негоцианты: итальянец Викентий Антонович Лидо, швейцарец Сикар и француз Рубо. Герцог вызвал француза Vassell, который привез шпанских овец и лошадей. Он вызвал бывшего своего садовника Батиста, который привез огромное количество корней фруктовых деревьев, апортовых яблок, больших груш, называемых «poire Duchesse»[132] (по-русски – дули), мелких груш и полосатых груш, и смородин черных, красных и белых, из которых

[131] Шевалье де Россет насчитал сейчас двести пятьдесят кораблей в одесском рейде, а население достигало 40 000.
[132] Груши дюшес.

готовится слабительная *манна.* Адъютант герцога Стемпковский занялся с эмигрантом Бларамбергом раскопками древностей этого края. В Ольвиополе нашли монеты avec l'effigie[133] Александра Македонского, что и заставляет полагать, что Одесса – древняя Эдесса, разрушенная, а может быть, почти обвалившаяся в море. Перед моим приездом в Одессу наш домик на хуторе съехал в море. Нашли огромные каменные фигуры, 20 штук (их называют бабами), и полагают, что они служили мерными столбами Тамерлану или Чингисхану, которые, выходя из Сибири, засеяли поля, а на возвратном пути не голодали. В книге Кастельно упоминается огромное количество всяких диких народов, которые там проходили.

Еще большее благодеяние было учреждение университета аббатом Николь. В России был только один университет в Москве. И польское, и русское дворянство затруднялось воспитанием детей и жаловалось на то, что не было ни одного заведения. В нем получали классическое образование. Дядя мой, Дмитрий Ив<анович> Лорер, и двоюродный брат его Сергей Данилович Кудашев жили у нас и там воспитывались.

Из Флоренции были вызваны часовщики и ювелиры, но узнали, что эти мастера знали сокрытые искусства Медициев и успели наделать всякие гадости, раздавали кольца, в которых была отрава; они хотели завладеть герцогом. Им было известно, что он не знал женщин, они привезли с собой очень красивую итальянку, она везде преследовала Дюка, раз забралась в его спальню, бросилась к нему на шею и хотела его поцеловать в губы, он бросил ее на землю, на его крик прибежал Стемпковский и его люди. Ее отправили в тюрьму, после строгого исследования оказалось, что и кто. Поццо успел с товарищами много зла, их посадили в цепях на турецкую фелюку, и они погибли в море.

В Одессе были уже консулы: английский мистер Томас, итальянский Кастельно, который женился на красавице дочери Бларамберга. Ришелье назначил Растиньяка губернатором в Крым. Раздавая земли под Одессою, он повторял: «Сажайте, скрещивайте, поливайте». Сношения были весьма затруднительны. Не получая давно известий от Растиньяка, он послал

---

[133] С изображением.

к нему отца моего, который был инспектором карантина. Бабушка моя, Екатерина Евсеевна Лорер, рожденная княжна Цицианова, была содержательницей станции. Отец мой спросил у смотрителя, где бы он мог подождать. Ему сказали: у помещицы. Станция была за полверсты от дома. Ему навстречу вышла ее дочь Надежда Ив<ановна> и привела его домой. Для бабушки было достаточно, что он послан Дюком. Она его угостила ужином и даже предложила ему ночевать у нее, сказала дочери: «Надя, поди посмотри, хорошо ли Гапка взбила перинки и подушки в гостиной». Отцу моему было 55 лет, а матери 18. Он пленился ее необыкновенной красотой и детской простотой: она не подозревала, что была замечательной красоты. В 36 году я встретила в Мариенбаде Софью Станиславовну Киселеву. Меня с ней познакомил в<еликий> князь Михаил Павлович. Она мне тотчас сказала: «J'ai connu votre mère. Nous étions à Odessa, toute notre famille et Isabelle Valevsky, la femme de Serge Gagarin, que vous connaissez. Le Duc de Richelieu nous a invité à une soirée en nous annonçant que nous verrons la plus belle et la plus jolie personne du monde. Quand votre mère ese entrée il s'est fait un mouvement dans la société. Elle avait une robe blanche de mousseline des Indes, ses cheveux noirs étaient arrangés a la Titus cordonnet en laine rouge les traversait, pour toutes pierres elle avait des boucles d'oreilles rondes avec un petit diamant pour fermoir; ses bras, sans coup, était d'une admirable forme. Elle était suivie d'un beau vieillard qui portait une perrûque bouclée. Le Duc nous l'a présentée, elle saluait et répondait avec gêne et une grande simplicité: elle n'avait pas fait de se douter de sa beauté. Le Duc avait une affection du Père pour elle et jouissait de ses succès. Vous ne savez pas, ma chère, que quand elle était veuve et que l'Empereur l'a envoyé à Odessa pour accompagner le Duc à P<eters)bourg, il était fou amoureux d'elle et l'a demandé en mariage, mais elle l'a refusé. Kisseleff est un homme de grand mérite, elle aurait été très heureuse avec lui»[134]. Моя дочь Софья

[134] Я знала вашу мать. Мы были в Одессе, вся наша семья и Изабелла Валевская, жена Сергея Гагарина, которую вы хорошо знаете. Герцог Ришелье пригласил нас на вечер, предупредив, что мы увидим самую красивую и милую женщину в мире. Когда ваша мать взошла, в обществе произошло движение. На ней было белое платье из индийского муслина. Ее черные волосы были причесаны à la Titus и стянуты красным шерстяным шнурком. Единственным

Трубецкая встретила графа Киселева у графини Софьи Львовны Шуваловой, он ей сказал: «Princesse, vous êtes très jolie, votre mère était plus jolie, quant à votre grandmère, c'était tout ce qui j'ai jamais vu de beau au monde»[135].

На возвратном пути из Крыма отец мой сделал предложение. Бабушка с радостью согласилась, не спрашивая, конечно, согласия дочери: тогда послушание было первым долгом. Их, вероятно, обвенчали в церкви Андрея Первозванного, в 7 верстах от Грамаклеи – так называлась деревушка бабушки. Теперь я должна сделать отступление от начатого повествования. На музыкальном языке это называется *fugato,* а сколько их приходится осмысливать в жизни.

Бабушка Екатерина Евсеевна Лорер была рожденная княжна Цицианова. Во время Петра Великого царь Вахтанг просил подданства России во избежание нападок враждебной Персии и Турции. С ним приехало множество княжеских и некняжеских родов: Цициановы, Баратовы, Алигозаровы, Давыдовы, Эрнстовы и другие. У князя Евсевия и жены его был единственный сын, князь Дмитрий. Он сделался известен своим хлебосольством и расточительностью, да еще привычкой лгать вроде Мюнхгаузена. Он женился на побочной дочери царевича Александра Георгиевича и какой-то княгини или княжны Заборовской (этот род угас, и есть просто Заборовские). За ней он взял 8000 душ в Нижегородской губернии: торговое село Катунки приносило огромный доход. За ней был дом, конечно, деревянный в приходе Рождества в Кудрине. Это был целый квартал, и церковь была в саду, окружавшем этот дом. Дмитрий Евсеевич сказал отцу: «Я ничего не беру из десяти тысяч десятин. Наплевать мне на эту дрянь! Земля отведена

ее украшением были круглые серьги с маленьким бриллиантом-застежкой; линии ее неподвижных рук были восхитительны. Следом за ней шел красивый старик в завитом парике. Герцог нам ее представил, она поздоровалась и отвечала смущенно и очень просто; она и не подозревала о своей красоте. Герцог был привязан к ней как отец и радовался ее успеху. Знаете ли вы, моя дорогая, что когда она овдовела, а в Одессу, приехал Киселев, посланный императором, чтобы сопровождать герцога в Петербург, он до безумия влюбился и просил ее руки, но она ему отказала. Киселев – человек высоких достоинств, она была бы очень счастлива с ним.

[135] Княгиня, вы очень красивы, ваша мать была красивее вас, а ваша бабушка была самой красивой из всех женщин, каких я видел.

черт знает где, в каком-то пустыре безлюдном». Жизнь в Москве была слишком дорога для большого семейства, и они отправились в местечко Санжары (турецкое название), где живут реестровые казаки. Девица Скоропадская, у которой именье близ Санжар, говорила мне, что это прелестный уголок, который утопает в роскошной зелени фруктовых дерев, длинная синяя слива так обильна, что ветви гнутся над палисадниками, из которых выглядывают огромные подсолнечники, шиповник, заячья капуста (valeriana), барская спесь и душистая повилика (cuscuta). Дома выкрашены желтой краской, спальные ставни и крыши зеленые. Вот где поселились Евсевий и Матрона Цициановы. Старшая дочь вышла замуж за дворянина Гангеблова и получила 2000 десятин в Балтском уезде, (вторая) вышла за Шмакова и тоже получила две тысячи десятин, не знаю, где. Третья была за *Чепелевским* и получила такое же количество десятин в Чикагме. Четвертая вышла за грузина Бонгескула, и не знаю, где поселилась. Старики продали свою землю и копили деньги для младшей дочери.

Однажды вечером приехал в Санжары военный, который спросил, где бы он мог поужинать и ночевать. Ему отвечали, что самый большой дом был у князя Цицианова и что он очень гостеприимен. Он постучался. Ему отворили и спросили, кто он и что ему угодно. Он отвечал, что он полковник фон Лорер, уроженец северной Пруссии, и приехал, и два брата его, с Петром III, что несчастный государь назначил его главнокомандующим своих картонных войск, и когда крысы пожрали его войско, он его сажал под арест; что это ему надоело и, несмотря на обещание императора дать ему земли (Гудович и какие-то Гаронские получили по 6000 душ), он решил ехать на юг России искать фортуны. Пока он ужинал и готовили ему постель, он разговорился, сказал им, что немцы любят семейную жизнь, и что, если ему посчастливится, то хочет жениться. Все это было сказано, конечно, ломаным языком. «А если ты хочешь жениться, – сказал ему старик, – у нас есть еще незамужняя дочь. У нее теперь короста (чесотка), и она лежит на лежанке, вымазанная дегтем». Его ввели к ней. Он увидел черные курчавые волосы, черные глаза, нос à la Bourbon и белые как жемчуг зубы и сказал, что она ему нравится. А ее спросили, согласна ли она выйти за него замуж. Она отвечала: «Почтенные мои

родители! Я на все согласна, что вам угодно». Ему сообщили, что за ней 20 000 капитала, 12 серебряных приборов и дюжина чайных ложек, лисья шуба, покрытая китайским атласом, с собольим воротником, две пары шелковых платьев, несколько будничных ситцевых, постельное и столовое белье, перины и подушки, шестиместная карета, шестерка лошадей, кучер и форейтор. Выпили по обычаю рядную. Нареченный жених отправился, вероятно, прямо в Херсон. Надобно помнить, что он встретил там князя Потемкина, который не был славянофил и не гнушался услугами иностранцев, увидел европейски образованного человека и назначил его херсонским вице-губернатором, с казенной квартирой и 1000 р. содержания. На крыльях любви он поскакал на тройке, увы, может быть и в жидовской фуре, в Санжары. Там их обвенчали в приходской церкви. Князь Евсевий и княгиня Матрона горько плакали, расставаясь навеки со своей милой Кетеван (Катерина), тогда путешествия были очень затруднительны. Брат дедушки Карл Иванович служил в армии, о другом я ничего не знаю.

Вице-губернатор сделался всем известен знанием дела, честностью и простотой. У богача Щенсного-Потоцкого был нескончаемый процесс. Он решился ехать в Херсон и поручил свое дело вице-губернатору, который закончил запутанный процесс в два года. Щенсна так обрадовался, что предложил ему 2000 душ, но дед мой сказал ему, что исполнил только свой долг, что ему за это правительство дает жалованье. «Но если вы захотите сделать мне приятное, то подарите мне часы. Здесь они мне не нужны, но я дослужил до пенсии, жена моя купила землю, и мы хотим поселиться в деревне». Щенсна прислал ему прекрасные золотые часы с золотой цепочкой. Когда дедушка умер, бабушка остановила стрелки и сказала: «Как закатилось солнце моей жизни, я их поховала». Дядя Николай Ив<анович> говорил, что очень долго после кончины отца он приехал в отпуск, и бабушка была очень грустна и задумчива. Он ее спросил, отчего она так грустна. Она ему отвечала: «Душенька, отец твой был такой добрый и кроткий. Я раз послала его в поле, он не исполнил мои поручения, я на него рассердилась. Он любил пить со мной кофий. Когда он спросил, я ему сказала: “Идите к немцам пить кофий”. Когда я это вспоминаю, мне всегда грустно и совестно». Это в теперешнее время

покажется смешным. Есть люди, которые смеются и над Пульхерией Ив<ановной>, а в моей молодости и молодые и старые плакали, читая эту трогательную идиллию. Весь этот рассказ был сообщен Николаем Ив<ановичем> Лорером племяннику Льву Ив<ановичу> Арнольди и где-то напечатан в Москве.

Как выше сказано, 6 марта явилась на свет некрасивая смуглая девочка, которую назвали Александрой в честь двоюродной сестры отца, графини Александры de Rossette.

Графы де Россет владели большими угодьями в Дофинэ, где был их домениальный престол. Герб у обеих фамилий был один: три розы на серебряном поле – тот же самый герб был у рыцарей тамплиеров, который можно видеть в Мариенбурге в Пруссии; это доказывает, что они участвовали в крестовых походах. Герб Цициановых очень странный: <нрзб> и сверху ангел. Дмитрий Евсеевич говорил, что они происходят от Якова. Впрочем, ничему не надобно удивляться. Д<окто>р Евстон говорил мне, что он ирландец, а у него в гербу ладьи, и что он потомок Ильи. Сын мой служит на Кавказе и говорил мне, что там есть семейство, которое владеет по сию пору землями, пожалованными им Навуходоносором, и у них есть грамота на пергамене за его печатью и подписью. Род Россетов угас, а их имения сделались государственной собственностью.

Возвращаюсь к отцу и матери. Они очень обрадовались появлению на свет смуглой девочки. Маменька хотела меня кормить, но, не знаю, зачем, не могла продолжать, и мне взяли в кормилицы еврейку. Когда мне было шесть месяцев, я не хотела сосать, и тогда меня повезли в Адамовку. Отец мой при получении ее сказал: «Je suis le premier qui habite cette terre et je l'appelle de nom de notre ancêtre à tous»[136]. Я несколько раз была в Адамовке, и когда туда ехали, человек всегда спрашивал: «Как прикажете ехать – на Андреевку или на Янгакраки?» (опять турецкое название).

Тогда имения населялись или покупкой или залучением бродячих крестьян из южных губерний, царан и булгар. Им отводили место, глину, солому для кровли, известь, покупали соху, волов, и два-три года они работали на себя. Отцу моему

---

[136] Я первый владею этой землей, и я нарекаю ее именем нашего общего предка.

нужен был повар, и он его купил за 3000 руб. в Москве. Фрейлина Шишкина, известная писательница русских романов, мне говорила, что когда она вышла из Смольного монастыря, ей купили на рынке девку за 7 руб. Импер<атрица> Мария Федоровна это узнала, сообщила свое негодование императору Александру, который приказал продавать семьями. О чем же думала великая Екатерина? К счастью, Вольтер, Дидерот и Гримм не знали, что в ее владеньях люди продавались поштучно на рынке. О Екатерина, Екатерина! Сколько зла ты разлила по земле русской!

Моя крестная мать была тетушка Екатерина Ив<ановна> Вороновская, а крестный отец – Ришелье. Брат мой Клементий родился 10 месяцев после меня. Его крестил герцог и назвал именем крестного отца, а крестная мать была бабушка. Год спустя родился брат Иосиф, он был красавец. Через год брат Аркадий и полтора года спустя еще брат.

В этом году неаполитанская королева Каролина просила покровительства нашего государя: она не могла больше выносить оскорбления Мюрата. Тогда эскадра адмирала Бентинга крейсировала возле берегов Неаполя. Ее первый министр Актон вывез ее тайно ночью на адмиральском корабле. Бентинг ее довез до Генуи. Государь предложил ей ехать в Одессу. Но так как она ехала на придунайские княжества, а в Константинополе была чума, то из предосторожности ее поместили в карантинном доме, а мы переехали в собственный дом на Дерибасовскую. Как инспектор карантина, отец мой обязан был всякий день являться к королеве за приказаниями. Она узнала, что маменька родила, и предложила быть восприемницей новорожденного с тем условием, чтобы его назвали Charles-Alexandre. Она овдовела очень рано и очень любила мужа. Ее заменила г-жа де Рибас, а крестный был все так же Ришелье. После крестин королева прислала крестнику крест из крупных бриллиантов и склаваж. Весь город приезжал любоваться этим *склаважем*: Трегубовы, Шемиоты, Кантакузены (князь командовал давыдовскими казаками), одним словом, вся Одесса. Жемчуга цепочки были перевязаны бриллиантами, и фермуар составлял ее имя: Каролина. Королева изъявила желание видеть меня и старшего брата. Герцог учил нас кланяться. Мы так старались, что чуть было не упали к ее ногам. «Vous voyez,

Madame, que mes petits eleves me font honneur»[137]. Она была очень стара и страшна, нарумяненная сидела в кресле в бархатном темно-зеленом платье и вся покрыта бриллиантами. При ней были две старые дамы, тоже очень нарядные. Она посадила нас на колени и говорила гоп-ца-ца. Она была дочь австрийского императора.

Де Рибас был адмиралом в нашей службе, говорили, что он был генуэзский матрос. Вот что ему писал Суворов: «Eccelentissimo Doria, vedo che bisogna ferire con questi bestia i Turchi»[138]. В Генуе есть фамилия Doria Lonte, я лично знала одного в Ницце в 1844 году; должно полагать, что Суворов знал, что он был побочным сыном генуэзского дожа Дориа. Г-жа де Рибас была урожденная к<нягиня> Долгорукая и очень гордилась, вела знакомство только с семейством к<нязя> Кантакузена, зато наказал се герцог Ришелье и никогда не посетил ее. Когда и куда уехала неаполитанская королева, мне неизвестно.

У детей своего рода интересы. Меня дразнил брат Клименька, говорил, когда мне было три года: «Ты думаешь, что ты хорошенькая. Ты толстая и ходишь как качка (утка)». Я отвечала: «Это ницего. Тетя Мася говолит, сто у вас видны одни глаза, а я с ней поеду в Плибук». Тетя Маша была жена моего дяди Александра Ив<ановича> Лорера. Она была урожденная Корсакова, дочь того псковского губернатора, который вышил по канве подушку и поднес ее Екатерине, которая ему за это прислала бриллиантовые серьги. Дядя мой вышел в отставку в чине полковника уланского полка. В какой-то стычке с французами его почти изрубили, и у него был на носу шрам.

Вскоре по отъезде королевы в Одессе открылась чума. Герцог тотчас оцепил город, и полк был расположен лагерем за несколько верст. Он и эмигранты обходили улицы и справлялись о состоянии здоровья. Провизию приносили в дома гарнизонные солдаты. Мы сидели у окна и считали страшные дроги, на которых везли трупы чумных. Колодники в засмоленных рубахах шли рядом, гремя цепями, под конвоем солдат с ружьями. Это не мешало нам играть с попугаем, которого

[137] Вы видите, мадам, что мои маленькие ученики делают мне честь.

[138] Ваше высокопревосходительство Doria, вижу, что нужно разбить этих скотов турков *(ит.)*.

подарил мне Дюк. Маменька не могла вынесть этого зрелища и сидела в комнате окнами на двор. Когда папенька возвращался из карантина к обеду, первым движением было бежать к нему, но он делал знак рукой и уходил в другую комнату, где его обливали уксусом с водой, и надевал другое платье. Часто он нас так крепко прижимал к сердцу и целовал так горячо, как будто он думал, что на другой день и он сможет сделаться жертвой этой страшной чумы.

Однажды герцог подошел к окошку маменьки и спросил ее: «Quand avez vous vu Antoine Rizzi?» (наш домашний доктор). – «Il a été hier et se plaignait d'avoir mal à la tête; il était assis dans ce fauteuil». – «Faites le vite emporter, chère Madame, il a fait l'opération du boubon dans la nuit, s'est blessé et il est mort ce matin, pourvu que nous n'avons pas d'autres pertes à s'effacer; ma chère Sachinka, ta nourrice est aussi morte de la peste». – «Ritschinka, je n'aimais pas ma nourrice, je ne sais pas pourquoi, et puis Maman m'a dit que les Juifs ont crucifié J. Christ et c'est un grand péché et je ne la regrette pas»[139].

За год перед чумой отец мой страдал спазмой в желудке, был слаб и пил черный кофий с лимоном, тогда пришли какие-то люди в высоких черных бараньих шапках, им подавали тоже кофий и черешневые чубуки по чину, были чубуки в три и четыре аршина. Я всегда вертелась около отца и зажигала их трубки, от Табаков запах был очень приятный. Дорогой отец мой был последней жертвой чумы. Он велел меня позвать, остановив на пороге, и сказал: «Tu est mon ami, mon enfant la plus cherie, promets-moi de soigner tes frères, de leur donner les bons conseils. – Je ne suis pas inquiète sur votre avenir, le Duc m'a promis de vous recommander à l'Empereur et à sa bienfaitrice mère, tu seras élevée dans quelque institut et tes frères dans le corps de cadets – avec une bonne éducation on est toujours

[139] Когда вы видели Антонио Рицци? – Он был вчера и жаловался на головную боль: он сидел в этом кресле. – Велите его скорее унести, дорогая мадам, он ночью оперировал чумного, порезался и сегодня утром скончался; только бы нам не понести еще потери. Моя милая Сашенька, твоя кормилица тоже умерла от чумы. – Ришенька, я не любила свою кормилицу, не знаю отчего, а потом мама мне сказала, что евреи распяли Иисуса Христа, а это большой грех, и я о ней не сожалею.

sûr de faire son chemin dans le monde d’immense humanité. Quant à votre fortune, c’est le Duc et votre oncle Dmitri qui en sont chargés»[140].

Я просила отца: «Потрогать твою бородавку в последний раз». В чуме так горят, что его ноги какого-то странного блестящего цвета были открыты и на левом колене было черное пятно. Маменька поддерживала его голову. В это время пришел герцог, обнял его и сказал: «Дорогой друг, нужно ли так поступать вашей Наденьке, которой предстоит перенести столь тяжкую потерю?»

Я после узнала, что 300 000 были положены в Херсонский приказ общественного призрения вскоре для братьев, и Адамовка, в которой было 20 000 душ крестьян, доход был с земли, огорода и сада, а главное от <нрзб>, которые населяли <2 слова нрзб>. Мне оставлен был хутор и дом на Дерибасовской, 9 пудов серебра, подарок Дюка, все бриллианты и жемчуга маменьки.

Нас всех посадили в карету, и герцог нас повез к г-же Попандопуло, самой короткой знакомой маменьки. У нее были дети и дети ее сестры Домбровской. Мы резвились в саду, не подозревая, что нам готовится после папеньки самая горькая участь. Через два дня пришла горничная маменьки Татьяна, сняла с нас мерку и сказала, что шить будет черное. Она заплакала, а я разрыдалась так, что добрая Попандопуло не знала, что со мной делать. Нас привезли в карантинный дом. Маменька сидела перед камином в глубоком трауре, я села на полу с большой куклой, последним подарком папеньки. Приехала бабушка, с моими тетками. Отца моего обратил l’abbé Nicolle, и поэтому в дом приехал католический священник. С отца сняли парик, он был прекрасен, потому <что> и жизнь, и смерть его были прекрасны. Маменька и все его целовали, а я тщетно просила позволения с ним проститься, но мне отказали. Весь город

[140] Ты мой друг, мое самое любимое дитя, обещай мне заботиться о твоих братьях, давать им добрые советы. Я не тревожусь за ваше будущее: герцог обещал мне представить вас императору и его благодетельнице-матери, ты будешь воспитываться в каком-нибудь институте, а твои братья в кадетском корпусе. – С хорошим образованием можно быть уверенным, что всегда проложишь себе путь в бескрайнем человеческом мире. Что касается вашего состояния, то оно поручено герцогу и вашему дяде Дмитрию.

следовал за погребальной процессией. Герцог ехал впереди верхом, в мундире с Андреевской лентой и орденом св. Людовика. По дороге у греческой и русской церкви служили литии. Я сидела с бабушкой, которая не знала, что со мной делать: я металась и рвалась.

Только что мы вернулись с похорон, начали перевозить нашу мебель на Дерибасовскую в наш маленький дом. Так как маменька не могла нас воспитывать, то приехал генерал Ферстер и рекомендовал ей гувернантку Амалью Ив. Шредер. Она была уроженка Констанцского озера. Мы с первой минуты полюбили это доброе, кроткое существо. Рано весной мы переехали на хутор. Настал день прощаться с герцогом. Император на высотах Монмартра сам надел аксельбант на Киселева; заметив его необыкновенные способности, он послал его в Вену с дипломатическим поручением, если не князь Разумовский, то, вероятно, затем послан был его дядя Татищев, человек замечательного ума и тонкий; Меттерних его уважал, но недолюбливал; оттуда государь послал Киселева за герцогом в Одессу. Герцог, преданный России из благодарности, все-таки желал увидеть свою родину наконец успокоенную, и видеть своих сестер и их детей. Все, что он приобрел в России, он оставил; он жил при большом и почти неограниченном содержании очень экономно; оставил Стемпковскому 150 000 р., библиотеку – лицею и 10 000 р. сиротскому дому, им основанному. Создатель Новороссийского края и его благоденствия оставил по себе неизгладимую память. На бульваре розовых и пахучих акаций между каждым деревом был куст вечнозеленого шиповника с желтыми цветами, необыкновенно свежими, и против замка поставлена его статуя. Во время бомбардировки Одессы с «Тигра» ядро попало в его колено и статуя покосилась. В 67 году я шла по бульвару, и несколько крестьян стояло возле статуи. «Знать, эти “Тигры” попали в Дюка», – говорили они. «Что вы тут делаете», – спросила я их. – «Пришли посмотреть на Дюка. Деды и отцы нам говорили, что он был благодетель края». Извините, господа славянофилы, Новороссийский край создан французом.

Еще до приезда полковника флигель-адъютанта Киселева в Одессу приехал граф Бенигсен, женатый на польке Андржейкович, и Генрих Рудзевич. Ришелье ни за что не подал бы руки

убийце им<ператора> Павла, он просил маменьку принять его на хуторе. У него был сын лет 12-ти. Утром был для них завтрак, но они после ворчали, что их оставили одних, и отобедавши, уехали.

На прощанье герцог дал большой вечер для всего одесского общества. Маменька поехала с хутора со мной, с братом Осей и Амальей Ив<ановной>. Она сидела с какой-то дамой в беседке, куда герцог приходил. Он сказал Амалье Ив<ановне>: «Promettez-moi, ma chère Mademoiselle Schröder, de ne jamais quitter les chers enfants. Leur mère a trop d'affaires importantes pour se donner à leur éducation. Elle a trop aimé son mari et aime trop ses enfants pour se remarier»[141]. Маменька заплакала, а я сказала: «Ritchinka, mariez-vous avec Maman et nous partirons avec vous à Paris». – «C'est impossible, ma chère enfant. Votre Maman doit rester pour arranger ses affaires et pour teminer son procès avec Kapnissi. Pour la guider je lui donne l'excellent Doubnitzki de Kharkov, et pour les affaires de la maison ce bon[142]. Худобашева».

Ося стал засыпать на коленях Амальи Ив<ановны>, и нас отвезли домой; по дороге горели смоляные бочки, от треска лошади испугались и понесли. Мы радовались скорой езде, а бедная Амалья Ив<ановна> опустила все окна и кричала: «Mein Gott, erbarm dich unseren <Kinder>»[143]. В самом деле была опасность, потому что спуск к дому был довольно крутой. Дворник Яким и супруга его Гапка были вечно пьяны, но на этот раз оба вышли из своей хаты и схватились за дышло, так что мы благополучно подъехали к крыльцу. Кучер Тимошка никогда не пил, но Яким счел нужным сказать ему несколько внушительных слов. Амалья Ив<ановна> написала записочку маменьке, и она благополучно приехала на хутор.

---

[141] Обещайте мне, милая мадемуазель Шредер, никогда не покидать дорогих детей. У их матери слишком много важных дел, чтобы она могла отдаться их воспитанию. Она слишком любила своего мужа и слишком любит своих детей, чтобы снова выйти замуж.

[142] Ришенька, женитесь на маменьке, и мы поедем с вами в Париж. – Это невозможно, мое дорогое дитя. Ваша матушка должна остаться, чтобы уладить свои дела и окончить свой процесс с Капниси. Чтобы руководить ею, я даю ей прекрасного Дубнецкого из Харькова, а для домашних дел этого доброго.

[143] Боже, помилуй наших детей! *(нем.).*

Странно, что я, которая хорошо помню всех, посещавших наш хутор, никогда не слышала имя Киселева. Может быть, слова герцога удалили всякую мысль о втором браке. Перед отъездом на хутор Амалья Ив<ановна> сама укладывала чайный сервиз английского фаянса: одна чашка уцелела и находится у тетки моей Варвары Дмитриевны Арнольди. Мы часто ездили в Адамовку. Дом был маленький, построенный над пригорком, на котором отец развел фруктовые деревья. Под домом был погреб для молочного скота. Маменька сама снимала сливки деревянной ложкой. Мебель была из простого дерева, выкрашена светло-желтой масляной краской, а по этому грунту были букеты алых роз. Это был подарок Дюка, который иногда приезжал нас навестить, всего было 40 верст от Одессы.

После войны делали народную перепись, и к маменьке приезжал еврей, и я беспрестанно слышала: «Ревизская сказка», и все спрашивала, когда же жид вам расскажет свою сказку. Мы возвратились на хутор, маменька ехала со мной в Крым по делу с графом Капниси; мы ехали шагом в дормезе Дюка по глубокому песку на месте, называемом Арабатская коса, и, наконец, остановились в каком-то доме; мы вышли из душной комнаты, но услышали ужасный крик и видели издалека разъяренного быка, который поднял человека на рога. Пожидор (Элпидифор) прибежал, нас внес в дом и сказал: «Голубушка Надежда Иван<овна>, я смерть испугался, думал, что он бросится на вас». Процесс, несмотря на старание Дубнецкого, был проигран, мы вернулись в дюковском дормезе к бабушке. Она вышла, защищая глаза рукой, и сказала: «Как же я тебе рада, Надя, почеломкаемся, и ты, Сашка, дурка, иди, поцелуй ручку у бабуси; яка ж ты гарна, совсем паненка. А я жду Алексашу с Машей». – «Почтеннейшая матушка, – сказала маменька, – мне нужно ехать в Одессу, уладиться с делами и кое-что передать Амалье Ив<ановне>». Мы нашли всех в добром здоровье.

Маменька очень грустила и ездила к сестрам, а спустя два года после смерти отца она по приглашению Потоцких ездила в Киев на Контракты. Всем известно, что такое были эти Контракты. Вся южная знать приезжала продавать свои имения евреям, а поляки пели:

Як приехав в Золнирж,
Да к жиду в аренду.

Шоне Минка, кинцер мир,
Кинцер мир, кинцер бир.

Ей сделал предложение красивый граф Ржевуцкий, которого звали араб, потому что он был в Палестине, но она отказала ему. После Ришелье генерал-губернатором был назначен граф Ланжерон, он также сделал ей предложение, и ему она отказала, отказала и графу Подгоричанскому.

Мы жили на хуторе одни с доброй Амальей Ив<ановной>, она была сущий клад. Тогда приезжали в Россию гувернантки, которые заменяли недостаток знаний привязанностью к детям и ко всему дому. Я спала в ее комнате у ног ее кровати, а Клеминька в другом углу. Как все дети, мы просыпались с восходом солнца, тоже и Амалья Ив<ановна>, она читала свою библию, потом надевала юбку и кофточку, глядела на нас, заходила в другую комнату, где спали Ося и Аркадя, и в третью комнату, где спал Карленька с Авдотьей, выдавала провизию, заказывала обед. В 7 часов мы пили молоко с хлебом и ходили в сад собирать дикую спаржу и сморчки, заходили к Батисту, который заведовал огородом и садом. Неизвестно, зачем он не поехал с Дюком в Париж. Я помню, что отец мой посадил два тополя у входа в сад, и они очень хорошо прижились. Гериог ему сказал: «Эти два красивых часовых напоминают мне мое милое Ришелье, у меня нет более земель во Франции, поэтому не смею отрывать Батиста от его занятий». У дворника Якима и супруги его Гапки была единственная дочь Приська. Эта девочка была престранное существо с ног до головы. Волосы ее желтые, лицо такого же цвета, глаза желтые, а зрачок был поперек, как у кошки, ситцевое платье на рубашку было тоже желтое, и она, я думаю, никогда не носила обуви. В своих жестких руках она вертела стебель *пасклена* и приговаривала: «Свиньям горько, а нам солодко». Она всюду за нами ходила и ничего не боялась. Большая змея обвилась об ногу брата Аркадия, Приська подбежала и одним пальцем отбросила змею на камень и убила ее. Она всегда стояла у притолоки в передней, а так как родители никогда об ней не заботились, то Амалья Ив<ановна> ей посылала остатки нашего обеда. В саду было такое обилие ягод, черной, красной и белой смородины, вишен и груш, что их продавали русским купцам, и Амалья

Ив<ановна> сама стояла с *безменом* в руке (по-русски – весы), в московских рядах я видела безмен. Еще одна скверная вещь, это тазы в банях, и этим мы обязаны туркам. И анбар – слово турецкое[144]; я встретила в Константинополе английского консула в Дамаске, он там находился во время страшной резни и сказал, что не скоро он это забудет.

По другую сторону хутора нашего был хутор банкира Рено, но мы с ним не были знакомы. В 1829 г. императрица Александра Федоровна и в<еликая> княжна Мария Николаевна жили на этом хуторе, который был очень далеко от берега. Утром имп<ератрица> удивилась: дом был на самом берегу. Ночью все строение преспокойно съехало со своего места. Однако она переехала в город в дом Карасева. Дочь моя, княгиня Трубецкая, искала могилу моего отца, но не нашла: вероятно, часть кладбища съехала в море. Это море так запружено, что рыба совсем исчезла. Когда я там была, ловили *камбалу* (le turbot), были сельди, бычки, очень костлявая рыба вроде наших ершей, но вкуснее, были превосходные устрицы, а снетки вдруг наплывали в таком количестве, что их ловили простыми ситами и чем попало, и готовили впрок. Немало найдут драгоценных вещей на дне этого моря, когда его продренажируют. Барон Ашик, который делал раскопки в Керчи, мне говорил, что, по его мнению, гробница Митридата или была разграблена, или оказалась в море по течению к Суфут-Кале. Она была из чистого золота. В 1867 году была только одна рыба глоссы, и такая дрянная, что не стоило ее покупать. Петр Гижель говорит в своей весьма интересной книге, что Лукулл развел в Черном море le thon[145], не знаю, как по-русски. Le thon marinier est une délicatesse en France[146].

Зимой мы переезжали на Дерибасовскую, ходили гулять по грязным улицам или играли на дворе, который был чисто вымощен и белый. Наш повар Дмитрий пил запоем, я помню, что маменька ему давала какие-то горькие капли в постном масле, и он ей говорил: «Голубушка Надежда Ив<ановна>, хотел бы не пить, но никак не могу, так меня и тянет. Да теперь

---

[144] У турков – сундук, у нас – анбар. Сундук мы тоже у турков позаимствовали.
[145] Тунца.
[146] Морской тунец – деликатес во Франции.

Мосейка хорошо готовит, он меня может заменить». Но Дмитрий иногда буянил и тогда имел привычку выкидывать провизию в помойную яму. Тогда Амалья Ив<ановна> посылала за Артемием Макарычем Худобашевым и говорила: «Да пожалуйста, да мсье Худобашев» (она всегда ко всему прибавляла: да пожалуйста, по немецкой привычке – ich bitte Sie[147]). Тогда Дмитрия запирали, и Амалья Ив<ановна> нам давала Kartoffelsalade mit Heringe и arme Ritter[148]; она была мастерица на все, везде и во всем успевала, чистила клетку моей канарейки, чистила и моего серого попугая, сушила яблоки (es ist gut für Hüsten)[149], учила меня вязать чулок и читать по-немецки и по-французски, кроила платья и заставляла меня подрубать, а после Марийка дошивала платья и панталоны братьев. Эту Марийку взяли в детскую из Адамовки. Их изба была первая возле Гапкиного дома. Это была изба Бабики, а затем была изба Скачко, а затем хата Чудного. Чудной точно был чудной. Он поливал на хуторе перед домом цветники из огромных глиняных чанов. И сам был огромный, смуглый и носил, большой чуб. Иногда утром его заменял Филипп-кучер. – А где Чудной? – Ушел ночью. Он исчезал два и три месяца, приходил босой и в рубище и: тотчас говорил: «Надежда Ив<ановна>, прикажите купить чоботы, да шесть рубах и штаны». И Чудного опять одевали месяца на два или на три. Русский народ до сих пор любит кочевать.

После Ришелье генерал-губернатором был назначен граф Ланжерон. Он был известен своей рассеянностью, расточительностью и привычкой громко говорить то, что он думал. Пушкин мне рассказывал, что он дал большой обед одесским негоциантам, с которыми был в дружеских отношениях, и вдруг сказал громко Пушкину, который сидел возле него: «Si l'Empereur n'ajoute pas mon appointement, je n'aurai pas une côtelette à donner à ces canailles-là»[150], – все расхохотались. Когда государь был в Одессе, остановился в его доме и ночевал в его спальне. Он имел привычку отдыхать час после обеда.

[147] Прошу вас *(нем.).*

[148] Картофельный салат с селедкой и гренки *(нем.).*

[149] (Это хорошо против кашля) *(нем.).*

[150] «Если император не повысит мне жалованье, я не буду кормить этих каналий котлетами».

Проснулся, а дверь была снаружи заперта. Ланжерон имел привычку запирать свою спальню на ключ; вероятно, он забыл, что государь в Одессе, отворяет дверь и говорит: «Sire, que faites-vous dans ma chambre?» – «Ce que je fais, Mr, vous avez endurci votre souvenir; je suis très mécontent du désordre que j’ai trouvé ici, et nommerai un autre général-gouverneur»[151]. Назначен был генерал Сабанеев, который ознаменовал себя тем, что построил мост через овраг, этот мост называется Сабанеевым. В 1829 году государь был очень недоволен фельдмаршалом графом Витгенштейном и колебался в назначении Дибича. Ланжерон был старший генерал-аншеф, ходил по своей палатке и громко говорил: «Генерал-фельдмаршал всех российских войск граф Ланжерон – клянусь честью, это звучит хорошо, но не будёт, не будёт». Его адъютант Трегубов услыхал и рассказал товарищам. Это дошло до государя. Утром назначен был Дибич, а вечером за ужином государь сказал Ланжерону: «Милый мой, не будёт, не будёт, поезжайте в Петербург, и мы будем часто видеться как старые друзья».

В 17 году, три года после кончины нашего дорогого отца, мы были на хуторе. Человек пришел объявить Амалье Ив<ановне>, что военный господин желает ее видеть. Он вошел и сказал, что он капитан Петр Карлович Арнольди и что его брат, полковник Арнольди, женился на вдове Россет. Бедная Амалья Ив<ановна> слушала и побагровела. Он ей сказал, что его брат будет вторым отцом бедных сирот и что их надобно ждать через день или два. Петр Карлович ужинал, ночевал и на другое утро уехал. Вечером Амалья Ив<ановна> очень плакала, а на другой день поднялась чистка, хотя все было всегда чисто, примеряла нам платья. Клема объявил, что он уйдет к Батисту, и его оттуда никто не вызовет. Амалья Ив<ановна> решила, что я и Ося должны встречать гостей.

Теперь я скажу, как состряпалась эта свадьба. Две или три роты артиллерийской батареи стояли в Миргороде, Соколах и других местах. Селенья были богаты и вместе были богаты незамужними дочерьми. Туда отправился безногий Арнольди. Арнольди до того хвастал своими воинскими доблестями,

---

[151] «Как что я делаю, сударь? У вас очень плохая память; я крайне недоволен беспорядком, который нашел здесь, и назначу другого генерал-губернатора».

уверял, что он очень хорошей фамилии и имеет состояние. Но тут случилось, что Карл Астафьевич Гербель сидел в уголке очень тихо и скромно, но он сказал ему: «Где у тебя состояние и какой ты фамилии? Ты – рижский мещанин Арнольд, а прибавил “и”, как будто ты принадлежишь к итальянской знати, и взял чужой герб. А что касается до твоих воинских доблестей, то тебе одному оторвало ногу под Лейпцигом?» Сконфуженный, он ретировался. А Гербели и Гоголи приехали в Россию с Лефортом и были люди образованные. Карл Астафьич женился на Марье Даниловне Кудашевой и был прекрасный муж и отец. Маменька ехала в Виску к Кудашевым, а на возвратном пути встретила полковника Арнольди на станции. Чем пленилась, для меня непонятно, только через три дня она вышла за него замуж. Кобле ее назвал злодейкой и рвал на себе волосы. Ланжерон тоже. Он его иначе не называл, как le diable boiteux[152].

На другой день утром началось ожидание, приготовлен был завтрак, но они подъехали к вечеру. Мы стали ужинать. На козлах сидел денщик, полупьяный. «Емельян! – закричал грубым голосом полковник, – скорей: отвори дверцу». Он вышел. И как Ося увидел деревяжку, закричал, и его унесли. Потом вышла полковница с молодым мужем, не обратила внимания на меня и Амалью Ив<ановну> и спросила: «А где Клименька?» – «Он у Батиста, маменька». Они ужинали особо. Амалья Ив<ановна> вздыхала и почти ничего не ела, но Ося и я ели по обыкновению, а потом понесли Климе ужин. Мы туда сбегали и рассказали все. Клима прижался к Батисту и говорит: «Je veux aller chez Бабушка. Je ne veux,pas voir cet homme». – «Oui, mon petit, vous irez chez votre Babouchka»[153].

На другой день солнце обливало золотом наш милый хутор, создание дорогого отца. Море, как зеркало, покрылось бриллиантом. Издали видны были корабли и паруса, окаймленные бело-розовым цветом. К 11-ти часам новобрачные вышли в залу, где был приготовлен кофий и чай доброй Амальей Ив<ановной>, на которую накинулся полковник,

---

152 Хромой черт.

153 Я хочу к бабушке. Я не хочу видеть этого человека. – Да, малыш, вы поедете к бабушке.

но маменька ее обласкала, потом спросила: «Где же Клименька?» – «Маменька, у Батиста». – «Однако соус выкипел, за это надобно наказывать, я упрямства не допускаю». Потом пошел распоряжаться, как будто все его, и сказал, что хутор – только лишняя издержка и не покрывает расходов. Мое сердце вздрогнуло, я отправилась к Скачко, которому сообщила это известие. «Ах, он! Вот безногий черт!» Все люди как-то оторопели, даже Приська смутилась, Яким и Гапка наградили его не совсем лестными словами. Об Аркаде и Клименьке не было спросу, но они были так малы, что не сознавали этого ужасного равнодушия. Все как-то не клеилось, и вдруг объявили, что мы едем к бабушке в Грамаклею.

Мы скрывали свою радость, простились с садом, с Батистом, со всею прислугой, которая нас очень любила, набрали на берегу моря раковин. Началась укладка не на шутку. Марийка и Гапка уложили белье и платье. Амалья Ив<ановна> велела заготовить провизию, а в бутылках холодный кофий и чай; котлеты, пирожки с мясом, яйца в крутушку положили в миску, которая накрывалась крышкой и служила тарелкой. В свои карманы она положила лакомства. Утром кучера впихивали в чемоданы подушки и постельное белье и одеяла. С нами отпустили Пожидора, который при сей оказии, конечно, был подпоясан красным кушаком. Марийку посадили на запятки и велели ей держаться за кисти. Перед отъездом не садились, как бывало в старину полагалось и полагается, а просто запросто нас с холодностью поцеловала полковница, от него мы отвернулись. В карете сидел уж Клименька, а возле стоял добрый Батист. До первой станции мы ехали на своих, а потом не помню, где ночевали, но знаю, что ели, веселились и были уверены, что навеки будем жить у бабушки. Когда мы подъехали к крыльцу, все выскочили. Амалья Ив<ановна> заплакала и бабушка тоже, нас обласкала и говорила: «Играйте, детки! Я вашего шума не боюсь».

В Грамаклее дом было 5 окон, выштукатуренный и желтого цвета, а крыша была железная, черная. Напротив дома была большая хата, которую тотчас приготовили для нас. Рядом с домом был флигель, в котором Карл Ив<анович> жил и выводил голубей. В самой глубине двора были конюшня и сарай. Там жил кучер Филипп и держал в конюшне козла: «Щобы черт

не путал гривы лошадей». По ту сторону дома был сарай, крытый, как и все строения, в старновку. Затем была кладовая.

Давно, еще когда Ришелье был в Одессе, он ездил в Крым, проехал через Грамаклею и видел, что бабушка сидела перед домом, а l'ombra della casa[154], как говорят итальянцы. Он ей сказал: «Катрин Евсевна, что вы не сажал сад?» – «Ах, батюшка Дюк, а где мне достать корней? Тут не найдешь и прута, чтоб сечь непослушных детей». – «Я вам буду присылать». Под осень приехал Батист и вдоль по Водяной посадил деревья, кусты ягод, даже малину, черемуху, кукурузу. Сад тогда уже был важный, а теперь, я думаю, разросся в настоящую рощу. Бабушка, как было сказано, купила десятину по 5 коп., а теперь, т. е. в 70 году, уже платили 40 руб. за десятину. Это имение принадлежит дочери Николая Ив<ановича>, Катерине Ник<олаевне> Сталь-Гольштейн, и она там живет с мужем и детьми.

Дворня бабушки была немногочисленна: приказчик Роман, ключница Малашка, у которой указательный палец был точно как веретено, кухарка Солоха, девка Гашка, еще другая, кучер Филипп и мальчик Сидорка, который служил за столом, ходил в белых штанах и по праздникам носил зеленый сюртук, надевал тогда чоботы, служил как форейтор, когда бабушка ездила в церковь.

В полверсте от дома была станция, и смотритель был курчавый малый Измаил. Перед домом был палисадник, в котором росла заячья капуста, барская спесь и повилика. Он был окружен крупными кольями, из окон видны были только гладь и даль. В 40 верстах жила тетушка Екатерина Ив<ановна> Вороновская, ее муж Артемий Ефимович был сын священника из дворян. В Малороссии часто были священники из дворян и были лучшие помещики, а их крестьяне – лучшие работники. Д<окто>р Оболевской был сын священника из дворян, также и почтенный старец Павловский.

Бабушка сидела в своей комнате так, что могла видеть все четыре стороны своего маленького царства. Так как летом окна всегда были открыты, то она хлопала в ладоши, и являлась под окнами Малашка за приказанием. В 7 часов она уже пила кофий с Амальей Ив<ановной> и тетушкой Верой

---

[154] В тени дома *(ит.)*.

Ив<ановной>. Обедали в час: борщ или щи, жареная телятина, так отменная, как не водится в больших городах, и за сим вареники с ежевикой. В постные дни сладкое блюдо составляли шуляки, необыкновенно вкусное блюдо. После обеда она отдыхала, а в четыре часа подавали кофий и арбуз или дыню. Два раза в неделю открывали кладовую, и вся дворня пересыпала из сита в сито просо, горох и мак. Для нас это был праздничный день, мы объедались маком.

Иногда бабушка выезжала на поповских дрожках (поповские дрожки была линейка на две персоны с фартуком). Она меня брала с собой, я ехала без шляпки, пелерины: Амалья Ив<ановна> кричала: «Mein Gott, Sie bringt ein Sonnenblich!»[155]. Когда было слишком жарко, я подползала под фартук. Длинный Роман в синем сюртуке ехал рядом на рыжей лошади и показывал на поля: «Вот тут, сударыня, гирка, а подале у меня 20 десятин под арнауткой, а вон баштаны, гарбузы вовсе плохи от засухи да и дыня мала». И Роман мне давал маленькую вместо мячика.

Вечером за ужином был кулеш, галушки и манная каша, необыкновенно· хорошо сваренная. Я подобной каши не ела нигде. Когда приезжали господа, то важные ужинали и ночевали, чиновники только ужинали, а на станции была чистая комната и постель. Роман говорил, что у Малашки большой запас дынь и гарбузов, она их опускала в Водяную. Водяная тем была замечательна, что так тихо катилась меж высокого тростника, что казалась неподвижной. Раз давно в ней утонул человек, и рассказывали, что он в полдень выплывал греться на солнце, а ночью, в лунную ночь, зазывал к себе запоздалых косарей и девок.

Тетушка Вера Ив<ановна> часто опаздывала к обеду и подвергалась насмешкам на столичное образование. Она воспитывалась в Москве у Цициановых. Амалья Ив<ановна>, как представительница западного образования, заступалась за это воспитание, но бабушка не обращала никакого внимания и говорила: «Ты скажи мне, Верка, на що Дмитрий учит бедную девку Варвару Бонгескул танцевать?» Потом бабушка начинала пересчитывать своих сыновей: Александр женат

---

155 Божe мой, у нее будет солнечный удар! *(нем.)*

на Корсаковой. У них есть имение где-то под Петербургом, а они все ездят в чужие края и говорят, что там лучше, я их жду теперь. Николаша служит теперь в Воронеже, он мот и балагур. Митя служит в Ордынском кирасирском полку, в корпусе безносого Прозоровского, он только что женился на его племяннице княжне Волконской. Оно бы хорошо, но совсем бедная и воспитывалась в каком-то институте, и все, верно, по-французски. Катя замужем за Каховым – славный человек, и живут они в Пондике, да несчастье с сыном: у него собачья старость. Я видела часто бедного Ваню. Он точно был похож на старую собаку, уши отвисли, он сидел на корточках и засыпал, сидя на плече у матери. И 7 лет томился и он, и она. Отец и бабушка заливались слезами, когда его видели. Нас посылали с Клемой два раза в неделю к нему, он грустно улыбался, когда мы резвились перед ним, он лакал молоко, как собака. Бывает у бедных детей атрофия, но болезни, подобной бедного Вани, я никогда не видала. «Господи, вем, яко отвергнишь, яко же ты велми, – говорил Иоанн Златоуст, – да будет воля твоя», – говорила бедная мать этого страдальца.

Соседей у бабушки не было: ее звали Барандовы и Бредихины. «Що воны думают, щобы я к ним поехала. У них по 500 десятин, зато пьют колодезную воду». К ней, хотя редко, <ездила> двоюродная сестра ее Елизавета Сергеевна Шклоревич, рожденная княжна Баратова. Она жила в 25 верстах от Грамаклеи, в Баратовке. Когда она приезжала, то Улька, бедовая девчонка, нам говорила: «Теперь играйте, можете шалить, сколько угодно. Елизавета Сергеевна приехала». Старушки сидели в гостиной на диване, перед ними стояла на столе ключевая вода, варенье смоква и другие лакомства. «Представьте, Катерина Евсеевна, что я три года не видела сестры Анны Сергеевны». – «Да на что вам к ней ездить? Она гордится, что она княгиня Кудашева, мы знаем, какие они князья. Кудашевы ездили на запятках у Цициановых (Кудашевы купили себе княжество, кудаш по-грузински значит отхожее место). Ее бублики и сырники хороши, у нее дом со столбами, а штукатурка обвалилась, в доме пыль, а у меня Гашка всякий день моет пол с мылом и солью, щоб не было блох и мокриц. А варенье у нее на меду, и она не стыдится им подносить. А сам старик сидит в зеленом бархатном халате с собольим воротником и в красных

туфлях, точно как будто царь какой с того света. Я туда возила Сашу после смерти отца, бо там у них Катенька». Данила Кудашев был адъютантом Багратиона, дослужился до генеральского чина и был убит под Бородиным, а жена его на его памятнике написала: «Смерть разлучила и Бог соединит». Она была дочь фельдмаршала Кутузова и два года спустя вышла замуж за Сорочинского, а дочь отвезла к дедам.

«Кстати, Екатерина Евсеевна, я издержала 5 ф. сахару на ваше варенье. Так не забудьте купить 5 ф., когда пошлете Романа в город». – «Попробуйте этого варенья с имбирем. Это очень хорошо для желудка, мне его прислала Марья Павловна Кулябка. Она мне сродни по Ворожейкиным». – «А у меня просьба до вас, Катерина Евсеевна, отпустите Верочку и Сашу погостить у меня только на три дня». Я при этих словах прыгнула как кошка и объявила свою радость Амалье Ив<ановне> в уверенности, что нас отпустят. Она завязала в узелок мои вещи, а Вера Ив<ановна> уложила свои в сундучок, привезенный еще из Москвы.

Карета Елизаветы Сергеевны была на высоких рессорах и качалась, как люлька. Когда мы уселись, началось маханье платками. У брода начались расспросы, нести ли нас на руках или переехать в карете. Ничипорка (Никифор форейтор, солдат Сабанеева) сказал, что опасности нет. Девке, которая сидела на запятках, велели крепче держаться за кисти, и карета пошла прыгать по крупным камням. Лизавета Сергеевна все время крестилась. Мы ехали крупной рысью по самой гладкой дороге. По обеим сторонам были высокие поля, освещенные солнцем. Мы остановились у церкви, звонили во все колокола, и навстречу нам вышел священник в ризе с эпитрахилью и с крестом. Церковь нас поразила своим великолепием, все образа в иконостасе были в золотых окладах, мы прикладывались и все следовали к дому. И дом поразил меня: он был вдвое больше грамаклеевского. За ужином Елизавета Сергеевна объявила нам, что на другой день мы поедем на именины к ее соседям Требинским. Именины в деревне – магические слова. И Пушкин писал:

Уже заря багряною рукою выводит за собою
Веселый праздник именин.

Кажется, что мой приятель Александр Сергеевич занял это выражение у Северного рыбака, который писал:

Уже заря багряною рукой
С покойных зеркальных вод
Выводит с солнцем за собою...

далее не помню. Для именин Лизавета Сергеевна облеклась в серое левантиновое платье, натянула белые лайковые перчатки, на голове у нее был чепец с огромным белым атласным бантом, и вся уборка напоминала колокольню. Тетушка Вера была в белом платье и крево, еще модный наряд, завила букли, на шейке черная бархотка, а коса на высокий гребень по-испански. Мне надели белое платье с нескончаемым количеством мелких складок, и розовый платок на шею, новые башмаки и сережки Дюка со змейкой мелких бриллиантов. Мы уселись так, что девка сидела в моих, ногах с корзиной абрикосов. В этом благословенном краю плоды растут на чистом воздухе.

До Требинских было 25 верст. Мы выехали рано, чтобы поспеть к обеду. Ничипорка стоял в ливрее на запятках. Мы отъехали 6 верст, и на самом маленьком косогоре карета опрокинулась, неизвестно как и зачем. И Селифан, когда опрокинул бричку Чичикова, сказал всего: «Вот и перекинулась». Но Селифан был пьян, а наш кучер не был пьян. Поднялся крик. Кучер лежал без памяти, форейтор не смел покинуть запятки, Ничипорка стоял как вкопанный; к счастью, прохожие крестьяне нас вывели из затруднения. Прежде всего открыли дверцу и начали вытаскивать Лизавету Сергеевну, которая была высокого роста и уперлась ногами в противоположный угол кареты. Вера Ив<ановна> всей тяжестью лежала на мне, а я уткнулась в корзину абрикосов и преспокойно их уплетала вместо Требинских. Наконец кучер очнулся, подняли карету, и оконфуженный экипаж поплелся снова в Баратовку к великому удивлению выбежавшей дворни. Ели<завета> Сер<геевна> так и всплеснула руками, когда увидела на моем лбу шишки – то, что Пульхерия <Ивановна> называла гуглями. «Что скажет Катерина Евс<еевна>? Дали дитя на руки, а привезут ее изуродованную!» и у нее, как у Пульхерии Ив<ановны>, были снадобья. Она приказала настругать ивняка и прикладывать изнанкой

к больному месту. Меня страшно баловали, т. е. целый день закармливали лакомством. На другой день осталось только желтое пятно, а на третий день из предосторожности мы ехали шагом до брода. У брода Ничипорка всех нес на руках, кроме девки. Шагом мы подъехали к крыльцу в Грамаклее, и Улька закричала, что приехал дядя Александр и тетушка Марья Ив<ановна>, при них горничная, красивая Аннушка, которая говорила по-французски, и человек Никита. Елизавета Сергеевна только успела пообедать, и об несчастном приключении не было и слова. Она отправилась восвояси.

Приезд Александра Ив<ановича> был очень неудачен. За столом Марья Ив<ановна> говорила Никите: «Не правда ли, Никита, что церковь Петра лучше нашего Казанского собора?» – «Как можно, сударыня! Десять Казанских поместятся в св. Петре». – «Молчи, дурак, що ты брешешь? Да як же ты смеешь говорить, когда господа кушают?» Напрасно Александр Ив<анович> хвалил кушанье и жареного поросенка. Это было самое утонченное блюдо в Грамаклее, и им потчевали императора Александра, в<еликого> к<нязя> Николая и вообще знатных людей. Недолго они погостили и поехали в Петербург. У Марьи Ив<ановны> был чудный голос, вроде голоса Зонтаг; она была хорошая музыкантша и особенно хорошо пела венецианские баркароллы «La Biondezza in gondoletti» – их всего шесть. Она играла также на флажолете. Марья Ив<ановна> была замечательная личность: она не выносила крепостного права. В ее деревне Гарни Острожского уезда Псковской губернии было 1000 душ. Она любила жить прилично, не принадлежала к высшему обществу и не искала его, а любила заграничную жизнь. Всякий год она созывала крестьян и спрашивала их, могут ли они ей дать чистыми 25 000 рублей. Они всегда доставляли ей эту сумму вперед за весь год. Она им говорила: «Перед смертью я вас отпущу на волю». – «Живи, живи, матушка, нам у тебя и без воли хорошо». С 1000 душ 25 000 асс., кажется, очень умеренное требование. Она скончалась в своем имении Гарни 95 лет и имела удовольствие видеть, что ее желание исполнилось. А крестьяне продолжали ей платить вышесказанную сумму. Император Николай Пав<лович>, проезжая мимо Гарней, любовался домом,

который на пригорке и окружен садом. Красоты природы никогда не ускользали от его внимания. Человек любит природу.

Перед захождением солнца ласточки то поднимались, то опускались так низко, что крылышками поднимали пыль и оглашали воздух веселыми звуками. Они как будто резвились перед ночным отдыхом и потом укрывались в свои гнезда под крышей. Потом прилетал журавль на крышу сарая, поднимал одну красную лапку и трещал своим красным носиком, зазывая самку и птенцов. Дети говорили: «Журавли богу молятся. Бабушка, пора ужинать». Перекрестившись набожно, она садилась, а возле нее Карл Ив<анович> в белом галстухе, темнозеленом жилете, таких же панталонах и в ботфортах, а мы вокруг нее с Амальей Ив<ановной> и Вера Ив<ановна>. После ужина приходил Роман со станции и передавал ассигнации бабушке. Она их клала в мешок, который висел над ее кроватью, а медь Роман складывал в сундук в серебряную копилку. После этого она играла в дурачки с Карлом Ив<ановичем>, конечно, не за деньги, и очень сердилась, когда он выигрывал.

Самое замечательное в Грамаклее была ничем невозмутимая тишина, когда на деревне умолкал лай собак и сизый легкий дым бурьяна поднимался с земли. Крестьяне вечеряли галушками и пшенной кашей или мамалыгой. Синий бархатный воздух, казалось, пробирался в растворенное окно, его как будто возможно было осязать. Звезды с небесной высоты задумчиво смотрели на заснувшую природу. Бурьяном топят для кухни, а для топки хат делают кизяк. Паллас говорит, что бурьян состоит из пахучих трав: artemisia vulgaris – полынь, cichorium – цикорий, verbascum nigrum[156], dipsacus sylvestris[157], daucus mauritanicus – морковь, conium maculatum – болиголов, achillea nobilis – тысячелистник, мать-мачеха, althea, leonurus cardiaca, lavatera thuringiaca, eringeron, camphora, carduus[158], ослы любят этот куст. Трава в степях выше человеческого роста и вся испещрена подснежниками и гиацинтами – это только весной, но производит удивительное впечатление.

---

[156] Коровяк.

[157] Ворсянка лесная.

[158] Алтей, пустырник сердечный, хатьма тюрингенская, мелколепестник, камфора, чертополох *(лат.)*.

Гоголь провел три недели у нас в Калуге, в загородном доме губернатора, восхищался видом на Ячейку и великолепным бором за Ячейкой; я с ним была в загородной даче архиерея и заметила, что он записывал виды в своей красной книжечке. Он тут прочел Палласа, от которого был в восторге. Я его прочла в «Murbridge Wallace» в английском переводе. Вообще англичане с давних пор писали об России. Я там же прочла записки адмирала Каприола и очень любопытную книжку голландца Ван-Брандт-Идена, которого Петр Великий послал в Китай. Вся Сибирь тогда была совершенно языческая.

У бабушки была еще дочь, которая жила в Пондике у Вороновских, но когда умерла Екатерина Ив<ановна>, она возвратилась в Грамаклею. Она не была хороша, но стройна и грациозна и была необыкновенно кроткая. Раз утром пришли сказать бабушке, что флота капитан приехал на станцию, что бричка сломалась, и он просит позволения ее починить на станции, а вместе желает ей представиться. Бабушка велела его позвать к обеду. Вошел плотный среднего роста господин, очень смуглый, с большими черными глазами и курчавыми черными волосами с проседью. Он расшаркался, подошел к руке бабушки и сказал: «Имею честь представиться – отставной флота капитан Вантос Иванович Драгневич. Еду в Херсон по собственной надобности». Вантос Ив<анович> ел с большим аппетитом и все хвалил. После обеда бабушка пошла в свою комнату и поручила Дунюшке показать гостю сад. Вечером он ужинал и отправился ночевать на станцию. Со станции пришли сказать, что бричка еще в поломке, и где ему обедать? Гостеприимная бабушка сказала: «Надоть человеку и покушать». И он пришел к обеду. После обеда Сидорка принес ему гитару на голубой ленте, и он пел: *«Тише, ласточка болтлива»* и еще «Ах, Саша, как не стыдно сердце чужое взять и не отдать». И в это время он посматривал на Дунюшку. Вечером она вместе с ним гуляла, а после ужина он сделал предложение. «Що ты, с ума спятил, что ли? У меня все дочери за людьми известными, дворяне, а ты що? Да я отродясь не слыхала такого имени: Вантос Ив<анович>, да еще Драгневич!» Бедный Вантос так смутился таким ответом, что не нашелся, чтобы ей сказать, что он из славных сербских князей и дворян. Екатерина их всех произвела в дворяне: Миленко-Стойковича, Стерича, Нерича,

Штерича, Георгиевича и Драгневича. Утром хватились Дунюшки. Измаил пришел сказать, что она села в бричку Драгневича с его гитарой и поехала в Херсон. Бабушка всплеснула руками и при мне сказала Вере Ив<ановне>: «До какого сраму я дожила на старости, чтоб моя дочка с чужим мужчиной убигла!» По приезде в Херсон они обвенчались под благословением Дубницкого, он об этом написал, также Дунюшка, но от бабушки не было ответа. Дунюшку это так огорчило, что она заболела и умерла. Вантос перестал играть на гитаре, поставил ей памятник – разбитую вазу на пьедестале, проводил целый день у праха нежно любимой жены; набожный, как все моряки, всякий день бывал у обедни и вечерни, служил панихиды. Он лишился сна и чувствовал, что скоро с ней соединится. В последний день он принес гитару и так грустно запел вечную память, что соседи кладбища сбежались, но нашли только его труп. Дубницкий продал его походную бричку и гитару и похоронил его возле нее. Он написал об этом в Грамаклею. Бабушку это известие повергло в страшное состояние, и она целыми ночами молилась по усопшим. Это мне сообщила Вера Ив<ановна>. Она вышла замуж за полковника Мазараки и по смерти Елизаветы Сергеевны получила Баратовку. Когда Н. И. Лорер возвратился в Грамаклею, он жил во флигеле и женился на бедной девушке, которая жила у Мазаракиных. Мазараки был моряк и взял к себе сироту товарища (фамилии я не помню). От этого брака была единственная дочь Катерина, которую имп<ератрица> Александра Федоровна поместила в Киевский институт. Катенька после смерти дяди Дмитрия Ив<ановича> жила с Варварой Петровной у графа Дмитрия Ерофеича Сакена, они очень полюбили ее и выдали замуж за Сталь-Гольштейна, его адъютанта.

Бабушка боялась приезда Варвары Григорьевны, но ее кротость и смирение победили ее предубеждение. Обе были очень набожны, что не было по вкусу Николаю Ив<ановичу>. Он мне говорил: «Все читают акафисты, каноны и жития святых». Николай Ив<анович> воспитывался у Василья Васильевича Капниста в Обуховке. Наставником его детей был почтенный гернгутер, т. е. протестант, не придерживавшийся никаких формул, а просто христианин. Он имел сильное влияние на убеждения Николая Ив<ановича> и не чувствовал потребности

иных святых и не верил в чудеса, кроме повествуемых евангелием. Совсем иначе смотрел на эти важные предметы Дмитрий Ив<анович>. У него в детстве была падучая болезнь, и он получил совершенное излечение у Ахтырской божьей матери, куда возила его бабушка. Как ни затруднительны были путешествия, но она через два-три года ездила в Ахтырку. Обыкновенно она нас с собой возила к Андрею Первозванному. Образ был самый уродливый. Святой был похож на казака, всклоченные черные волосы, злые черные глаза, длинные усы, в красном жупане, он держал какое-то оружие в руках, похожее на алебарду наших старых будочников. Но бабушку это не смущало. Кто знает, после смерти дедушки она верно ездила там молиться и получала успокоение и утешение. Его похоронили возле церкви и, вероятно, и ее похоронили возле.

Мы недолго оставались у бабушки, полковник и полковница приехали за нами. У них был крупный разговор с Дмитрием Ив<ановичем>. До нас долетали слова: «Продать хутор Ланжерону за 40 000, а дом на Дерибасовской за 20 000». Нас они отправили в Златополь, а они были в Одессе и Херсоне, а приехавши в Златополь, мы уже нашли <их> там. Недаром бабушка говорила при нас: «Надя была замужем за Осип Ив<ановичем> Россет, хороший был человек и Дюка правая рука. Он оставил хоть не много денег, но довольно, чтобы им жить безбедно». Николай Ив<анович> мне рассказывал, что папенька привез с собой деньги из Конст<антинополя>. Однажды герцог его просил составить компанию для ускорения торговли. Отец просил Лоде и Сикара. Они нагрузили корабли пшеницею, и эти корабли должны после привезти колониальные товары. Ришелье призвал отца и сказал: «Mon cher chevalier, je regrette beaucoup de vous avoir engage à faire cette speculation. Cet insatiable Napoléon a mise embargo sur vos vaisseaux, c’est avec un’coup d’Etat vous pouvez retourner votre capital». – «Mon cher Duc, j’invite Lode et Sicar de me joindre, ils sont plus pauvres que moi, il faut que nous supportions cette perte en commun». Le Duc lui dit en l’embrassant: «Ah, je savais bien a qui je me confiais»[159]. Но потом они удачно употребили свои

[159] Мой милый шевалье, я очень сожалею, что втянул вас тоже в эту спекуляцию. Этот ненасытный Наполеон наложил эмбарго на ваши корабли,

капиталы, и отец мой поместил 300 000 в Херсонский приказ общественного призрения сирот.

Златополь – жидовское гнездо и утопает в черной грязи. Дом был деревянный, большой, или, вернее, длинный и примыкал к саду, в котором были жидкие деревья, крапивой заросли дорожки, и ходить там не было возможности. Мне взяли учителя музыки, он так вышел скверен, что принуждены были его отблагодарить. Маменька зашивала или шила что-то, уронила клубок и сказала Карленьке: «Подними клубок». Он подполз под стол, долго не мог его найти, а полковник его ударил в голову деревяжкой. Он, бедняжка, расплакался, и Амалья Ив<ановна> его увела. Мы переглянулись, полковница покраснела и покачала головой. Первые враждебные действия. За обедом бывали всегда офицеры, кто-то просыпал соль, полковница сказала: «Будет несчастье». В эту минуту Ося подавился костью гуся и посинел. Адъютант Гамалея сидел рядом, у него были длинные пальцы, он проткнул горло и кровь хлынула ручьем. «Мерзавец, есть не умеет!». Мы, я и Клема, сказали: «Нам кроме костей ничего порядочного не дают». – «Все ложь!» – вскрикнул этот злодей. Но он иногда любил похвастать своим чадолюбием: поехал в Миргород и привез оттуда мне очень странные козловые башмаки, а братьям из мела или извести фрукты, такую дрянь, что они все покидали. Но к несчастью, он привез толстую книгу, называемую Энциклопедией. По его мнению, она заменяла все возможные знания. Нас никто не учил по-русски, и энциклопедия осталась мертвой буквой.

Мы недолго оставались в этой трущобе. Пришло приказание выступать в поход. Батарею собрали посреди площади против собора, служили молебен. Арнольди ехал верхом, а за ним вестовой вез деревяжку как трофей. Златополь принадлежит г-же Высоцкой, одной из племянниц князя Потемкина. Их было четверо: гр. Браницкая, которой принадлежала Белая

только при государственном перевороте вы сможете вернуть ваш капитал. – Дорогой Дюк, я пригласил Лоде и Сикара присоединиться ко мне, они беднее меня, мы должны понести убытки сообща. Герцог, обнимая его, сказал: «Я знал, кому доверял».

Церковь, Юсупова, у которой было 40 000 душ крепостных, его любимая княгиня Долгорукая и Высоцкая.

За этим следует

Журнал походу Надежды Ивановны Арнольди.

1 февраля я оставила Грамаклею, милые места. С горестным чувством рассталась я с матушкой и милою сестрой. 18 верст переход, который мы должны были сделать, я не переставала об них думать. Приехали в деревню *Ремонтаровку,* где приготовлена была для нас квартира в господском доме, но хозяев не было дома. Они нарочно для этого случая уехали в гости. Дом их очень скучный и грустный, особенно картины и прочее все такое чистенькое, но удивило меня то, что я нашла там довольно изрядный флигель. Впрочем, квартира сия была для нас очень удобна, мы нашли обед готов; вдруг собрались офицеры, постели наши были готовы, и так как мы поздно обедали, не хотели ужинать, пили чай и легли, спокойным сном уснули.

На другой день утром рано, 2 февраля, вставши, по обыкновению напились горячего, трубы прогремели, означающие сбор. Рота проиграла зорю, мы отправились в путь шагом в м<естечко> Баландино, переход был весьма мал, только 12 верст. Тут мы должны были дневать и ночевать. Квартира наша, хоть не так хороша, однакож довольно выгодна. Три комнаты очень чистых. Мы здесь только не нашли полковника Лошкарева, ибо он нам со своим полком предшествовал, а сегодня поутру я очень рада была слышать благовест к обедне, церковь же от нас в нескольких шагах, и я ходила к обедне. Удивило меня сначала, что не нашла там ни одной души, кроме двух нищих. Священник служил и два дьячка пели, я узнала, что не большой был праздник св. Симеона и Анны, по той причине и был молебен, что это торжество в<еликой> к<нягини> Анны Павловны. Теперь только 9 часов вечера, но вокруг легли все спать, ибо завтра рано надо выехать.

Оставивши местечко Баландино, выехали мы прежде роты, ехали мы лесом по прекрасной дороге, но видя, что рота нас не обгоняла, спросили у проходящих, куда мы едем. К великой досаде узнали, что мы взяли совсем противоположную дорогу, должны были воротиться. Доехавши до настоящей нашей

дороги, увидели, что рота уже здесь прошла, ибо дорога была очень испорчена, и мы принуждены были ехать по сей несносной дороге 20 верст лесом. Я удивлялась пространству сего леса и воображала приятности лета и зимы. Тут мы видели в самом лесу поселенную деревню, принадлежащую, кажется, Давыдовым (не *Каменка ли это, где Пушкин писал стихи Адели?).* Церковь тоже есть, местоположение совершенно картинное, между горами и лесом построены избы, а внизу, без сомнения, должна быть река. Приехали мы, наконец, в деревню *Александровку,* нашли роту давно пришедшую, и как переход был большой, легли отдыхать, потом обедали и легли спать. Квартиру мы заняли у одного польского господина, который сам живет в Киеве, а здесь только эконом. Тут я вспомнила, что 4 февраля – тот самый счастливый для меня день (а *для нас самый злополучный),* в который я в первый раз встретила Ивана Карловича год тому назад. Мне живо представилось все это прошедшее время. Могла ли я тогда думать, что через год я буду с ним в походе? На другой день дорога была прекрасная, переход очень был мал – 17 верст. Мы приехали довольно скоро в деревню, называемую *Любомировка.* Тут подъехали мы к довольно изрядному домику, где я полагала найтить эконома, но мы на крыльце были встречены самим хозяином, мужчина польской фигуры. Пришедши в дом, нас встретила хозяйка. Они оба старались нас весьма угощивать, но их присутствие нас женировало[160]. Домик их дурно расположен, их квартира отделяла нас от детей. Хозяйка очень разговорчива, рассказывала об своих соседях и сказала, что старая моя знакомая, г-жа Поджио, живет от них в 8 верстах. Я было хотела к ним ехать, но раздумала и день дневки провела довольно приятно. На другой день мы располагались собираться в путь, как вдруг наш добрый Фридрих извещает нас, что кучер, наш собственный *Тимошка,* ночью бежал. Эта весть меня не столько потревожила, сколько удивила, ибо сей человек жил у нас с 8-ми летнего возраста до двадцати, был человек смирный, трезвый и потому никогда не был наказан. Я долго не хотела верить, но удостоверилась потому, что платье и белье было им взято. Однакож мы имели много лишних людей, тотчас его место

[160] Стесняло (от *фр.* gêner – стеснять).

занял другой и не помешало нам отправиться в путь. Тут я вспомнила, что он куплен нами от г-жи *Поджио,* имеет там родных, решилась послать юнкера Поццо с моим письмом, где просить *(под влиянием безногого черта)* на случай, он явится к ней, послать его под караулом в суд для препровождения его к нам (к *счастью, это желанье исполнять не удавалось, кто от них ни бежал).*

Здесь мы уже оставили границу Киевской губернии и въехали в Херсонскую, что было приметно: избы гораздо лучше выстроены, хлеба у мужиков изобильнее, народ гораздо смирнее и покорнее. Мы приехали в селение, называемое *Стацовка,* где я была раз тому десять лет, но при всем том узнала дом, где жили Чепелевские; здесь не нашли мы ни хозяйского, ни экономического дому, а остановились в мужицких избах, из которых одна была довольно чиста и велика, а другая, где были дети, немного сыра, но мы нашли средство помочь этой беде. Обили стены коврами и спокойно провели ночь, а на другой день отправились в путь в местечко, называемое *Андрусовка (не тут ли был заключен Андрусовский мир*?) Тут я узнала весьма приятную для меня весть, что деревня сестры моей Лизаньки в 12-ти верстах отсель, хотела ей дать знать, но заседатель, который был здесь для препровождения нашей роты, сказал мне, что уже послал по просьбе сестры, которая знала, что мы должны здесь проходить. Я с нетерпением ее ожидала, она в скором времени с мужем приехала. Не нужно, я думаю, изъявлять радость, не видавшись три года, в которые случилась со мной такая важная перемена *(такая гадкая).* Мы ночевали здесь, по обыкновению имели только дневку и уже делали с сестрой планы, как бы нам проследовать, чтобы до Кременчуга нам не разлучаться. Между <тем> квартирмейстер нам, возвратясь, сказал, что мы здесь приостанемся по причине невозможности переправлять через Днепр, и что следующая нам квартира занята еще Финляндским полком. Я очень была обрадована сему, мы здесь с сестрой очень приятно проводили время. Поблизости сего селения живет помещик *Касьянов,* который знаком хорошо с сестрой и по причине сего знакомства всякий день обсылает нас разными продуктами, которых мы не можем здесь достать купить, и как он живет в весьма малом расстоянии, то мы все вздумали ехать к нему, хотя он – человек

неженатый. Я удивилась порядку и чистоте, которые мы нашли у него в доме. Дом довольно большой и прекрасно выстроен и меблирован, а местоположение удивительное. Мы нашли приготовленный десерт, тоже подавали кофий, тут приехала золовка сестры моей Кочергина, мы остались немного, и все поехали домой, а сестра оставалась со мной, мы играли в бостон.

На другой день муж мой получил известие, что мы должны здесь оставаться по причине опасной переправы и что Лифляндский полк также останется и занял все деревни впереди нас. Муж мой, видя по всем обстоятельствам, что мы должны будем остаться здесь дней 7 или более, квартира наша не так была выгодна, чтобы прожить без тягости, вздумал переехать к вышесказанному помещику. Может быть, мы и не решились бы на это, если бы, бывши у нас утром, не предложил это сам. Пользуясь его предложением, поспешили переехать в его дом. Казалось, он был нам очень рад, угащивал нас самым лучшим образом, стол, чай, все было у нас общее с хозяином, после обеда прекрасный десерт, время проводили приятно. В Касьянове мы убивали время более за бостоном, всякий вечер играли: сестра, хозяин дома и капитан Паскевич *(брат фельдмаршала);* мы нашли у него библиотеку и читали книги, играли в биллиард, и так время у нас проходило незаметным образом при всем том, что жили 15 дней, и, наконец, 18 февраля получили известие, что Днепр очистился и Лифляндский полк тронулся вперед, и мы на другой день выступили. С чувством благодарности простились мы с добрым нашим хозяином, но сестра провожала нас далее. Мы въехали на ночлег в селение, называемое *Табурица,* однакож прежде должны были проходить через местечко *Крилов,* сей городок мне очень понравился, местоположение прекрасное, сестра, которая сидела со мной в карете, показывала мне дом, в котором останавливался в<еликий> к<нязь> Николай Пав<лович> (он был у нас на хуторе, ему поставили стул на пригорке, он в подзорную трубу любовался морем и кораблями: не пришла ли ему тогда мысль укрепить Севастополь, я знаю, что он там был). Дом выстроен довольно велик; наконец, мы прибыли в местечко *Табурица.* Квартира наша была в двух мужицких избах, но довольно велика и чиста, мы там обедали и ночевали. Ночью мы услышали,

что погода переменилась, сделался сильный ветер, и брат мужа Павел Карлович (Павел Кар<лович> был прекрасный человек, он был сильно ранен в голову сабельным ударом, и над глазом был большой шрам) известил нас, что ветер напрягает, и он велел фельдъегерю переправляться и что несколько эскадронов ожидают на берегу благоприятной погоды, и так мы подвинулись еще ближе к Днепру в *Белоц<ерковку>,* деревню тетки княгини Кудашевой; остановились в ее доме, где люди ее нас ожидали, имея от тетушки давно приказание все приготовить к нашему приезду. Мы тут имели хороший ужин, и как мы находились уже от Днепра в 7-ми верстах, то к вечеру Иван Кар<лович> сам ездил посмотреть переправу. Переночевавши в Белоцерковке, я получила, не зная как быть, пристяжные к переправе, пустились спешным маршем к берегу. Тут уж должны были проститься с милой сестрой, и мы в одно время выехали со двора, только в разные стороны. Приехавши в Крюков прямо на берег Днепра, где уже Иван Кар<лович> нас ожидал, паром и шлюпки, все было готово, мы немедленно вышли с карет с детьми. Экипажи наши и большая часть людей были поставлены на большой паром и отчалили уже от берегу. А я с детьми и Амальей Ив<ановной> сели в шлюпку. С нами была только Марийка и Наташка, добрый наш Фридрих и унтер-офицер Андрианов, а попутчики наши были какие-то два офицера и солдаты, похожие на инвалидов, и я заметила, что они все были пьяные, и как только мы тронулись, поднялся ветер и вместо сияющего солнца небо покрылось черными облаками. Потом начал накрапать дождик, все это меня устрашало, и чем далее мы плыли, тем более поднималась погода, и как только что мы пристали к берегу и наконец к мосту, по которому должны были иттить с полверсты до берега, вдруг начался дождь с ветром, снегом или градом, так что едва мы могли держаться на ногах; я удивлялась детям, что на них это не делало никакого влияния, они еще бежали и смеялись, кроме один Карленька плакал, и то, я думаю, что в шлюпке, на руках у Марийки уснул и потом просыпается и видит себя на ветру и дождю. Приставши на берег, я так устала, что в силу могла дышать, просила провести нас куда-нибудь в дом, где бы могли отдохнуть. Тут брат Павел Кар<лович> попался нам навстречу, он проводил нас к береговому, мы вошли в маленькую комнату,

где сидела одна старушка и торговала у купца русского нитки и прочие товары, и я полагала, что это ее жилище. Здесь во всем видна была бедность, и я просила у нее позволения отдохнуть в ее доме, что она охотно позволила. Я увидела маленьких детей и спросила, чьи они. Она мне сказала, что это внуки от дочери, которая была замужем за князем Ратеевым, он здесь береговым приставом и живет здесь, но теперь поехали в лавки. Между тем я вижу, что сам князь с женой и дочерью входят в комнату. Я увидела в нем тотчас обыкновенную грузинскую физиономию доброго и простого человека. Она казалась очень занята своим княжеством. Погода вдруг переменилась, небо очистилось, блеснуло солнце, и я просила Павла Кар<ловича>, чтобы он нашел нам двое дрожек и отвез бы нас в назначенную квартиру, что было вскоре исполнено, и хотя князь был так учтив, что предлагал нам завтрак, но я не согласилась. И так как мы не могли все поместиться на двух дрожках, то я прежде поехала с Сашей, а на других Павел Кар<лович> с Клименькой и Марийка с Карленькой. Приехали на квартиру русского купца. Квартира хотя изрядная, но, по несчастью, хозяин был вдов, не было женщины, только один мальчик вертелся, кровати не было, где бы отдохнуть. Приехала Амалья Ив<ановна> с детьми, с Наташкою и Гришкою. Павел Кар<лович> с Фридрихом остались на берегу с намерением переехать на ту сторону, между тем поднялся опять страшный ветер, а мы здесь остались без провизии, без денег. Дети просили есть, ибо уже был час, я не знала, что делать. Подумавши, я заняла в хозяина денег, послала Гришку купить нам хлеба, кренделей, просила хозяина поставить самовар, дать нам чаю и сахару. Он так был добр, что все нам доставил. Между тем является наш Фридрих и говорит, что они с братом по причине сильного ветра не могли переправиться на ту сторону. Я очень была рада, что имею хотя одного человека, послала его тотчас в трактир заготовить нам обед. Он нам приносит 7 блюд очень вкусно приготовленные, и каждого блюда было на две персоны и стало на пять рублей.

Я не чаяла в этот день видеть Ив<ана> Кар<ловича>, но вдруг слышу в сенях стук, и он входит в комнату, я велела подать чаю, потом он поужинал и мы легли спать. На другой день я удивилась скорой перемене погоды, ветер совсем утих,

солнце сияло во всем пространстве. Нам дали знать, что рота наша давно уже переправилась, и Иван Карлович уехал к берегу, а я с Амалией Ива<новной> отправилась в лавки, чтобы купить разную провизию к дороге. Я нашла большую разницу в цене с прочими городами: сахар, кофий, дорогие только апельсины.

Утром Иван Кар<лович> оделся, чтобы с артиллеристами явиться к генералу Богуславскому, о котором я прежде слыхала. Офицеры собрались; после обеда я встретила нашего хозяина Касиянова, он мне сказал: «Вечером придет посидеть с нами»; после мы поехали к старой моей знакомой Варваре Ив<ановне> Грубе, но потом я заехала к Драгневичевой, но видела, что ставни у ней закрыты, и нам сказали, что она поехала в деревню к Раздориной. Мы вернулись домой, Касиянов посидел с нами, а я потом письма заготовляла к завтрему, и тем кончился день.

На другой день утром уложились совсем. Иван Кар<лович> поехал, чтоб провести роту во всем параде через город и между тем показать ее Богуславскому, который желал очень ее видеть. Я узнала, что смотр будет на площади перед собором, только мы в двух экипажах (я с Сашей, а Амалья Ив<ановна> с детьми) в большой карете поехали и остановились возле церкви – я видела, что служат обедню, пошла в церковь, удивилась, что церковь так велика, прекрасно выстроена, а иконостас так стар и беден, и живописи так мало, стены в нем, людей тоже было мало, только были те, которые говеют. Увидевши, что рота приближается, я села в карету. Время было бесподобное, истинная весна. Тут начали приезжать в каретах, колясках и теснились на эту площадь. Потом прибыл Богуславский верхом. Рота начала проходить тихим шагом, потом скорым маршем вокруг площади. Зрителей было очень много, около моего дормеза много всяких дам, я узнала только одну Гельфрейнову, из мужчин только подошел ко мне Толстой, которого я испугалась и, верно, не узнала бы, если бы Пожидор мне не сказал: «Несчастный в нищете, одет точно нищий». Мне жаль его жену и детей. Потом я видела, что рота пошла уж в улицу по надлежащей нам дороге. Проехавши нашу квартиру, последние экипажи выехали, Богуславский провожал роту за шлагбаум и там простился с Ив<аном> Кар<ловичем>, изъявлял свою

благодарность за сделанную ему честь сладким поцелуем и жатием руки, сделал мне низкий поклон и уехал. Иван Кар<лович> отпустил некоторых офицеров в город, сам подъехал к ближайшему трактиру, велел дать солдатам по рюмке, сам выпил стакан, и мы пустились далее.

23 февраля. Вышли мы из Кременчуга, шли по прекрасной прямой дороге, где по обеим сторонам виднелись беспрестанно деревни, везде церкви. Сделавши 20 верст, пришли в местечко, называемое *Омельянов.* Оно пребольшое, три церкви; так как его считали казенным, то я полагала, что мы остановимся у какого-нибудь попа или богатого мужика – напротив, нас подвезли к господскому нарядному дому. Вошедши, я увидела и диваны и картины, но никто из хозяев не показывался, кроме двух женщин, которые нам сказали, что их господин – отставной майор, старик, вдов и без детей, но что они все уехали в Кременчуг. По обыкновению обедали. Я полагала, что здесь будет дневка, однако на другой день мы должны были выехать. Отъехавши две версты, мы должны были сделать маленькую переправу через реку *Псел* на двух паромах; наши экипажи переправились, и мы, не дождавшись, поехали в назначенную нам квартиру *Пески*, стоящую на почтовой Полтавской дороге, поэтому мы смело ехали без провожатого, никого не спрашивая, надеясь на почтовую дорогу. Ехавши, я увидела по левой стороне большое селение: на пребольшой горе была церковь, а внизу большой дом каменный, в два этажа, крыша, выкрашенная зеленым цветом. Я прежде полагала, что это *Демидовка,* в которой я была 12 лет тому назад, но потом хорошенько рассмотрела и узнала, что это *Манжель,* деревня Николая Васильевича Капниста. Я тут представила себе живо то время, когда я здесь была почти ребенком, и все припоминала, как сидела в лесу, как бегала по горе, все это припоминала с великой приятностью – а между тем все ехали далее и, наконец, уже потеряли из виду сии прелестные места. Я спросила, где село *Пески,* нам ответили, что давно оставили за собой, и русский мужик нам сказал, что Пески разделяются от Манжели одной рекой. Принуждены были воротиться, отъехавши назад верст 6-ть, увидели в стороне дорогу, которая привела нас в *Пески.* Здесь мы имели дневку. На другой день, это было воскресение 25 числа, и я ходила к обедне. Оставивши Кременчуг, я

не переставала искать средства поехать к Петру Васильевичу Капнисту, наконец хотела ему писать, но и это не знала, каким образом сделать, как случай доставил мне это удовольствие. Куплено было сено, и мужик просил очень дорого. Иван Кар<лович> велел призвать мужика, чтобы с ним поторговаться, спрашивал, чей он. Он говорит, что с Манжели Капниста и что сено господское; я сказала, что мне нужно отправить письмо Петру Вас<ильевичу>, он мне отвечал: «Извольте написать, я отправлю с нарочным». Я весьма была рада и дала ему письмо.

На другой день вышли далее, день был настоящий весенний, мы проехали здесь одну прекрасную деревню, где выстроен дом, и весь двор очень хорошо, потом проехали деревню *Хорошки,* принадлежащую знакомому нашему Маслову, а другая половина – Сушковой. Приближаясь к назначенной для нас деревне Буняковке, мне сказали в *Песках,* что она принадлежит одной девице Остроградской и что там очень большой дом, то я и рассчитывала, что мы будем у ней квартировать. Нас везли прямо к ней на двор, однако к какому-то старому флигелю, где Иван Карлович нас ожидал и встретил нас тем, что сия целомудренная девица не хотела нас впустить, но Ив<ан> Кар<лович> велел насильно отпереть вороты и занял этот флигель. Она сказалась больной. Мы очень хорошо тут пообедали и ночевали и сидели все на дворе, пользуясь бесподобным временем. Церковь у нас была в виду в нескольких шагах, я решила идти к вечерне, но узнала, что в ней никогда не служат, что доказывает хорошую хозяйку, да и видно, что хозяйка очень приветлива.

27 числа пошли мы к *Решетиловке,* время казалось всякий день лучше, но грязь все была более, так что совершенно ехали самым тихим шагом. Но не доезжая Решетиловки, квартирмейстер нас встретил тем, что не ехать туда по причине сильной воды, и потому мы должны поворотить на селение, называемое *Чернега.* Я только жалела, что не видела того места, которое славится выделыванием смушек наподобие крымских. Не доезжая до Чернеги, мне говорят, что прекрасная наша канареечка вылетела из клетки и летает по степи; все наши люди побежали за ней, но она долго нас мучила, летая с места на место. Я уже была в отчаянии, тем более, что Ивана Кар<ловича>

это бы огорчило, он всегда ею любовался, но наш добрый кузнец Абдулла ее поймал. Все люди из Адамовки, которые так усердны, что раб всегда готов служить.

Здесь мы имели квартиру у мужика очень богатого. На другой день рано утром велела подать кофий, который нам принесла Татьяна. На вопрос, зачем не Пелагея, которая всегда одна варила, нам сказали, что она больна. Я тотчас догадалась, что время пришло ей родить, ее отвели в другую избу. Я не знала, что мне начать делать, ибо мы были совсем готовы выехать. Перед нами был переход в 20-ти верстах, я же знала, что там будет дневка. Но Татьяна приходит и говорит, что она уже родила девочку, очень скоро и благополучно. Я удивлялась, как бог милостив, что он, видно, покровительствует этих мерзких, но при том несчастных тварей. Я после начала хлопотать, как бы избавиться ее ребенка, но все сделать скоро, ибо рота ушла. Экипажи все мы отправили, оставя только дормез и коляску. Мне сказали, что есть молодая женщина, которая согласится ее взять. Ее привела старуха мать, обе тотчас согласились, она просила 200 р., чтобы дала на бедность, и я дала 135 р., а Пелагею хорошо управили, положили в коляску, и мы поехали. Иван Кар<лович> мой *(все знают, что он ваш)* был верхом впереди на полверсты от нас; мы выехали опять на большую почтовую дорогу. Не доезжая до места, мы обогнали все наши экипажи, так тихо они ехали, как вдруг Абдулка говорит мне, что на косогоре опрокинута была карета. К счастью, дети не ушиблись, только испугались, но карету очень испортили, т. е. кузов на одну сторону раскололо. Натурально я ужасно испугалась и досадовала, конечно, более на кучера и на Ив<ана> Кар<ловича> за то, что, не знавши кучера, поверил ему экипаж с детьми.

Приехавши в селение Супруновка, Иван Кар<лович> встретил меня тем, что какое несчастие, тут я с ним немного поспорила, мне так было больно и досадно, что я весь вечер проплакала. Бедная Амалья Ив<ановна> ушибла себе руку, а более, я думаю, испугалась, легла в постель, я велела натереть ее водкой с мылом, и она уснула. Здесь мы имели дневку, я рада была за Амалью Ив<ановну>. Карету починил кузнец кое-как,

а я скроила темного ситцу коптырь[161]. Квартира наша была очень нехороша, даром что у малороссийского помещика. Иван Кар<лович> почти насильно отвел нам две комнаты. Я никогда не думала, что малороссияне так негостеприимны, грубы, скупы как помещики и, одним словом сказать, гораздо хуже поляков. Я очень была рада, выехавши рано с этой деревни. Погода была прекрасная, а как мы были 8 верст от Полтавы, скоро пришли туда, но не остановились, а только прошли мимо. Я не могла рассмотреть, но часть города, где мы проходили, мне очень понравилась, тут я видела монумент в память победы над шведами *(если вы встречаете хохла и не знаете, с виткиля? Если из Чернигова, он скажет – с Чернигова завзятый, если из Полтавы* – с *пид монумента).* Вокруг нас было прекрасно, дома в два этажа, должно быть присутственные места. Тут я остановилась разменять деньги, пока рота не дошла. Нам должно было с прекрутой горы спуститься, и мы все вышли с карет: на левой стороне церковь была окружена большим строением и лесом. Я догадалась, что должен быть монастырь, и спросила у проходящей женщины. Это точно был мужской Крестовоздвиженский монастырь. С этой стороны смотреть снизу на Полтаву, вид совершенно очаровательный; тут виден дом Кочубея, о котором я столько слышала, – сад должен быть в аглицком вкусе, не засеянные аллеи, а как будто густой лес. Это Диканька, виден был дом и беседка в саду. Спустившись с горы, мы проехали четверть версты, как должны были переехать реку Ворскла, которая в сие время разлилась от Полтавы до местечка *Требы,* разлилась, я думаю, версты три, мы местами ее ехали по грязи, а местами водою, которая в иных местах так была глубока, что покрывала изрядные камни; как никак все благополучно переехали. Проехавши эти Требы, затем была прекрасная дорога лесом, и дорога так суха и гладка, как бы в комнате. Я беспокоилась только за Ивана Кар<ловича>, чтобы он не простудился (не *беспокойтесь, он прожил до 85 лет, а вас похоронил 35-ти лет),* я велела в лесу остановить, а сама вышла погулять, я видела, что он прислал солдата с дрожками, и мне сказали, что он остановился

[161] Мешок для защиты от комаров.

у трактира, велел всем солдатам дать по рюмке водки, а сам хочет сесть на дрожки, и мы поехали к деревне, называемой *Параскеевка,* там расположена была рота, а нам отвели квартиру в одного помещика Магденко. Неподалеку нас встретил хозяин и хозяйка, оба во всей форме малороссы *(отчего такое презрение к ним, кажется, в Грамаклее вы были чистая хохлачка, и говорите и пишете как хохлачка),* но в их домике все было чисто и порядочно. Они отдали нам две комнаты и приняли нас точно как гостей, подчивали кофеем, чаем, вареньем, однако прием их не заставил нас переменить дурное мнение об малороссийских жителях, считал же наш квартирмейстер *Жданов (Аркадий его любил и называл Басбуком*), что не деньги их портят; я не знаю, за что они нас так угащивали, не за то ли, что Ив<ан> Кар<лович> сказал, что с одним Магденком он был друг и, кажется, наш был родня, а я сказала, что матушка моя из Полтавской губернии, также ей напомнила об Шмаковой: она мне сказала, что они приятельницы. Здесь я не ожидала такого удовольствия, получивши два письма, оба от Астромовой (*она была рожденная Лахман, их было три красивых еврейки: Юля была компаньонка Марьи Антоновны и вышла за Кириченко-Астромова. Она была православная, а сын ее иезуит и живет в Брюсселе. Иезуит Гагарин говорил мне, что он помешан*), а Ивану Кар<ловичу> от брата Александра; оба пишут, что ожидают нас с нетерпением. Я тоже должна была писать нужные письма и писала до 12-ти часов, когда все вокруг меня спало. Я просила хозяина отправить в Полтаву, и он мне дал об этом слово, и мы поехали 3-го марта. Переход наш был довольно велик, 30 верст, но я полагала ехать до деревни графа Кочубея, называемой *Гутово,* деревня очень велика и хороша, но нет ни господского, <ни управительского> дома, но управительский домик изрядный, где мы остановились. Услышав, что звонят в церковь, и как то была суббота и звонят к службе, пошла было, но пришедши в церковь, узнала, что звонят по умершим, а через час только будут звонить к вечерне, я воротилась, пили чай и все легли спать. На другой день рано отправились в местечко *Калинов* в 15 верстах от *Гутова.* Местечко довольно обширное и жители, видно, сильно зажиточные; оно принадлежит уже Харьковской губ<ернии>, мы

здесь останавливались у одного поселянина на дневку, я была довольна, ибо сумела кончить свой капот, после делала шляпку, продолжала писать свои журнал, в котором я была назади несколько дней. Завтра мы отправились в село *Кавега,* довольно пространное, местоположение прекрасное, почти все в садах, и жители, видно, весьма достаточные. Не добравшись верст пять от *Кавега,* мы неподалеку от имения графа Д'Олона, называемое *Ливенделовка,* которое он получил за женой и в котором жила ее мать Мартынова, сама всегда жила; мне сказали, что он теперь в отпуску и живет с нею в самом Харькове. Нам в Кавеге отвели квартиру в одной вдовы, изрядные две комнаты, и мы, по обыкновению, обедали с офицерством и легли спать, только и перебыли, что видели самую квартиру и разные виды. Из Кавег пришли мы в местечко Люботин в 30-ти верстах, переход довольно был велик, остановились в одной помещицы, но дом ее весьма сиротский, нечистая мебель вся старая, и хозяйка была очень неопрятная, хотя была со мной очень вежлива. После обеда принесла мне кислых яблок, которые я очень люблю. Здесь я должна была разлучиться на несколько дней с Иваном Кар<ловичем>, чтобы ехать на почтовых до Харькова, мне есть там надобность делать покупки, и после обеда поехала с детьми и Амальей Ив<ановной>. Хоть несколько часов, но мне грустно было расставаться с Иваном Кар<ловичем> (вот *полюбился сатана, лучше ясного сокола).* Однакож день был прекрасный и как от *Люботина* до <Харькова> остается только 18 верст, то мы полагали, что засветло туда приедем. Дорога хотя и сухая, была по большей части пески, была причиной, что мы опоздали. Прибыли в 7-м или 8-м часу. По дороге в Харьков мы беспрестанно проезжали, или в стороне, большие и зажиточные деревни, а в 12-ти верстах от Харькова проехали мимо бесподобного монастыря, в лесу строение, место чудесное; прежде, увидя только церковь и дом, а внизу несколько мужицких изб, я и полагала, что это дача какого-нибудь богача, но потом, видя еще две церкви, одна возле другой, и много строения, похожего на монастырь, тут приехал мужик, я спросила его, кому это принадлежит, но он, видно, меня не понял и сказал, что все это принадлежит богатому купцу, который живет в Харькове. После я узнала, что это

монастырь, но не могла узнать, какой (*Святые горы, основанный Татьяной Борисовной Потемкиной*). Проехавши немного городом, я велела спрашивать хорошего трактира, где бы можно иметь хороший обед, ужин и корм для лошадей, но сначала наши вопросы были неудачны, все попадались нам женщины, которые шли в церковь, которая была освещена и отправлялись поклонные вечерни. Наконец один русский мужик взялся охотно проводить нас в, по его мнению, самый лучший *Оберст.* Я послала человека вызвать трактирщика, вместо которого пришла трактирщица и рекомендует нам постоялый двор русского купца напротив, а наше кушанье мы можем иметь у нее. Я очень была рада, ибо я не терплю трактиров, мы приехали к доброму русскому купцу, который отвел нам две комнаты во втором этаже изрядные, все прочие были заняты проезжающими. Для нас согрели самовар. Мы пили чай и легли спать. Я с нетерпением дожидалась рассвета, который нас соединит с Иваном Кар<ловичем>. Все располагала, что надо купить, заказала обед, велела купить хлеба, который здесь очень хорош, а за обед за пять блюд по три рубли с персоны я нашла очень дорого. Квартира наша была на большой улице, где беспрестанно проезжали разного классу люди, и все больше военные, и по различным мундирам видно было, что из разных полков. Я увидела наш обоз, потом лазарет, я обрадовалась, полагая, что рота должна быть близко, но после этого еще я вижу, что наш доктор Багулевич идет мимо нашей квартиры. Я наверное знала, что он нас ищет, послала к нему. Он пришел и вдруг меня испугал, сказавши, что Иван Кар<лович> ехал на дрожках, ось сломалась и лошади понесли, и он соскочил без всякого вреда, а Ивана Кар<ловича> понесли далее, но, к счастью, остановились, и он без всякого вреда соскочил с дрожек, едет верхом, а рота еще оставалась позади. Наконец Ив<ан> Кар<лович> подъезжает к дому бодр и весел. Рассказал, что при въезде в город повстречал графа Д'Олона, что он его узнал, тоже помнит меня и обещал быть тот же вечер у нас. Я было хотела съездить в лавки, но пришедшие гости, знакомые Ив<ана> Кар<ловича>, помешали. Первый – полковник *Граббе (почище Ивана Карловича),* прекрасный молодой человек, потом другие, а теперь и родной Пузанов, родной брат тому,

который женат на Драгневичевой, человек он не дурак, но собою не авантажен, а бакенбарды его ужасны, но он удивительно как полюбил нас, точно как родной с нами обедал и во все время нас не оставлял *(Этот должен был быть вроде Ноздрева).* Прошли другие все артиллеристы, наконец показалась наша рота, все пошли смотреть, как она прошла мимо города в селение, называемое *Даниловка,* расстоянием в 10-ти верстах от Харькова, а мы весь тот день оставались в Харькове, с нами обедал *Ган,* адъютант графа *Палена.* После обеда я поехала с Амальей Ив<ановной> в лавки. Цены в разных продуктах никакой разницы с Кременчугом, хотя лавок здесь изобильнее. Улицы сухи, не так грязны, как в Полтаве. Мне очень хвалили магазин *Витковского* и что там можно все найтить. Правда, есть довольно хорошие вещи, как то: фарфор, хрусталь, и все почти петербургской фабрики, бриллиантовые фермуары, но то, что нам нужно было, не нашли, и потому купили только на 100 рублей. Потом я ездила с Иваном Кар<ловичем> в Спассков трактир, где продаются самые лучшие водки, ликеры и вина. Мы велели позвать хозяина, он приходит, и я узнаю в нем одесского, бывшего в Андросовой лавке. Он нам сказал, что отец его – содержатель трактира. Мы велели ему принести к нам на квартиру водки. Мы у него много купили, и он, ради моего знакомства, уступил на каждой бутылке по рублю дешевле. На другой день мы расположились рано выехать, но нас задержали письма, которые мы должны были писать в Херсон *(вероятно, чтобы взять из нашего капитала 300 000, что нам принадлежит)* и доверенность засвидетельствовать того же утра. Того ж утра приехал к нам граф Д'Олон. Я нашла, что он похудел, кажется авантажнее прежнего, а более, я думаю, генеральские эполеты и ордена. Он также и мне пофлятировал[162], сказал, что я ничего не переменилась. Клеминьку он нашел, что он очень похож на покойного (а *кто был покойный – разве вы подавились бы, сказавши: отца?),* просил нас остаться этот день и быть у него, но мы учтивым образом отговорились *(еще бы, что делать Арнольди у порядочного человека).* К нам опять пришел Пузанов (*вот это каналья по нем, воображаю, что это*

[162] От *фр.* flatter – льстить.

была чисто гоголевская фигура), который с нами не расставался, проводил нас в карету, был уже 3-й час.

9 марта оставили мы Харьков, на ночь приехали в Даниловку. Квартиру имели в маленьком господском доме. По обыкновению все было одно. Мой Иван Кар<лович> пошел в баню, а я пошла спать. На другой день погода была очень дурная, туман, дорога тоже была очень дурная, сыпется снег сверху, а внизу вода. Мы уже отсюда должны были взять дорогу, противную маршруту и иттить на Белгород по причине разлития реки, называемой Донец, в Волчанске, и хотя мы шли по Белгородской почтовой дороге, но с затруднением переезжали мелкие лощины, и все почти ехали шагом, потому нам переход до деревни *Черемошни* показался в 30 верст, а не более было 25. Деревня Черемошня летом показалась бы нам раем, ибо вся расположена между горами и небом, но по причине дурной дороги спуск с престрашных гор показался нам адом. Мы доехали до нашей квартиры, и я нашла уже, что мой Иван Кар<лович> (*даже наши все знают, что он ваш, когда им делитесь с Марийкой, Наташкой и Филипповной)* сидит с хозяйкою, изрядная, хотя и худая фигура, она нам отдала три комнаты. Переночевавши здесь, на другой день мы рано пустились в путь по такой же песчаной дороге. Погода все была пасмурная и туман, но приближаясь к Белгороду, начинала переменяться, показалось солнце, и с горы мы увидели прекрасный Белгород, который, казалось, наполнен церквами и монастырями, и я от любопытства насчитала 13 церквей. Тут мы должны были спуститься с большой горы. Иван Кар<лович> прислал нам солдат навстречу, чтобы осторожнее спуститься с горы, и мы очень хорошо переехали через грязный мост. Мы остановились в доме русского купца против девичьего монастыря. Я тотчас спросила хозяйку, где жила грузинская царица, она мне сказала, что здесь, в этом монастыре, в котором также находится Корсунская божья матерь. На углу монастыря была маленькая часовня, и я видела монахиню с колокольчиком, она собирала на церковь. Я пошла к ней и спросила, кто у них игуменья, она мне сказала, что игуменья очень рада, если ее навещают, и что у них делают прекрасные ковры, я ей сказала, что приду к вечерне и зайду к игуменье. Тут я узнала, что в соборе лежит св. Иоасаф, которому тоже служат *панифиды,* и он многих

излечивал. Итак вечером я пошла к вечерне, которая служилась в маленькой теплой церкви, которая уже этой игуменьей построена, с того дому, где жила грузинская царица. После вечерни я пошла к игуменье; она очень ласково приняла меня, расспрашивала меня обо всем и удовлетворяла мои вопросы касательно их образа жизни. Она живет не пышно, но чисто и порядочно, показывала мне образа, которые вышивает фольгой, и девушки, которые ткут ковры совсем иначе, чем те, которые в наших местах работают. Один мне очень понравился, я просила ее прислать к соседу, он направит Ивану Кар<ловичу>, мы его купим. Она прислала, и мы заплатили 100 р., кажется, недорого. Так здесь была дневка, время было прекрасное, теплое, мы ходили с Амальей Ив<ановной> в собор, отслужили панихиду, прикладывались, и я видела лицо и руки, как у живого, только что высохшие и черные. Меня какой-то невольный страх объял. Священник дал мне немного хлопчатой бумаги, которой он обтер лицо и руки. Отсель пошли мы в монастырь слушать часы, ибо то был вторник. Выслушавши часы, игуменья пригласила нас к себе на завтрак, и мы с ней занялись. Мы увидели, что Иван Кар<лович> с братом Осипом Кар<ловичем> и с доктором приближался, и мы поняли, что время обедать. После обеда занялись обыкновенным нашим провождением времени, а Иван Кар<лович> всегда хлопочет: одно купить, другое починить, отдает разные приказания по службе *(точно Наполеон*), в забирании также фуража, подвод и пр.

На другой день поехали в деревню *Шляхово,* здесь в первый раз увидела я курные избы, точно курятники. Для нас нашли одну с печкой, но вся она черная, не вымощенная, только всего два окошка и темно, но я была рада, что не видели тараканов. Мы только переночевали, а на другой день зашли в деревню *Новослободка,* все такие же курные избы. Русские люди, женский костюм – носят на голове род повойника, но сверху покрывается полотенцем, но народ кажется очень беден, одеты точно нищие, хотя видим в них довольно хлеба. В этой слободе отвели нам квартиру у священника, здесь мы только переночевали; на другой день, вставши рано утром, узнали, что вечером, когда мы были уже в объятиях Морфея, приехал к нам полковник *Мазараки,* приятель и бывший

под командой Ивана Кар<ловича>. Так как он со своей ротой стоит в местечке *Корина* в 13-ти верстах, которое мы должны проходить тот день, Иван Кар<лович> мой был очень рад его видеть, он мне сказал приятное известие, что только четыре дня он был в Курске и видел брата Митеньку и что он послал к нему нарочного сказать о нашем приезде. И так я опять поехала: ночлег был у одного помещика Сушкова, я была в вечере, но везде у него грязь и скука, и я рада была, когда оставила его жилище. Я приехала в *Старый Оскол,* который довольно просторный, в нем есть прекрасные дома, много лавок; мы стали в прекрасном купеческом доме, тут нам была дневка, и как от Старого Оскола до Воронежа не более 120 верст, это была уже последняя неделя поста, мне казалось, что я сумею там говеть, притом же мне Иван Кар<лович> советовал с уверением, что, по его расчету, он приобщится в 10 верстах от Воронежа в первый день Христова Воскресения и что он может приехать ко мне в первый день праздника. Хотя я долго колебалась, но при всем том решилась ехать в дормезе с Сашенькой, девкой и человеком, взяла подорожную на 6-ть лошадей. Иван Кар<лович> меня провожал до реки *Оскола,* которую должно было тут же в городе переезжать. В сухое время переезжают через мост, но теперь поверх моста была вода по брюхо лошадям, и как была маленькая опасность, то мне советовали переехать в лодочке, такой маленькой, что лишь я с Сашенькой могли сесть. Исправник сам был моим лоцманом, мы переехали очень хорошо, также и экипаж. Иван Кар<лович> переехал на ту сторону и тут же со мной простился. Мне было очень грустно, но утешала мысль, что я до первой станции имела бесподобную дорогу, и я полагала, что так будет продолжаться до Воронежа. Меня на станции подвезли к курной избе, вышли русские ямщики, собираются запрягать; я спрашиваю, кто здесь хозяин, записывать подорожную; мне отвечают: мы все хозяева, и подорожную не нужно записывать. Меня этот ответ удивил, и я просила скорее закладывать, но они начали мне отсоветывать ехать против ночи, что было уже 5 часов пополудни, уверяли меня, что дорога далее очень дурна. Я им не хотела верить и потому велела непременно запрягать. Когда все было готово, я видела, что на козлы сел 15-летний мальчик, а форейтор немного старее его. Я хотела переменить, но они сказали,

что по череде им досталось. Не успели проехать полверсты, увидели, что снег показывается, и чем далее мы ехали, тем более находили снегу, так что отъехавши три версты, карета остановилась в снегу, и сколько ни было лошадей, никак вытащить не могли. Я принуждена была послать своего человека верхом, чтобы он привел людей нас вытащить и пару лошадей; между тем наступила ночь, но, к счастию, были светлые ночи, и месяц сделался довольно велик. С нетерпением я ожидала, я думаю – час, возвращения человека. Наконец, он привел двух лошадей и людей, которые с помощью друков <вытащили>, и еще взяли двух провожатых до будущей станции. Мы проехали всю ночь; не доезжая до станции, провожатые стали просить, чтобы и их переменить, что они прозябли, а как я сама очень устала, и жалко мне было своего человека, он почти всю станцию шел пешком, то я и велела заехать в избу самую лучшую. Хотела там отдохнуть до света; вошедши в избу, я испугалась, нашедши ее грязною, и горящая лучина, от которой был дым и угар. И так я уговорила Сашеньку здесь остаться с девкой, а сама пошла в корчму, где уснула немного, ибо вскоре начало светать, и мы со светом пустились в путь по весьма дурной дороге к городу, называемому Новодевицк, не доезжая коего версты три, на пребольшой горе, остановились лошади, коих было десять. Мы здесь стояли с час, и я хотела послать в город за людьми, но, к счастью, подъехал наш солдат, который был прежде послан за справками в Девицк. Он нам помог взъехать в гору, и я боялась, чтобы он не напугал Ивана Кар<ловича>, написала ему записку карандашом и поехала прямо на почту, где переменила лошадей и, напившись чаю, тот же час поехала далее, полагая тот же день быть в Воронеже, но со мной исполнилась старая пословица: l'homme propose et Dieu dispose[163]. Проехавши версты четыре, опять заехали в такой снег, что одно колесо почти до половины было покрыто снегом. Как ни придумывали, как бы нам выехать, вдруг является солдат, проходящий мимо, подходит, начинает с большим усердием вытаскивать карету. Я спрашиваю, какого полка, и узнаю, что даже артиллерийский, идет в отпуск в Воронеж. Я удивилась его усердию, а он почти один поднимал карету, пот лил ручьями

[163] Человек предполагает, а Бог располагает.

с его лица, и точно бы можно с помощью вытащить восемь лошадей, но ямщики были такие мерзкие, не хотя принимать, жалея своих трудов, и потому все оставалось на одном месте. Потом подъехало много извозчиков, их просила нам помогать, в чем отказа не было, и начали тащить, я думаю, 20 человек, но и тут ничего не сделали, даже с места не стронули, но бог послал нам помощь. Исправник, проезжая для встречи роты, подъехал ко мне, просил не беспокоиться, видел, что вперед нельзя вытащить, велел подать назад, и тогда уже вытащили, запрягли лошадей и поехали через другой переезд (*теперь, при железных дорогах, и во сне не приснится такое происшествие*). Я очень благодарна была исправнику, но тут уже потеряла надежду быть тот день в Воронеже. Приехавши в селение Турово также прямо на почту, нашла смотрителя и узнала, что до Воронежа надобно переехать *Дон* на пароме, расстоянием от Воронежа в 10 верстах, да от *Турова до* переезда верст 30, хотя здесь версты меньше наших, здесь почти саженные, а у нас семисаженные. Однако было уже 6 часов пополудни, потому я осталась здесь ночевать. Меня было хотели везти к священнику, но как это было далеко от почты, не поехала, хотела ночевать на станции, но карета не подошла в ворота, а здесь обыкновенно, что каждый мужик имеет крытые ворота. Против почты я видела у мужика довольно высокие, велела вымерить и очень была рада, что карета могла ехать на двор. Хотя мне говорили, что изба курная, мне это не помеха и я нашла очень доброе семейство и довольно чисто. Хотя в избе были полати, но для меня их стащили на двор, и я нашла две чистые лавки, где велела сделать постель себе и Сашеньке. Вечером не велела топить, а вместо их лучинушки зажгла свою восковую свечу и этим услужила хозяйке, ибо она всю ночь просидела у свечи, поспешая к празднику шить рубахи, любовалась, что горит свеча, да еще восковая. А муж ее, старуха мать и дети, все влезли на полати и там ночевали. Я удивлялась, как они могли вынести такой жар. Внизу была такая теплота, что я открыла возле себя деревянное окно без стекла. Я удивлялась простоте этих людей, точно дикий народ! Все, что видели у меня, всему удивлялись. Я подарила ее дитяти шелковый платочек, она так была рада, точно помешанная сделалась, кланялась, на знала как меня благодарить. Наречие их такое странное, особливо

женщин, что я и мало понимала. На другой день, напившись горячего, поехали мы далее. Одно воображение, что через несколько часов я буду в Воронеже, меня восхищало, я начинала уже забывать ужасные беспокойства, страх, все претерпеваемые мучения, при том же и дорога была лучше. Беспокоила меня еще река *Дон* в деревне *Самолуки.* Подъезжая к берегу, не видела на той стороне ни деревни, ни почтового двора, спрашивала здесь, где я там возьму лошадей, мне сказали, что надо на сей стороне взять *обывательских,* с ними переехать и они доедут до Воронежа. Итак, я послала отыскать старосту, велела ему собрать лошадей, а сама поехала к берегу. Река была очень узка и вода была чиста от льду, но меня уверили, что они замечают по воде, что скоро должен иттить лед, и тогда нельзя будет переехать, и потому я очень поспешила и, благодаря бога, мне не было тут остановки, переехала очень хорошо на пароме и поехала по прекрасной и сухой дороге к Воронежу, который издали был уже виден *(читая, вероятно многие из них не читали Геродота: он, вероятно, видел какое-нибудь селение и спросил, как название; ему сказали, но притащили ворону – он в своем любопытном путешествии у скифов назвал это место Ворона, а ныне Воронеж*). Приехали в город, я велела везти нас прямо к приятельнице своей Астромовой; ее муж там при должности губернского прокурора. К счастью, ямщик знал его квартиру. Проехавши небольшую улицу, он повернул влево и подвез меня к весьма хорошему двухэтажному дому. Взглянувши на свою любезную *Julie,* которая, по всему обыкновению, смотрела в лорнет, я не помню, как взбежала на лестницу и бросилась к ней на шею, она тоже обнимала с дружеским восторгом. Я нашла в ней большую перемену, она была желта, худа, причина сему была лихорадка, продолжавшаяся уже два месяца; она также нашла во мне некоторые перемены. Мужа ее не было дома, дети ее меня узнали. Она не знала, чем нас угостить. Они были после обеда, но она приказала сделать мне маленький постный обед, ибо была страстная пятница; сама она ничего не ела в тот день, дабы Господь избавил ее от лихорадки, и тот день она ожидала, но ее не было. Провели вечер очень приятно в разговорах. Хотя для нас была приготовлена комната внизу, но она не хотела отпустить меня одну

до приезда Ивана Кар<ловича> и детей, и мне приготовлена была постель в гостинной, и Сашенька тоже со мной.

На другой день поутру я ездила в церковь приложиться к плащанице и была все очень весела в надежде, что увижу Ивана Кар<ловича> и детей в первый день праздника, как вдруг приходит человек и говорит, что меня спрашивает офицер. Я вышла в залу, нашла там точно офицера *Лихачова,* он приехал с Усмани нас здесь встретить. Я была очень рада, когда он мне сказал, что сейчас едет далее, дабы найтить роту, и так, поговорив с ним об наших новых квартирах, не удерживала его более. На другой день, светлое воскресение, вставши рано, я со Астромовыми поехала в церковь их прихода, не хотела ехать в собор, полагая, что здесь меньше будет народу, тем менее еще чиновников, но мы ошиблись: как тех, так и других была куча, теснота страшная, но мы стояли в таком месте, что нас не беспокоило, ранее других уехали домой, где любезной хозяйкой приготовлен был завтрак и кофий, все, что кто хотел. Но я не долго была весела. Явился опять наш Лихачов и сказал, что он вернулся, потому что никак нельзя переехать через *Дон,* по которому идет большой лед, что рота не пришла еще к берегу. Нечего было делать, как иметь терпение. Астромова пригласила нашего офицера обедать. Все утро приезжали с визитами, и по множеству экипажей я могла заключить о величине города; тут я нашла старого знакомого и мне по родне свояка, пастора *Вебера:* брат мой Шмаков женился на родной сестрице. Потом я видела много мужчин, в том числе губернатора, который в разговоре между прочим говорил, что ждет 17-ую конную роту, но река *Дон* так разлилась, что навряд ли через неделю может переехать, что меня очень огорчило. Я полагала, что губернатор, верно, известнее всех, так как он обязан споспешествовать в переходе войск: между тем время было бесподобное, солнце сияло, было тепло, и я не могла понять, отчего и откуда лед взялся. Офицер наш меня успокоил, что послал солдата проведать, проходит ли рота.

На другой день приезжали многие в дом, и милая Астромова, хоть не так здорова, принимала единственно для меня, чтобы меня развлечь. Познакомила меня короче с любезным семейством *Дебальцевых.* Он и она – препочтенные старики,

имеют трех дочерей: старшая нехороша и ряба, но имеет что-то приятное и очень мила и скромна, вторая недурна собой, а третья – красавица, но ее еще не вывозят. Они екатеринославские помещики, богатые, получают доходы ок<оло> 40 000, но в Воронеже имеют дом и потому живут здесь. В прошлый год они провели 6-ть месяцев в Петербурге, дочери брали уроки у *Фильда* (*Фильд был англичанин и сочинял des nocturnes*[164], *никто не мог играть их, как он их играл. Аист, когда был в Петерб<урге>, играл их на одном концерте. Екатерина Андреевна Карамзина, которая часто слышала Фильда самого, мне сказала, что он несравненно играл лучше Аиста. Я это сказала Аисту, он мне сказал: «Elle est parfaitement raison»*[165], *он предпочитал игру Фильда игре Шопена*), и они профитовали[166]. Это мне сказала Астромова, которая сама большая мастерица. Прочие дамы – порядочные карикатуры, исключая еще одной Шкидановой: прекрасная собою, недавно замужем и со вкусом одета. Еще я видела даму, в которой на фабрике делают шали наподобие турецких, я никогда бы не подумала, что она не настоящая, я, которой так известны турецкие шали. Астромова сказала, что они не будут как турецкие, но лучше, чем купавинские (*купавинские делали у Юсупова. У помещицы Колокольцовой, кажется в Саратовской губернии, ткали шали. У императрицы Александры Феодоровны была пунсовая – ткань совсем особенная, и красная краска особенной красоты. Купавинские шали носили только купчихи).*

На третий день праздника, т. е. 27 марта, я увидела, что наши квартирьеры приехали, потом аптечный ящик; я уже не сомневалась, что рота переправится, потом я вижу, что все наши экипажи проезжают мимо дому, я послала их встретить. Первые приехали дети с Амальей Ив<ановной>. Хотя сказали, что нам отведены квартиры, и Иван Кар<лович> велел прямо туда ехать, но Астромовы не отпустили. Амалья Ив<ановна> сказала, что рота хотя переправляется, но к обеду не поспеет переправиться, и мы обедали, не дождавшись Ивана Кар<ловича>. После обеда мы увидели, что весь народ во всех

---

[164] Ноктюрны.

[165] Она совершенно права.

[166] От *фр.* profiter – извлекать пользу.

углах бежит, и я догадалась, что наша рота идет, и не ошиблась. Рота шла во всем параде, в загородном селении река Воронеж разделяет сии селения. Я узнала, что мой Иван Кар<лович>, проводивши роту, возвращается в назначенную для нас квартиру, велела запрячь карету Астромовой и поехала на квартиру. Не успела приехать, и он встретился; не могу выразить радость, которую я чувствовала *(вы радовались и не знали, что он грешным образом пытался оскорбить вашу дочь, а когда Амалья Ив<ановна> ему сказала, что скажет вам, этот мерзавец ответил: «Я тебя убью, скверная старуха!»), я с* ним тотчас поехала к Астромовым и успела познакомить его с ними; мы ужинали и легли опять внизу *(и тут этот урод опять хотел меня оскорбить, но я убежала к Наташке).*

На другой день дневки Иван Кар<лович> мой ездил к Столыпину и к своему старому знакомому, председателю *Бедряге,* а я была у *Вебера,* мне было очень приятно видеть пасторшу Екатерину Ив<ановну>, она, мне кажется, помолодела, разговор наш был больше о Капнистовых и об моих родных. Вечером приехали Дебальцовы, с ними ужинали и провели время очень приятно. На другой день я должна была <проститься> с милыми Астромовыми, и мы по-прежнему потащились в поход, но дорога была изрядная. Мы еще две ночи ночевали, хотя только 60 верст от Воронежа до Усмани, на третий день в 11 часов приехали в Усмань, но еще за 7 верст были встречены чиновниками и помещиками, которые провожали нас в город, где при вступлении был молебен с пушечной пальбой. Усмань в Тамбовской губернии, в нем не более трех тысяч жителей. Мещане довольно зажиточны, судя по их наряду; женщины носят на голове гарнитуровые платочки всевозможных цветов. В старину попадьи их надевали. Однажды император Александр Пав<лович> встретил в коляске, а попадья была вся в розовом и в модной шляпке, хотел сказать Синоду, чтобы приказали одеваться поскромнее и носить потемнее, но это не состоялось, и ныне даже в деревнях эти дуры носят платья с хвостами и надевают их даже в церковь и не чувствуют, что им к лицу как корове седло. У усманских мещанок рубахи миткалевые, они носят в воскресенья и праздничные дни парчовые душегрейки, ожерелья из безрядных жемчугов, тоже и серьги; зимой эти душегрейки почти до колен и обиты куньим мехом.

Они вообще красивы, но, по несчастью, белятся и сурьмятся, опять-таки зубы их черны. Мужчины носят кафтаны, обитые козьим мехом, летом в накидку на кумачовую рубаху, а зимой – в рукава.

Усмань

Дом, в котором мы жили, был, конечно, о пяти окон: три окна в зале, одно в диванной с дверью на балкон и одно в спальне полковницы и полковника, а за этим была наша комната для Амальи Ив<ановны> и для меня. Этот дом был странно построен: довольно высоко, как будто в два этажа, а, между тем, внизу ничего не было, кроме сплошной деревянной стены. На дворе были две комнаты, которые считались кабинетом Арнольди. Далее на дворе была кухня и огород, а налево от дома сараи и конюшни. Вправо от дома была гауптвахта, налево площадка, на которой был праздничный развод. Против дома была небольшая церковь, в которой никогда не служили, и перед церковью стоял юродивый в белой рубашке, подпоясанный красным кушаком, без шляпы и босой. Если ему бросали деньги, он своей длинной палкой их отбрасывал. Влево от площадки был собор. Братья мои спали в зале на тюфяках, одеяла – еще старые, одесские, парчовые, оранжевые с серебряными цветами. Они утром молились с Фридрихом *«Vater Unser»*[167]. Фридрих приютился в уголке на ночь у самого ватерклозета. А я ложилась с Амальей Ив<ановной>. Полковник обычно делал свой туалет на балконе; раздетый, как Вазари, по пояс, он блевал и утирал себя полотенцем, брызгал, фыркал, щипцами выдергивал волосы из ноздрей, а после этого я должна была нести чай. Вижу теперь эту чашку с крышкой. Я рассказывала Гоголю про его мытье, и он это вывел генералу Бетрищеву, с той разницей, что серебряная. Нам приказано было целовать эту наглую руку, мы прикладывались к ней и громко плакали. Приказано было звать его папенькой. Мы говорили: «Петрушка!» «Что вы сказали?», – спрашивал он гневно. «Мы сказали: *папаша».* Боже, что накипело негодования и злобы в наших детских сердцах! Карленька жил с Марийкой внизу, и его никогда не носили наверх. А он был болен, у него выходила кишка,

[167] Отче наш *(нем.).*

и он был самый кроткий и милый ребенок. Одна наша добрая заступница Амалья Ив<ановна> всякий день к нему ходила. Полковница заставляла меня вышивать по канве шелком и все просто крестом и какой-то странный узор. Я беспрестанно ошибалась. Меня за это ставили в угол. Я к Амалье Ив<ановне> смело ходила, чтобы получить немного кофия, который она сама варила на конфорке и пила с густыми кипячеными <сливками>. Утром нам давали вечное молоко с булкой, а на второй завтрак в 12 часов Арнольди сказал, что довольно с нас пеклеванного. Делали тартины с маслом и редькой: он объявил Амалье Ив<ановне>, что сыр слишком дорог. Иногда Дмитрий посылал нам тайком телятину или холодную говядину.

Я раз слышала ужасный крик у гауптвахты. Несчастный рядовой кричал: «Ваше высокоблагородие, за то, что одна пуговица худо пришита, 500 розог!» Амалья нас увела в сад. Нас водили гулять по усманским улицам, всего была одна длинная влево от дома, проходя мимо окошек капитана Паскевича, который сказал: *«Une moche de chienne»*[168] (его Арнольди назвал за это циником). Перед его окном стояла пьяная Улька, она никогда не шила, но переваливалась с ноги на ногу и была тоже юродивая. Он ей говорил: «Что Улька, брат мой Федор глуп?» – «Глуп, а будет фельдмаршалом». «А я?» – «Ты умен, с неба звезды хватаешь, а будешь вечно капитаном». «А знаешь ли ты, что безногий черт задал рядовому 500 розог за то только, что у него одна пуговица была дурно пришита? Попадись он мне и Бремзену, как бы мы ему с радостью закатили 1000!». Паскевич никогда не был в нашем доме. Бремзен стоял не знаю где со своей батареей, был отличный командир и человек образованный и, конечно, не мог сойтись с неучем, как наш милый отчим.

«Жаль мне деток, – говорила Улька, – ведь он, говорят, грабит и пустит их по миру». Ведь юродивые все знают и видят, что в доме творится. В 5 часов собирались офицеры в залу, где обедали. Он à la tête de la table[169], а возле него его адъютант болван Жданов. Мы на том конце стола с Амальей Ив<ановной>. Арнольди всегда находил случай оставить

---

[168] Букв.: грязная собака (или: грязная скотина).
[169] Во главе стола *(фр.)*.

братьев без пирожного. Если были пирожки с вареньем, Амалья Ив<ановна> тайком их прятала в свой ридикюль, и он их выкрадывал у нее. После обеда запрягали коляску нашими старыми лошадьми, а кучер и форейтор были в каких-то странных армяках, подпоясанные красным кушаком. Мы один день ездили к полковнику Гакебушу, где нас угощали кофием, ягодами. У них росли Оврикулы, которые мы называли звездочки, и пахучий калуфер. Как попал Гакебуш из Одессы в Усмань, мне неизвестно. Они были бездетны и большие приятели Амальи Ив<ановны>. А на другой день мы ездили в лес, где рыжий мужик нам давал прекрасный ржаной хлеб и соты с медом. В лесу мы собирали грибы и ягоды. За обедом полковник рассказывал турусы на колесах о своих воинских доблестях, потом потешался· над Паскевичем и пьяной Улькой, ему Жданов, его лазутчик, все пересказывал <нрзб>. Противный Осип Кар<лович> тоже ко мне приставал. Он был красив и ловок, но очень развратен, женился на какой-то княжне Хованской. Она с горя умерла, а что с ним было, не знаю. Когда и где родился Саша Арнольди, не знаю. Для него наняли рыжую, рябую и гадкую няньку Аннушку. Осенью, когда нельзя было выезжать в коляске, мои братья обязаны были возить Сашу в санках по зале, и не будь Фридриха, они бы его ударили головой о какую-нибудь мебель.

Воскресенье для меня была чистая каторга. Меня завивали, причем маменька беспрестанно повторяла, что я урода, и я ездила с ней в собор, где была сумасшедшая женщина, которой я боялась, и она заставляла меня подавать ей медные пятаки. По возвращении домой приезжал на паре в дрожках хромой городничий Белелюбский поздравить с воскресеньем (это принято в губернских городах, и в Калуге к нам приезжали с поздравлением по чинам), потом стряпчий Баросов, совершенно испитой и вечно в пуху, от него несло сивухой, вечером он играл в бостон, какая-то старуха, которая родня какой-нибудь важной персоны, помещик Прибытков с женой и дочерью, помещик Федоров с женой и десятилетней девчонкой тоже оставались на бостон.

Эти Федоровы были совершенные Маниловы: льстили полковнику и; полковнице самым отвратительным образом. Закатывая глаза к потолку, Федорова говорила: «Какое счастье

для детей ваше второе замужество, что они нашли такого нежного и заботливого отца». На что последовал, конечно, утвердительный ответ, а подлую девчонку мне ставили в пример благодарности и нежной дочерней любви. Мне было так гадко, что я молчала. Верстах в 10 жили помещики Волховские, они были очень горды, потому что были потомки Волховских князей (последняя из княжен Волховских вышла замуж за мещанина этого города). Граф Блудов был тогда министром внутренних дел, она просила помощи у государя, который приказал ей выдать 10 000 асс. Она купила домик и была очень счастлива. Sic transit gloria mundi[170]. У Волховских было две дочери и при них была гувернантка француженка. Она для практики заставляла их играть комедию сочинения m-me Жанлис. Узнавши, что я говорю по-французски, от Волховских приехали звать маменьку погостить у них. Он очень сухо обошелся с Арнольди. Я играла у них в комедии «Les deux colombes»[171]. Рядом с нами жил Петр Ив<анович> Бунин, который звал нас к нему на именины. Петр Ив<анович> показывал Саше, сделанное из бумаги, и на отделке вместо шелку был простой картон. Анна Ив<ановна>, сестра его, была сочинительница очень плохих стихов, и при сей верной оказии писала стихи брату. У них за обедом подавали буженину. Это блюдо совсем позабыто, оно очень вкусно приправлено разными специями по-старинному. Была также маринованная *дрофа,* по-фр<анцузски>, кажется, *outarde,* по моему мнению, прегадкая, полусладкая утка. Было бланманже, красное или полосатое, кроме того пирожное, и пили за здоровье дорогого именинника *цимлянское.* Гакебуш не посещал дом полковника Арнольди.

Вскоре получилось известие, что князь Яшвиль приедет делать смотр 17-й конной артиллерии. Лицо Яшвиля было очень неприятное, что-то суровое и холодное, и он участвовал в страшном убийстве в Михайловском дворце. Ему очистили залу, а братьев перевели вниз. Он остался доволен и прибавил, что надеется, что государь тоже будет доволен, что его на днях ожидают в Борисоглебске, где была батарея Бремзена, которым он был чрезвычайно доволен. Наконец получили известие,

---

[170] Так проходит слава мира *(лат.).*
[171] Две голубки.

что приедет император. Весь дом очистили, выколачивали мебель, обили новым ситцем, выписали провизию из Воронежа на почтовых тройках. Государь и князь Петр Михайлович одни поместились в доме, нас всех перевели вниз. С государем был его камердинер и метрд’отель Миллер, которому служил наш Дмитрий, к счастью, в трезвом виде. Матушка родила за две недели перед тем дочь. Государь изъявил желание ее видеть. Первая комната была завалена подковами, сбруей и прочей дрянью. Не обращая внимания на беспорядок, государь сказал: «Мы с вами старые знакомые, если ваша дочь не крещена, я хочу быть ее крестным отцом и желаю, чтоб ее нарекли Екатериной. Avez-vous quelque chose à me demander»[172]? – «Государь, я озабочена воспитанием детей». – «Вашу дочь я помещу в Екатерининский институт, брат Михаил, как артиллерист, будет платить за нее, а этих молодцов я беру на свой счет в Пажеский корпус: кажется у вас есть еще сын Карл Александр – и его помещу туда же на свой счет». У царских особ особенная память: он не забыл, что обещал герцогу Ришелье нас не оставлять. Я сделала реверанс, а братья низко поклонились. «Vous êtes conditionnés, mes petits jeunes gens, j’espére que vous soyez dignes officiers et serviez avec zèle votre patrie»[173]. Государь выпил чашку зеленого чаю с молоком и отправился отдыхать и обедать. Арнольди не было при его посещении маменьки и не был зван на обед. На другой день был по обыкновению развод, батарея Бремзена пришла и соединилась с батареей Арнольди и стояла лагерем в поле вне города. Городничий Белелюбский всюду скакал во весь дух перед коляской государя, запряженной вороными лошадьми. Александр Пав<лович> любил весьма скорую езду и не терпел ожидать. На одной из польских станций явился маршалка в белых штанах, шелковых чулках и башмаках с пряжками, снял свою треуголку с черным султаном и сказал: «Ваше императорское величество! Польское дворянство имеет честь и проч.» – «Хорошо! Волконский, пора ехать! Форейтор, запрягать!» Маршалка сел на запятки, так что его никто не видел, кроме Ильи, и <проехал> 25 верст по страшной

[172] Хотите ли о чем-либо просить меня?

[173] Вы подготовлены, мои маленькие молодые люди, я надеюсь, что вы будете достойными офицерами и с усердием послужите своему отечеству.

грязи, слез тайком и скрылся. Это мне рассказывал в<еликий> к<нязь> Михаил Павлович и помирал со смеху, воображая забрызганную фигуру маршалки. Вечером был смотр, и матушка взяла меня с собой в коляске. Государь подъехал к ней и сказал несколько самым приятным тоном, он был сердечкин и дамский кавалер, как выражаются губернские барышни. Во время посещения государя я видела в первый раз столовый прибор герцога *Ришелье* (его было 9 пудов, много *vermeil*)[174]. Он мне подарил этот ящик, а мне не досталось даже чайной ложки. Полковник Арнольди был *communard*[175] и находил, что твое – мое, а мое – не твое. Государь был очень доволен батареями, особенно батареей Бремзена, были лошади всех шерстей: вороные, гнедые, рыжие, чалые, саврасые, соловые, пегие.

После его отъезда все пошло старым порядком. Наступила скверная осень. Грязь была такая, что не было возможности выходить. После уроков с Амальей Ив<ановной> по ее серой немецкой книге мы сидели, как мухи, по углам и шептались, потому что у матушки были страшные головные боли и на ее голову лили холодной водой. Наступила зима. Снег падал хлопьями так, что не видно было ни зги и не слышно было ничего. Мертвая тишина наводила какое-то чувство уныния и страха. Дверь отворилась я вошел в комнату господин небольшого <роста>, весь покрытый снегом. «Брат Александр! – воскликнул Иван Кар<лович> – Как я рад тебя видеть! Вот дети жены, а мои уже спят. Наденька – брат Александр». Она вошла. Он ее поцеловал, и подали чай. У Александра Кар<ловича> были очень густые брови, из-под которых видны были серые глаза с весьма приятным и добрым выражением. Фридриху приказали приготовить постель в диванной. Александр Карлович был председателем Уголовной палаты в Тамбове, был человек честный, бескорыстный и всеми уважаемый. Он был женат на девице Молчановой, у которой было состояние. У него было восемь человек детей, в течение месяца все умерли от скарлатины, и жена умерла с горя. Александр Кар<лович> нас очень ласкал, мы казались ему жалкими. Он сказал матушке что уроки Амальи Ив<ановны> недостаточны, учителей в Усмани нет,

---

[174] Позолоченное серебро.
[175] Коммунар.

чтобы подготовить братьев в Пажеский корпус, а меня в Екатерининский институт, и предложил ей послать всех в Тамбов, оставить в его доме и сказал, что мы получим бесплатно приготовительное воспитание у его приятеля, генерала Недоброва. Генерал Недобров был из любимцев имп. Павла, как и Аракчеев. Аракчеев был очень умен и большой мизантроп, его угрюмый и слишком строгий характер не был в уровень с его умственными способностями. Сенатор Боратынский тоже был в числе любимцев вел. кн. Павла Петровича. Недобров получил 2000 душ, большая часть имения была в Васильевке Моршанского уезда, а в Кирсановском уезде, богатом дубовыми деревьями, была маленькая деревня *Вельможка,* где был маленький дом. Александр Кар<лович>, видя наше грустное положение, нас очень ласкал. Он привез из Тамбова ящик конфект и дал его Амалье Ив<ановне> для нас, и у нас сердце екнуло. Он оставался не более недели и перед отъездом сказал, что Амалья Ив<ановна> не в состоянии нас приготовить: меня к вступлению в институт, а братьев в Пажеский корпус; порусски нас учил также юнкер Коднер, очень учтивый и добрый молодой человек. И предложил матушке переехать весной в Тамбов, остаться в его доме, а он нас повезет к генералу Недоброву, у которого есть гувернер – немец, очень добрый и ученый, а его жена – гувернантка его маленькой дочери, которой 10 лет. После его отъезда конфекты были конфискованы, ими пользовались Манилова-Федорова и ее противная дочка.

Весна была ранняя и прекрасная. Арнольди располагал батарейными лошадьми как своею собственностью. Кучера выезжали шестерик и четверик. Мы немало поплакали, прощаясь с доброй Амальей Ив<ановной>, Карленькой и Аркаденькой, ему было 6 лет только (он скончался в нынешнем году в Москве на руках у своего верного слуги поляка Фрица, который ходил за ним как нянька, потому что последние года своей жизни, он был великий и терпеливый страдалец. С ним я потеряла всех своих братьев, которых мне передал дорогой отец на смертном одре). Я сидела, в дормезе с маменькой, а братья в четвероместной карете с Наташкой. К моему ужасу, я проснулась в четвероместной карете, и возле меня мерзавец лежал. Дверца была открыта, я вышла и позвала Наташку, которая сидела на запятках. Мерзавец пошел в дормез, и таким образом я

доехала с братьями в Тамбов. Александр Кар<лович> нам обрадовался. Я спала одна, а в другой комнате Наташка, и дверь была немного отворена, я спала всегда очень крепко, проснулась с ужасом: возле меня лежал мой заклятый враг. Я вскочила, позвала Наташку, легла возле нее, и она заперла дверь на задвижку. Наташка мне сказала: «Я все расскажу Александру Карловичу». На другой день я слыхала, что Александр Кар<лович> ему сказал: «Ведь это уголовное дело, если ты еще тронешь Сашу, я же ее научу придти ко мне с жалобой и угоню тебя туда, куда Макар телят не гонял. Я слышал, что ты кому-то хвастал, что ты убил станционного смотрителя оглоблей. Если бы ты это сделал в моей губернии, я бы без суда повесил на первой осине. В нашей семье порядочных только три брата: Петр, Павел да я. Осип с детства был дрянь и бегал за девками, и ты был всегда жаден и зол и тоже бегал за девками. Отец наш был бедный, но честный человек, а ты немало горя ему причинил. Что ты хвастался своей деревяжкой? С 12-го года немало русских ходят на деревяжках: у Дризена отняли ногу до бедра, у Кульнева вся нижняя челюсть повреждена, он этим не хвастает. Берегись ты у меня, я пугать не люблю». Мы беспрестанно подходили к Александру Кар<ловичу>, его целовали, даже его руку. С каким восторгом мы сели в карету с ним, когда поехали к Недоброву. Прощаясь с маменькой, мы ей все целовали руку и при ней мы все сказали: «Прощайте, Иван Кар<лович>», поцеловали Наташку, которой велели как можно лучше прятать фунт конфект, которые Алек<сандр> К<арлович> нам дал и велел отдать их Амалье Ив<ановне> для Карленьки и Аркади.

Генерал Недобров принял нас очень ласково, сказал, что надеется, что нам будет приятно жить у него, и, оборотясь ко мне, сказал: «А ты, моя миленькая, будешь неразлучна с моей Варенькой, которой 10 лет». Василий Александрыч был довольно высокого роста и плотный, волосы его были совершенно седые. Васильевка меня поразила своим великолепием. Большой дом был в два этажа, под зеленой крышей, окружен садом и цветниками, влево от дома был большой каменный флигель под красной крышей. Там жил гувернер, племянник генерала, сирота Данила Недобров, трое братьев Боратынских: Ираклий, Лев и Александр, сын гувернера и мои братья. У них была своя прислуга, туалет их был очень аккуратен, их купали

в холодной воде, на это было несколько ванн. В большом доме жили две взрослые дочери Василия Алекс<андровича> – красавица Катерина В<асильевна> и Надежда В<асильевна>, весьма приятной наружности смугляночка, очень живая и веселая, жена гувернера с дочерью Варей и я. Против дома была церковь во имя св. Петра и Павла, главы были позолочены, внутренность была восхитительная, все образа в золотых окладах, ризы священника и дьякона были богатые, в церкви был паркет, на одном крылосе пели женщины и девки, на другом мужчины. Церковь набивалась битком крестьянами и крестьянками, многие стояли на паперти. Богослужение отправлялось с возможной торжественностью, никому в голову не приходило не стоять молитв. В будни все собирались в большую залу, где уже был накрыт стол, на котором лежали груды тартин с маслом, разного печенья, кренделей, подковок, самовар уже кипел. Василий Алекс<андрович> входил в залу и читал громким и твердым голосом утренние молитвы, я слушала разиня рот, потому что кроме *«Vater Unser»* никакой не знала. Потом Василий Александр<ович> и все становились на колени, он читал молитву поминания дрожащим голосом и всегда поминал покойную жену и императора Павла. Он уходил один с Варей пить кофий у себя на балконе против церкви, где покоился прах его жены. Я не знаю, кто она была. А его старшие дочери разливали чай и кофий для прочих. Три повара работали на честную компанию, у которой от весеннего живительного воздуха был волчий аппетит. Потом все отправлялись учиться.

Читателю, может быть, любопытно узнать некоторые подробности о семействе Боратынских. Их род, говорят, происходит от князей Барятинских. Мать их была девица Черепанова, одна из лучших воспитанниц Смольного монастыря. Когда ее старшего сына Евгения отдали в солдаты, она помешалась и не выезжала из своего имения. Евгений был камер-пажем, задолжал и просил дядю, сенатора Боратынского, дать ему денег. Старик ему отказал. Когда тот ушел, в отчаянии нечаянно юноша увидел золотую табакерку с алмазами, принадлежащую его дяде, и продал ее, вероятно за бесценок. Дядя не пощадил красивого и даровитого племянника, его разжаловали

в солдаты и сослали в Гельсингфорс. Там он влюбился в Аврору Карловну Шернваль и писал ей свои первые стихи:

Выдь, дохни нам упоеньем.
Соименница зари.
Всех румяным появленьем
Оживи и озари.
Сердце юноши не сводит, далее не помню.

Плетнев сообщил мне его последние предсмертные стихи:

Ты помнишь, что изрек
Седой Мелхиседек:
Рабом родится человек,
Рабом и умирает.

Пушкин был самого высокого мнения о его поэтическом даровании и уважал его как человека.

В Васильевке был биллиард, и в ненастные дни молодые люди играли на биллиарде, делали тут же гимнастику. После смерти жены генерал Недоброе посвятил себя добрым делам. Как образованный человек он хотел, чтобы дети его соседей получили образование. У него был доктор для крестьян, больницы не было, но при церкви была комната, куда помещались те больные, которым нельзя было лежать дома.

Обедали в четыре часа и после обеда катались на линейках или гуляли, особенно в дубовом лесу, собирали грибы и на дубовых листьях орешки, из которых делали чернила. В свободные часы он сидел задумчиво, и с ним Варя. У нее была комната, на полках были всевозможные сервизы чайные и столовые, куклы большие, одетые, у которых был туалетный стол, была кукла в колыбели, миниатюрные комоды, тонкое белье для куклы. Я с ней тут часто сидела, один раз она меня спросила: боюсь ли я исповедоваться. Я вытаращила глаза и спросила ее, что такое исповедь. Как, ты не знаешь? Надобно остаться одной с священником и говорить ему все свои грехи. Мне было 7 лет, когда я в первый раз исповедовалась и надобно было говорить правду, что я шалила, дурно молилась богу, рассердилась. Это называют «быть на духу». Когда будет пост, ты научи папеньку, и ты будешь исповедоваться и разговляться, «до 7 лет приобщают детей без исповеди». Я все это намотала на ус.

В Васильевке был домашний оркестр, и в воскресные и праздничные дни были танцы. Александр Кар<лович> был влюблен в Екатерину Васильевну и откалывал с ней казачка (так выражались в Васильевке). Левушка Боратынский и я танцевали в костюме matelot, я не помню теперь, как и что это за танец, а Варя очень хорошо плясала русскую с Александром Боратынским. Василий Алек<сандрович> всегда присутствовал и приходил в восторг, когда его любимая дочь Варя плясала русскую в сарафане и повязке. Два раза мы ездили в Вельможку на линейках, веселая компания всю дорогу пела русские песни: «А я в три косы косила», даже камаринскую, «Ай, Феня, Феня, ягода моя, шла с царева кабака», «Деревня наша хороша, только улица грязна». На траве расстилали ковры, все садились, а лакеи, повара разносили холодные блюда, паштеты, жареные курицы и прочее, даже подавали цимлянское. Зачем и вызывать из Франции виноделов из Шампани, а бросать свои. О, русские неряхи!

Поздней осенью нас повез Александр Кар<лович> в гадкий Усмань, где он объявил Ив<ану> Кар<ловичу>, что женится на Катерине Вас<ильевне> Недобровой, старшей дочери генерала Недоброва, и берет за <нею> 1000 душ и прекрасное приданое. Он был очень холоден с полковником, остался всего три дня, очень нас рекомендовал Амалье Ив<ановне>, даже поцеловал ей руку. Я воображаю, что Арнольди скрежетал зубами. Нам очень обрадовалась добрая старушка, Карленька и Аркаденька, нашим рассказам не было конца. Опять учили немецкие слова по серой книге Амальи Ив<ановны>, слово ungefähr мне не давалось. Молились опять «Vater Unser», братья с Фридрихом, я с Амальей Ив<ановной>, ездили к Гакебушу и в лес к рыжему мужику. Один раз он мне сказал странную вещь. Была большая куча человечьего кала, а в середине большая зубчатая ромашка; он мне сказал: «Девочка, сорви, скушай и увидишь видение апостола Петра». Я сорвала и съела. Он мне сказал: «Ах вы, бедные детки, и учит-то вас немка. Старушка она хорошая, у нее немецкая Библия, и она учит вас священной истории. У тебя, девочка, пакостник отчим, ты не отдавайся ему». – «Я всегда убегала от него, а теперь он не смеет, у него есть брат в Тамбове, очень хороший, и он ему сказал, что это уголовное дело, и он меня научит жаловаться на него и его сошлют

в Сибирь». – «Я знаю Тамбовскую губернию и уйду от него в Саровскую пустынь». Это, вероятно, был Серафим, русский Симеон Столпник. Его житие напечатано с его портретом.

Наступили трескучие морозы. Дмитрий начал пить, его по обычаю привязали к дереву и обливали холодной водой. Можно себе представить его крик. Я не понимаю, что он остался у этого изверга, а не последовал примеру Тимошки, которого никогда не отыскали, слава богу! У Арнольди была старая моська, которую я любила, у меня был поплиновый капот с бархатным воротником, его переделали для Кати, которую я очень любила. Она начинала говорить, и ее мамка говорила, что Катя «гуторит». Я нарядила моську в этот капот и пустила на грядки, можно себе представить, в каком виде явилась моська в этом капоте.

Не помню, в какой пост полковница пила кофий то с миндальным молоком, то белое молоко из фундовых орехов, то из белка; за обедом был суп с маслинами, пирожки, начиненные грибами, на пирожное левшанки с вареньем или оладьи и сироп. Она на неделю поехала в монастырь, игуменью звали Анфиса Пав<ловна>. Она была еще молода и очень хороша собой. В монастыре была схимница, ее черное платье было покрыто мертвыми головами, костями накрест и херувимами, все это было вышито. Она наводила на меня страх. Уроки Вари не были забыты. Я сказала игуменье, что минуло 9-ть лет, и я ни разу не исповедовалась и не причащалась сосмерти моего отца, что хотя он был католик, но очень часто приобщался, и мне было 6 лет, когда он скончался, и что мать моя не служила по нем Панихиду. Просила исповедоваться, вынуть часть по отце у обедни и отслужить панихиду. «С чего ты это взяла?» – сказала мне полковница. – «У Недоброва всегда так делали». Игуменья ей выразила свое удивление, сказала, что один пост не загладит грехов, и пригласила ее более часто приезжать в ее монастырь. «Вы можете в Усмани найти духовника». Раз я слышала необыкновенный и унылый звон колоколов в соборе, мне сказали, что умер священник, и всегда так звонят при смерти духовного лица.

К весне начали все укладывать – и в Грамаклею. Бабушка и Амалья Ив<ановна> плакали, а я слышала, что бабушка сказала, что выменяет образ Иоасафа. Тут был опять крик и шум,

спор с дядей Дмитрием Ив<ановичем>, и нежные родители поехали в Херсон. Дубницкого уже не было на свете, а в Херсонском банке Арнольди всех разругал в пух и вправ и взял 150 000 из нашего трехсоттысячного капитала. У бабушки оставили Карленьку, Катю и при них Марийку, а Наташку взяли с собой. Бабушка жила с Дмитр<ием> Ив<ановичем> и его женой, Вера Ив<ановна> жила в Баратовке после смерти Елизаветы Сергеевны. Приезжал только Илья Ив<анович> Чепелевский, привез бубликов из Виски и сам уплетал бабушкины сосиски. К светлому воскресению пекли пасху, что по-русски кулич, в нее вкладывали маленькие кусочки очищенного миндаля, что давало особый приятный вкус, конечно, и то, что у нас пасха, было необыкновенно вкусно, а писанки были гораздо милее красных яиц. Их крестьянские девушки окрашивали зеленой краской и делали на них красные глазки с белой каймой. Опять такой же обед и ужин, все в довольстве, а не с гнусным ругателем Арнольди. Где были Арнольди, я не знаю. Вероятно, в Крыму и в Бессарабии отвоевывали Куяльники и по процессу с Капниси. Поздно осенью они приехали и сказали, что мы едем в Петербург. Артемий Ефимович Вороновский просил, чтобы отвезли с нами его старшего сына Митю и передали его в Москве в семейство Прудниковых.

В большой карете ехал полковник с супругой, а напротив Клема, Митя и я. На козлах сидел крепостной Антон, его закадычный друг. В четвероместной крытой коляске Аркадя, Ося, Наташка и рыжая рябая девка Аннушка с маленьким Сашей Арнольди. Она знала, как угодить господам, и говорила, что мы дразним Сашу. Мы ехали то на колесах, то на полозьях. После 12-го года беглые солдаты укрывались в лесах, тогда дремучих. (Увы! Где они теперь! Гоголь вздыхал и говорил: «Леса рубят без толку, реки мелеют, а климат все суровее»). У князя Одоевского на вечерах я встречала г-на Штукенберга, он знакомых и незнакомых спрашивал: «А что Волга – мелеет или нет?» Он, говорят, написал очень дельную книгу о обмелении рек и вредном влиянии обмеления на атмосферу и на плодородие почвы. Река Москва до того обмелела, что, верно, куры в ней гуляют. От этого рыба исчезает, остается грязь. Мне раз принесли огромную устрицу, необыкновенно жирную, открытую, знать дохлую. Это значит, что есть и речные устрицы.

Москву-реку надобно купировать, и одеть берега камнем и развести в ней рыбу. Барки из Касимова в Москву идут гужом 6-ть недель, а раз случилось, что в октябре надобно было выгружать зерно и везти его от Брод на телегах, отчего в Москве ужасно вздорожал хлеб. Под Лондоном то и дело, что ссыпают в реку и ее совершенно закрывают. На моих глазах в Калуге Ока опустилась на аршин. Однажды в лесу послышался свист, кучер наш стал ехать почти шагом и сказал, что лошади стали. Свист не переставал, кто знает, тут, может, была шайка капитана Копейкина и Дубровского. Антон, по обыкновению, был пьян. Арнольди вышел и сказал кучеру: «Если ты тотчас не поедешь во всю прыть, – ты видишь эту деревяжку, – я сам убью тебя костылем». Мимо нас проехала коляска во весь дух. Пожидор спешил из полости на воздух. У Пожидора на козлах сидел его шестой сын Минька, которого он очень любил. Мы благополучно приехали в Москву и остановились в доме родных Ивана Кар<ловича> каких-то Гееровых. Дом был маленький, грустный. Тут мы остались три дня и поехали в Петербург, тащились неделю то на полозьях, то на колесах по бревенчатой мостовой. Приехали в феврале и остановились в доме Галкина на углу Малой Морской и Большой Миллионной. Тотчас поехали к его родным, доктору Миллеру, женатому на девице Циргольц. У нее были две сестры – Елизавета Ив<ановна> и Дарья Ив<ановна>. Арнольди строил куры Дашеньке. Она была недурна, он ее колол в бока, прищелкивал языком и припевал, поддерживаясь на своей деревяжке: «Все на свете можно, только осторожно». После обеда у него он беспрестанно рыгал и говорил, что у него *изжога* (le fer chaud) и пил клюквенный морс. Жена Миллера была в чахотке. У них было два сына, один был похож на лягушку. У них был гувернер Шницлер, он писал очень дельную книгу об России и знает ее лучше русских бар. Она напечатана в Петерб<урге>. Циргольцевы были знакомы с Гречем и Фаддейкой Булгариным. Арнольди читал «Выжигина» и очень ценил этого подлеца. Говорил, что зачитывается «Северной пчелой», а особенно фельетоном Бранта. Пушкина он ни в грош не ставил, говорил: «Скверный, вольнодумный мальчишка!» Вот вкус!

Я сидела у окошка с рябой Аннушкой. Наконец, полковница догадалась, что у нее есть родная тетка ее супруга. Мне надели

белое платье, розовый кушак и повезли меня к Цициановым. Они жили в доме Галкина, почти у Трухмальных ворот. Дом был одноэтажный, из гостиной, где была лаковая мебель, был вход в сад. При входе в дом была зала, в одном конце стоял ломберный стол, и на нем раскладывал пасьянс бодрый и краснощекий старик, а возле стоял, заложив руки за спину, его камердинер Сергей Михеевич. «Ты кто?» – сказал мне দяденька. – «Я Сашенька Россет». – «Ступай к бабушке». Меня встретила княжна Елизавета Дмитр<иевна>, ей было 35 лет, наружность ее была приятная; она повела меня к матери, которая мне не понравилась. Она была сухая и смотрела строго. Меня повели к княжне Анне, она прекрасно рисовала по кости и брала уроки у италианца Росси. Он был очень дурен, но она в него влюбилась и хотела выйти за него замуж. Они тогда еще не были совсем равноправны. Дедушка говорил, что все люди равны, но жена его совсем иначе думала и запретила Росси приходить в дом. В доме жила Каролина Ив<ановна> Витич, их экономка, она давно была православная, Варвара, но ее всегда звали Каролиной Ив<ановной>, ее племянница Катенька Эвспиус, Иван Сергеевич и Мария Сергеевна Лутковские, которая была предметом всех забот старой княгини. У нее были расстроены нервы перед началом месячного очищения, призвали докторов Римана и Штофрана, который был доктором имп. Елисаветы Алексеевны. Они сказали, что не имеют способа ее вылечить. Она впала в состояние ясновидения и сама привила себе лекарства и была в этом состоянии 6 недель. Однажды утром спросила кусок бумаги и уголь, набросала пропасть крестов и над ними распятого Спасителя, приказала, чтоб живописец масляными красками написал этот образ; пока образ писали, ее припадки так увеличивались, что она лежала по несколько часов как мертвая, совсем не спала и ничего не ела. Когда принесли образ, она исповедовалась, приобщилась, служили обедню и Акафист Иоасафа, она приложилась к образу и стала твердо на ноги и была совершенно здорова. Этот образ находится теперь у княжны Селесты Дмитр<иевны> Цициановой, которая живет в Новодевичьем монастыре, но не монахиня.

Мне очень понравилась молельня княгини, она была в стороне и сверху до конца покрыта образами в золотых окладах.

Тут была голова св. Анастасии в золотом окладе, украшенном бриллиантами, а сверху крест, рука Ефрема Сирина в филигранном окладе, украшенном бирюзой, рубинами и изумрудами. Неугасимая лампадка теплилась и придавала нечто таинственное этому уголку. Но там была другая прелесть, другого роду – тарелка, на которой были конфекты, и мне дали всю тарелку. У них жила арапка, которую звали Зетюльбе, это было ее истинное имя, а по крещению она была Аксинья Михайловна. Зетюльбе была скорее une mulâtre[176], она ходила в простом платье горохового цвета и на голове вязанная шапочка, обвитая белой кисеей. Она воспитывалась с княжнами, брала уроки французского языка у m-me Camerata и говорила по-французски, она была ловка и отлично танцевала. Не знаю, когда вышла мода на арапов – от Петра I-го, я полагаю, а как он приобрел Ганибала, я не помню. Дмитрий Евсеевич всегда был рад случаю потратить деньги, он выкупил родителей Зетюльбе, их везли зимой в коляске, в которой была их поклажа; этот сундук беспрестанно толкал ее в голову; когда ее привезли, была с одной стороны шишка. «Зачем ты не сказала об этом отцу и матери?» – «Они крепко спали, я не хотела их беспокоить». Когда Цициановы совсем разорились, рекомендовали Зетюльбе в няньки княгине Кудашевой, рожденной Choiseul. Она была ослепительной красоты, любила мужа и уживалась с невестками – Корба, Бельской и Гербель. К Дмитрию Ев<сеевичу> хаживал иногда знакомец и ростовщик Ордынов, он раз пришел и говорит: «Ну, не нужны ли тебе денежки?» – «Нет, а впрочем дай 8000 асс<игнациями>». – «Возьми» – и вынул пучок ассигнаций, тот схватил и не считал. Ордынов сказал: «Был недавно у княгини Дарьи, сидит с любовником, ох уж эти мне господа, только бы им послаще, да табачницу». Митрополит Филарет мне говорил, что он знал и уважал Ордынова – он брал только один процент, а если были люди честные и не состоятельные, он не брал ни процента, ни капитала, а теперь, подавая доверенность, берут после без зазрения совести. Он не знал, что с освобожденных крестьян брали до 12-ти. Дмитрий Евсеевич завел Английский клуб в Москве и очень его посещает. Он всех смешил своими рассказами, уверял,

[176] Мулатка.

что варит прекрасный соус из куриных перьев и что по окончании обеда всех будет звать петухами и курицами. Он мне рассказывал, что Екатерина очень любила горячие калачи, а Потемкин его как флигель-адъютанта послал в санях с этими калачами; он ехал так скоро, что шпага его беспрестанно стукала о верстовые столбы, и в Петергофе к завтраку ее величества подали калачи. В знак благодарности она дала Потемкину соболью шубу. Он отправился в Москву, Потемкин был у обедни; по окончании обедни он подошел и объявляет ему о подарке. «Да где же она?» Он вносит ее, и она так легка, что полетела на паникадило. В Петербурге он продолжал жить открыто, продал Катунки за 500 000 р. и поместил деньги в стол и даже не запирал. Тогда дозволено было графу Головкину сделать лотерею из его имения Воротынец, у княгини было 200 000, и она взяла билеты на эту сумму, но не выиграла, по несчастью. Он давал обеды Нарышкину, Вяземскому, Мещерскому, генералу Потемкину, Сазонову и всегда приносил десерты княгине и фрукты – он всегда сам варил варенье за столом в серебряной чаше на серебряной конфорке.

Вариант 3. Фрагменты

Мне купили маленький сундучок, уложили белье и платье на неделю, и мы поехали в Екатерининский институт, прямо к начальнице. Она нас приняла очень благосклонно и сказала, что поручит меня пепиньерке Марии Ив<ановне> Шлейн. Тут я простилась с маменькой, она очень плакала, а я не проронила ни слезинки; меня утешала мысль, что не услышу стука ненавистной деревяжки. Мария Ив<ановна> Шлейн была достойная и очень умная.

Я поступила в институт в 1820 г. В 25 году было знаменитое и ужасное наводнение в Петербурге. Ночью поднялся сильный ветер и продолжался 12 часов. Утром мы по обыкновению были в 9 часов в классе. Швейцар вышел и объявил, что дрожки не пришли и учители не будут, потому что на всех улицах вода выступает. Через несколько минут вошла мадам Кремпина, очень озабоченная, и сказала: «Prenez vos cahiers et allez au “dortoir”»[177]. Наши солдаты жили в подвалах, и их начало

[177] Возьмите тетради и идите в спальню.

заливать. Они перешли со своим добром и семействами в классы, где оставались три дня. А мы блаженствовали в дортуарах. Все обложили окна и смотрели, как прибывает вода; наша смирная Фонтанка была свинцового цвета и стремилась к Неве с необыкновенной быстротой, скоро исчезли берега. По воде неслись лошади, коровы, даже дрожки, кареты, кучера стояли с поднятыми руками, пронеслась будка с будошником.

Дело становилось серьезным, наконец кто-то закричал: «Ну, mesdames, что если вода дойдет до нашего среднего этажа!» – «Что вы, что вы говорите, неужели вы думаете, что императрица не найдет способа нас вывезти!». При Петре Великом было большое наводнение, и он дал приказ, чтобы все имели большие лодки или баржи. Император приказал, чтобы ему подали лодку, но адмирал Карцов не знал или забыл это приказание; наконец из адмиралтейства привезли лодку, и государь со свитой отправился в ней, чтоб успокоить взволнованное народонаселение. Полкам велено было выступать за город к Трем рукам, за исключением тех, которые стояли за Литейной. По церквам сделались службы, молебны, и в 12 часов пополудни ветер начал утихать. Неизвестно, сколько людей погибло, но с той поры, благодаря бога, еще не было подобного наводнения. Многие здания были повреждены, оказались трещины во многих домах, все хлебные магазины были залиты, и мы долго ели затхлый ржаной хлеб, пока из Москвы не подвезли свежий, который проростал и дал ростки. Императрица, всегда готовая подать помощь, поместила в наш институт 20 девочек, поместила других в разные заведения; их называли наводниками. Их должны были поместить в четвертое подготовительное отделение, они даже не могли читать. Одна из них была 15 лет и неутешно плакала. Она все повторяла: «Я круглая сирота и жила одна с братом, других родных у меня нет, я не знаю, где мой брат». Его отыскали, и государыня его поместила в кадетский корпус. Почти все были дети бедных чиновников и мещан с Выборгской стороны и с Петербургской стороны. В эти дни нам не могли приготовить обед, и мы пили казенный чай, а вечером сварили кое-как ужин. На другой день утром Фонтанка была ниже обыкновенного и наполнена курами, собаками и камнями.

Девица Марья Ив<ановна> Шлейн была потом наставницей детей графини Орловой-Давыдовой. Начальницей Екатерининского института была госпожа Брейткопф, ее муж и две дочери тоже жили в институте. Она была родом из Бельгии и католического исповедания, и при ее комнатах была маленькая католическая капелла, и доминиканец служил и давал уроки катехизиса девицам этого исповедания, а для протестанток приезжал пастор Рейнбот. Их возили в праздники в английскую церковь Рейнбота.

Классы еще не сформировались, и меня еще не экзаменовали. В этот день я успела познакомиться с некоторыми девицами, и меня посвятили во все тайны, сказали, что надобно непременно обожать кого-нибудь из больших, сказали, что есть противные учители, а дамы классные «кошечки». Одним словом, так приготовили меня, что на другой день я встретила одну девицу, она мне понравилась, и я узнала, что ее зовут Далия Потоцкая, и начала ее обожать, т. е. подходить к ней в коридоре и говорить: «Mon ange, je vous adore»[178]. Далия действительно была очень хороша. У нее были прекрасные алые губы и очаровательные улыбающиеся черные глаза. Ее сестра Пелажи была брюнетка и, по правде сказать, еще красивее. Пелажи вышла замуж за Сангушку а Далия за пана Млодецкого, и когда привезла сына в Петербург, часто бывала у Плетнева, который уже был учителем с 7-го выпуска в институте.

Летом нам давали ягоды. Я забыла, что у меня была в детстве перемежающаяся лихорадка, очень обрадовалась клубнике, и вследствие этого у меня сделалась лихорадка. Я была уже более двух месяцев в лазарете, и доктор не знал, что делать. Императрица Мария Федоровна приехала из Павловска и спросила у меня, отчего я больна. Я ей сказала, что мне доктор в Одессе давал рвотное, а потом что-то горькое, и лихорадка проходила. Она велела написать матушке, которая прислала рецепт, и после трех приемов хины лихорадка прошла и более никогда не возвращалась.

Я поступила в 1-е отделение маленького класса. Учителем французского языка был эмигрант Mr Charles de St. Hilaire, его очень любили и уважали. Мы писали под диктовку,

---

[178] Ангел мой, я вас обожаю.

и St. Hilaire очень удивился, что не нашел ни одной ошибки ни у меня, ни у княжны Стефании Радзивилл. Я сама не знаю, зачем я правильно писала. Учителем русского языка был Василий Ив<анович> Боголюбов. У него был рот до ушей, уши ослиные, он заставлял учить наизусть самые скучные стихи. Говорил, что басни Крылова просто дрянь в сравнении с Херасковым. Вот басня, от которой он был в восторге:

На зелененьком листочке
Червячок во тьме блистал.
Змий поспешно прибегает
И невинного пронзает
Жалом гибельным своим.
«Что я сделал пред тобою?»
Червячок, упадши, рек.
«А зачем блестишь собою?»
Змий сказал и прочь потек.

Вообще выбор учителей не был удачен, но всех хуже, конечно, был священник. К нам приезжал полупомешанный старый священник с какого-то кладбища. Мы зубрили Платонов катехизис и поступили в большой класс. Там нам дали другого священника, который скоро помешался; с ним мы, однако, выучили наизусть литургию, «Книгу премудрости Сираха», составленную придворным священником Мансветовым. В большом классе учителем французского языка был Mr Bordé, пустой и дрянной французишка, человек, лишенный вкуса, и мы даже не знали лучших стихов Расина и Корнеля, а повторяли стихи из «Jardins de Lille» и «Le Tronc de Panesigna» и Boileau. Зато учитель русской словесности был Петр Александрович Плетнев, которого все любили и уважали. Так как учитель истории Слонецкий возбуждал только смех, то для новейшей и российской истории его также заменил Плетнев. Учитель физики, естественной науки и астрономии был почтенный и красивый старик, аббат Deloche. Императрица так его уважала, что всегда подавала ему руку и говорила ему: «Mon sher abbé, combien je regrette que vous refusez de donner des leçons au couvent de Smolny»[179].

У нас была пневматическая машина, электрическая машина и лейденские банки, делались опыты. Делош приносил листки, исписанные прекрасным сжатым почерком, мы их

[179] Дорогой аббат, как мне жаль, что вы отказываетесь давать уроки в Смольном монастыре.

переписывали, и когда он приходил, повторяли урок в течение трех четвертей часа, а остальное время заполнялось вычислениями. Курс был насколько возможно полным и легким для усвоения. Учитель географии Успенский был очень ученый и умный человек. Мы учились по карте, путешествовали, и в главных городах он сообщал нам сведения о состоянии города, числе жителей, промышленности и торговле, а мы записывали в тетради. Он преподавал нам историю открытий, и узнали, что прежде Колумба Америку открыли три венецианца, братья Зени. Учитель немецкого языка был Herr Mellina. Он нас познакомил с лучшими германскими поэтами.

Наш день начинался в 6 часов зимой и летом. Наши слуги были инвалиды, которые жили в подвалах, женатые, со своими семьями. Тот, который звонил, курил смолкой в коридорах. Курилка звонил беспощадно четверть часа, так что волей-неволей мы просыпались. Курилка был в Париже и уверял, что говорит по-французски: «Коли хочешь белого хлеба, только скажи дю пан дю блан, а коли черного – дю пан дю двар, а у немцев спросишь свечку, и скажи лихтеру, а подсвечник подлихтер, отрежь хлеба, дай комсу, да еще полкомсы». Солдатики были наши друзья. После моей продолжительной лихорадки доктор сказал, что мне надобно позволить спать до 7 часов и обедать у начальницы для подкрепления, что было весьма приятно. Мы все были готовы в половине осьмого и шли молча попарно в классы. Были три отделения и каждое в особой комнате. У дежурной классной дамы была тетрадь, куда она записывала малейший проступок в классе. Дежурная девица читала главу из евангелия, а потом воспитанница разносила булки; те, за которых родители платили даме классной 10 р. в месяц, пили у нее чай с молоком и получали три сухаря из лавочки вдобавок к булке, а прочие пили какой-то чай из разных трав с патокой и молоком, это называли декоктом, и было очень противно.

В 9 часов звонок, и все должны были сидеть по местам в ожидании учителя. В понедельник первый был новый священник Смирнов, с ним мы прошли Ветхий завет пространно и остановились на Сауле. Когда он приходил в четверг, он спрашивал: «Девицы, где мы остановились?» – «На Сауле», и он опять начинал историю Саула. Так продолжалось около шести

недель, и получили известие из Смольного, что бедный Смирнов помешан. В Смольном его заменил весьма замечательный священник Недашев, переведенный из Ревеля, а нам объявили, что нашим законоучителем будет Василий Михайлович Наумов, он был из Филаретовых учеников. Всего оставался год до выпуска, и мы должны были выучить катехизис Филарета и толкования на четыре евангелия; это стоило нам больших трудов. Для нового священника была квартира, назначен был дьякон Кузьма Колиевич, который учил воспитанниц. Эти девушки были предметом особых забот императрицы, их в младенчестве отдавали на воспитание чухнам, которые гораздо трезвее и образованнее русских крестьян. Поступая к нам, они почти не говорили по-русски, мы у них узнали много чухонских слов, а их учили говорить по-русски. Две из них спали около дортуара, мели его, делали постели и надевали чехлы. Вечером мы сами перестилали наши постели. В среду и субботу они нам мыли головы и ноги. Зимой вода была так холодна, что мы молоточком пробивали лед и мылись ею. В 1825 году существовало еще Библейское общество, и нас заставили читать прескучную книгу «Училище благочестия», и к великой нашей радости вдруг взяли все номера. Я позже узнала, каким образом уничтожилось Библейское общество, которое издавало «Училище благочестия». Библейское общество составилось в Англии, и герцог Йорк, человек строгих правил и религиозный, составил это общество для распространения библейских книг и вообще духовных произведений; в это же время известная квакерша госпожа Фрей проникла в женскую половину известной тюрьмы Newgate. Тюрьма была грязная, темная, несчастные женщины, как дикие звери, были за железной решеткой, и полицейские ей объявили, что она подвергается большой опасности. Но ничто не устрашило ее, она вошла за решетку, все стадо ринулось на нее, она спокойно им сказала: «Mes amies, je viens vers vous dans l'espoir de soulager vos misères et vos souffrances, et j'espère avec l'aide de Dieu vous faire du bien»[180]. Пошли подписки на улучшение тюрем, из Англии

[180] Друзья мои, я прихожу к вам в надежде утешить вас в ваших несчастьях и страданиях и надеюсь с божьей помощью сделать вам добро.

это движение перешло во Францию. В 1815 году император и король Прусский поехали в Англию, тогда царствовал толстый и безнравственный Георг IV. Мне рассказывала lady Braunlow, племянница известного лорда Castelnaugh, что, выходя из дворца, Георг показывал государю идти вперед. Когда он появился, ура огласило воздух на несколько минут, короля также приветствовали, а когда явился Георг, его освистали. Народы умеют давать уроки. Государь среди всех празднеств и развлечений просил нашего посла Христофора Андреевича Ливена, заменившего Семена Романовича Воронцова, найти ему несколько человек для осушения болот под Царским Селом. Это был предлог: ему хотелось людей для образования Библейского общества. В Петербург приехал господин Pitt с женой, Daniel Wheler и Wering, и все принадлежали к обществу квакеров. Известно, что наставником императора Александра был La Harpe, который ограничился нравственным воспитанием, сам он говорил, что только на окровавленных полях России озарилось его сердце светом религии. Г-жа Крюднер, известная своей религиозной проповедью, искала случая с ним переговорить, он ее встретил после Венского конгресса у князя Волконского в Бадене, и с этих пор уже был под влиянием ее религиозных убеждений, знал Юнг Штиллинга, последний через m-me Krüdner подарил ему карандаш, подаренный ему Лафатером. Лафатер поздно вечером писал какую-то философскую тему и не мог вывести заключения. Ему явился седовласый и благообразный старец, который вручил ему этот карандаш и исчез. Лафатер в ту же минуту нашел ответ. Мне это рассказывал граф Михаил Юрьевич Вьельгорский. Несколько лет по вступлении на престол императора Николая поручено было графу Блудову очистить рассеянную кипу бумаг, лежащую на письменном столе покойного императора; он нашел этот карандаш в простом красном сафьянном футляре и дело Волынского, там же нашел записку Петра I генералу, которому поручено было покончить с несчастным царевичем Алексеем. У него болело горло, и аптекарь приготовил лекарство, которое было причиной его смерти. С тех пор все аптекари в России немцы – у них де более порядка. M-me Krüdner была на Венском конгрессе, под ее влиянием был написан

знаменитый traité de la triple alliance[181] между Россией, Австрией и Пруссией. Император питал особое уважение к прусскому королю и, чтобы укрепить этот союз, предложил ему выдать свою любимую дочь Шарлотту за в<еликого> князя Николая. M-me Krüdner была в Париже. В литературном мире она известна была романом под названием «Valerie». Замечено было, что во времена политических переворотов и страшных войн литература приобретает сентиментальный характер. «Valerie» вроде романов m-me Cottin, Каролины Пихлер и Августа Лафонтена. Сама m-me Krüdner писала: «Elle n'était pas jolie, mais gracieuse, elle déversait le chawl à ravir, elle n'était pas fiancée et a dit qu'elle avait une table en marbre rose veiniée de noir, rose comme la jeunesse et veiniée de noir comme la vie»[182].

Эта фраза и мне нравилась в моей юности, и у императрицы Александры Федоровны был такой стол; она мне сказала: «Ma chère, c'est comme la table de Valerie»[183], тогда был тоже в моде роман Бенжамена Констана «Adolphe», переведенный князем Вяземским. Жуковский перевел роман г-жи Sousa «Engene de Rothelin», а Карамзин писал «Остров Борнгольм», Марфу Посадницу и бедную Лизу. Лука, крепостной человек его первой жены, мне рассказывал, что Карамзин не трогал дохода своей дочери Софьи и жил очень скромно доходами с своего журнала «Мои безделки»: «Мы наняли комнатки в Марьиной роще для Сонюшки, и Николай Михайлович писал "Марфу посадницу" и "Лизу русальницу", тем мы и жили. Дела наши поправились в 1810 году, когда Карамзин ездил в Тверь, где он читал первый том своей истории великой княгине Екатерине Пав<ловне>». Лука говорил, что «не будь меня да Сербиновича, историю не напечатали бы»: он носил корректуру.

Я пишу без всякого порядка, а вы там уже разберете, что когда надобно писать для соблюдения хронологии. Теперь здесь вышла переписка Екатерины с Гриммом. Надо сказать несколько слов об этой вредной женщине. В чем состояло ее

---

[181] Трактат Тройственного союза.

[182] Она не была красива, но привлекательна, восхитительно носила шаль, она не была помолвлена и сказала, что у нее был стол розового мрамора с черными прожилками, розовый, как юность, и с черными прожилками, как жизнь.

[183] Моя дорогая, это стол как у Валери.

величие? Что такое величие при таких страшных преступлениях? Брат мой Клементий был послан разыскивать в архивах все, что ему покажется довольно интересным для передачи в архив министерства двора или иностранных дел. Как помню, в местечке Алешках, на Кинбурнской косе, он нашел экземпляр первого манифеста Екатерины по вступлении на престол: в нем сказано, что, по просьбе Петра, она берет на себя бремя правления. Манифест брат передал куда следует. Это бремя несла Екатерина, кокетствуя умом с энциклопедистами, упиваясь похвалами, которые расточал перед ней безбожный Вольтер, Даламбер и Дидерот. Ее переписка с Гриммом здесь напечатана, и нельзя надивиться отсутствию чувства, хотя она беспрестанно говорит о своих внуках Александре и Константине: «Monsieur Alexandre fait des lettres à un âne, pendant que je m’occupe des affaires de l’Etat»[184]. Она, как Людовик XIV, могла сказать: «l’Etat c’est moi»[185]. Тьер когда-то выпустил эту фразу. Северная Семирамида вполне олицетворяла эту фразу. Все знают, как она ходила пешком к Троице, это была комедия, а ее знаменитое путешествие на юг России была тоже комедия и случай пококетничать с австрийским императором Иосифом II. Она знала, что издерживаются «страшные деньги» на содержание двора, видела собственными глазами, что придворные лакеи выносят короба всякой провизии, и говорила: «Il faut bien que ces pauvres gens jouissent aussi de la vie»[186]. Она знала, что губернатор Волков грабит свою губернию, и говорила: «C’est un homme d’esprit et tout le monde a des défauts»[187] У нее был один сын, она его ненавидела, позволяла камер-пажу князю Александру Николаичу, передразнивать его и сама хохотала во все горло. Проходя мимо, бедный в<еликий> к<нязь> сам был свидетелем, как его мать с придворными смеялась над родным детищем. Сердце его было доброе, он смиренно покорялся и никогда не жаловался на бездушную мать. Когда ей пустили кровь, она выпустила фразу: «Je suis chômée, c’est la dernière

[184] Господин Александр пишет письма ослу, в то время как я занимаюсь государственными делами.
[185] Государство – это я.
[186] Надо же, чтобы и эти бедные люди наслаждались жизнью.
[187] Это умный человек, а недостатки есть у всех.

goutte de sang Allemand»[188], этой фразой могли восхищаться только немцы или дураки.

Покойная императрица Мария Александровна сохранила большую привязанность к своим родным и родине, а между тем она совершенно обрусела и всякую минуту своей жизни посвятила служению России, в этом все согласны, и теперь, что ее нет, все отдают ей полную признательность и справедливость. Екатерина переводила Беккария, занималась правами человечества. Что такое права человечества? У размышляющего христианского человечества одно право: покорность; это не понравится нашим нигилистам, которые считают своей обязанностью отравлять всякий шаг своего государя динамитами. Она с Шлецером занималась филологией, переписывалась с m-me du Devand. В Канне я познакомилась случайно с Mérimée, он был в восторге от ее ума и возносил ее до небес. – «je ne suis pas de votre avis, Mr, et ne lui pardonne pas d'avoir disposé des paysans libres en faveur de ses amants»[189]; он этого не знал.

Екатерина вздумала дать права своему дворянству, и затеяны были дворянские выборы. Это дело было недурное, но когда нашелся человек поумнее ее, помещик Коробьин, который сказал, что первым шагом должно быть уничтожение крепостного права (этот документ находится в архиве Эрмитажа, его читал Александр Николаевич Попов; как жаль, что он умер, не окончив своего труда; вам не дурно заняться им), Екатерина тотчас закрыла выборы. Она ограбила церковь и церковные земли раздала своим любовникам и фаворитам. Когда графиня Анна Алексеевна подарила митрополиту Филарету в светлый праздник миллион на поправку, кажется, Десятинной церкви, его поздравил с подарком граф Комаровский. Филарет при ней сказал: «Анна ничего не дала, она только возвратила церкви то, что ей принадлежало». Графиня упала к нему в ноги со слезами. Церковные крестьяне были самые счастливые, они всем владели и платили оброку 10 р. асс. (Андрей Николаевич Муравьев прекрасно описал гр<афиню> Анну, сравнивая ее с римскими Меланиями). Бартенев так влюблен в Екатерину, у него

[188] Мой путь окончен. Это последняя капля немецкой крови.

[189] Я не согласна с вами, сударь, и не прощаю ей то, что она раздавала свободных крестьян своим любовникам.

ведь сумбур в башке, что старается доказать, что она дочь Бецкого. Она основала Воспитательный дом, Бецкий ввел его по примеру Англии, и назвала это ломбардом, потому что она там занимала деньги, и завела у нас ассигнации, от которых мы так страдаем. Она основала Смольный монастырь для воспитания дочерей дворянства. Первой начальницей была француженка m-me Lafont, воспитание было самое светское, о религии мало заботились. Ее брат, которого звали просто Ангальтом, был гораздо выше ее в нравственном отношении, она ему поручила воспитание Шляхетного кадетского корпуса, основанного имп<ератрицей> Елисаветой Петровной. Те люди, которые оттуда вышли, были люди полезные и достойные. В 1849 году я встретила на пароходе француза князя Broglie с сыном, он со мной заговорил самым чистым русским языком. Когда я удивилась, он мне сказал, что он воспитывался при Ангальте в кадетском корпусе и сына выучил говорить по-русски; он с восторгом говорил о воспитании при Ангальте. Екатерине была присуща в высшей степени ambition, не знаю слова, чтобы выразить слово амбиция, и тщеславная. Вольтер внушил ей мысль занять Царьград, потому что она не имела никакой особой симпатии к Греции: наградила титулом Чесменского Алексея Орлова, лучшего из Орловых, не она, а он положил начало инвалидному дому в Чесме. Она дала Орлову еще другое поручение: ее тревожила знаменитая авантюрьерка, известная под именем княжны Таракановой. Полагали, что эта Тараканова была побочная дочь Елизаветы Петровны, но это непростительная клевета. Елизавета была женщина нравственная, за ней был один грешок, она любила токайское вино и купила в Венгрии виноградные лозы. Николай велел их продать, и деньги пошли в тамошнюю церковную кассу. Полюбив Кириллу Разумовского, вышла замуж за него. Разумовский был честный хохол, он в присутствии графа Воронцова и третьего <лица> разорвал и сжег документ, свидетельствующий о его браке с имп<ератрицей> Елизаветой Петровной. Это при мне граф Блудов рассказывал, при Тютчеве и Кутузове. Разумовский был оригинал, проводил день у жены и вечером, часов в 11, возвращался домой. Его лакей заснул, а когда проснулся, увидел, что шубу графа украли. Он боялся камердинера и сказал графу не говорить ему про шубу. Когда камердинер его спросил:

«А где же шуба?» – «Про то Грицько знае». Он спросил Грицько: «А где же шуба?» – «Про то граф знае». Дело так и не объяснилось. Это мне рассказывал Николай Ив<анович> Лорер. Он мне рассказывал также, что когда наши войска вступили в Париж, император отдал приказ, чтобы шли в полной парадной форме, и чтобы батареи, фургоны вошли позже и обошли бульвары и лучшие улицы. Он шел в avenue des Champs Elysées и видит толпу, подходит и с удивлением видит, что хохлы препокойно курят люльку, а волы лежат возле телег. «Звидкиля вы?» – «З Златоноши, ваше благородие». – «Да як же вы пришли сюда?» – «Сказали везти ту пшеницю за армией и пришли до Берлина, это уж в Неметчине, тут сказали: “Идьте домой”, а тут опять: “Везите, мерзавцы, до местечка Парижа”, вот и прийшли. Да что воны дивуются, французы, да ще и потрогают». Покрытые дегтем, они французам казались как будто не люди, а чучелы. Тут хохлы разохотились говорить с земляком и ему сказали: «А вы, ваше благородие, звидкиля?» – «З Грамаклеи в Херсонской губернии». – «Старуху Лореровочку мы знаем, возили мыло и пшеницю в Одессу. Вона нам хлеба и дынь и гарбузов посылала, а горилочки, говорила, не маю».

Напишите в Одессу княгине Марье Александровне Гагариной, дочери Александра Скарлатьевича, у нее преинтересные мемуары графини Эделинг, сестры Александра Скарлатьевича. Вы увидите, что происходило на Венском конгрессе, какую роль играл граф Каподистрия, как началась мысль о возрождении Греции, его действия в Париже и спасение Франции от раздробления; эти мемуары пора напечатать вполне. Толстый обжора и неблагодарный старик Людовик XVIII так забылся, что всегда шел прежде нашего государя на официальных обедах. Пушкин спросил раз старого солдата, что он делал в Париже. «А мы, – говорит, – старого Дизвитского посадили на престол. Ведь где беспорядки, всегда уж наш царь все приводит в порядок». Это напоминает разговор дьякона с капитаном у Мятлева. «Где ныне царская фамилия, – спрашивает дьякон у капитана. – В Константинополь едет царь. – Неужто турки взбунтовались? – Нет, нет, а только их пристращать».

Возвращаюсь к Екатерине. Она женила очень рано в<еликого> князя Павла Петровича на принцессе Гессен-Дармштатской; она была красавица и очень умна. В<еликий>

к<нязь> ее страстно любил, но она была, как мне говорил граф Александр Ив<анович> Рибопьер, гульливого десятка, спаивала крепким опиумом мужа и бесчестила его ложе с Андреем Кирилловичем Разумовским. Екатерина это узнала и послала Разумовского послом в Неаполь. Она не разродилась; в<еликий> к<нязь> очень удивился, что ее не похоронили в крепости, Екатерина тут сжалилась над ним и сказала, что врачи полагают, что зародыш – урод, и поэтому ее нельзя похоронить в крепости. Ее тело было помещено в имение графа Буксгевдена Schloss Bade и спит под сводами. В<еликий> к<нязь> Павел был болезненный ребенок и очень нервный. Вот что Пушкин мне рассказывал: она знала, что на него находили пароксизмы страха, когда он слышал внезапный шум; она послала его командовать войсками; мы воевали с Швецией, и корабли их под Верелей так палили, что в Смольном монастыре окна дребезжали. Павел был все время впереди, делал чудеса храбрости, но поплатился горячкой и расстроением желудка.

Спустя год привезли 15-летнюю девочку, принцессу Würtemberg Monbelliard. Ее портрет во весь рост находится в Эрмитаже – личико умное и приятное и темно-голубые выразительные глаза, но ничто не обещало необыкновенной красоты. Здесь у графа Monbrison находится ее портрет en miniature[190], писанный в Париже, вероятно, знаменитым Petitot; она этот портрет подарила своей детской подруге, с которой осталась навсегда дружна, графине Оберкирх, которую в<еликий> князь называл мадам Цукербукер. Мадам Оберкирх была тетка Monbrison’а, а ему достался этот портрет. Это такая прелесть. Ее красота могла сравниться только с красотой ее друга, Марии Антуанетты. Когда в<еликий> к<нязь> женился, отношения его с матерью еще более охладели, она взяла двух в<еликих> князей и им велела жить в Гатчине. Они жили очень скромно, над ними смеялись. Les gatchinois[191] сделалось насмешкой. Екатерина в<еликую> княгиню называла «La fermière allemande»[192], они не имели воли ни в чем. Когда

[190] Миниатюрный.
[191] Гатчинцы.
[192] Немецкая фермерша.

старшей в в<еликой> княжне исполнилось 8 лет, Екатерина написала рижскому генерал-губернатору графу Брауну: «Mon cher Brown, vous qui m'envoyez les meilleures oranges, ne pourrez vous pas m'envoyer la meilleure gouvernante pour mes petites filles»[193]. Только что Браун получил эту записку, ему пришли сказать, что баронесса фон Ливен желает его видеть. Вошла высокого роста красивая дама, осанка ее была важная и твердая. Он ее посадил и спросил, что она желает. «Во-первых, Exellenz, прикажите заплатить жиду, который меня привез из Херсонской губернии, где муж мой умер. Я продала все, что имела, и села в скверную фуру с тремя сыновьями и двумя дочерьми; все деньги истратила, но так как я приехала просить вас как можно скорее доставить мне мою пенсию, то надеюсь вам заплатить. Прошу вас оказать мне свою протекцию, я хочу завести маленький пансион для воспитания моих дочерей, а сыновья будут учиться в гимназии. Я найму учителя русского языка, потому что мы русские подданные, а со временем найму и фр<анцузского> учителя, так как в России все говорят по-французски». С жидом расплатились, и Браун предложил баронессе жить у него до приискания квартиры. Он удивился твердости, необыкновенному практическому уму и простоте своей собеседницы и на третий день сообщил ей, что нашел для нее приличное место. Она вскочила и всплеснула руками, когда он ей сказал, что она будет гувернанткой в<еликих> княжен. «Ach, mein Gott, ich kann ja nicht sprechen Französisch». – «Das ist auch gar nicht nötig, die Grossfürstineh werden Lehrern haben»[194]. Дело идет о хорошем, солидном нравственном воспитании, вот, что требуется от гувернантки. Баронессу и ее детей одели, нашли служанку, которую я еще знала, купили карету и повезли баронессу Ливен, рожденную Поссе (она была курляндская уроженка из числа древних мещанских фамилий, которых не гнушались гордые бароны наших остзейских провинций). Она ехала на шестерне с чином генеральши и с запиской Брауна прямо в Царское Село. Екатерина была в Софии, после смерти

---

[193] Дорогой Браун, вы посылаете мне лучшие апельсины, не сможете ли прислать мне лучшую гувернантку для моих внучек.

[194] Ах, боже мой, я не говорю по-французски. – А это тоже вовсе не нужно, у великих княжен будут учителя *(нем.).*

Ланского она часто туда ездила, потому что он там похоронен. Екатерина была сметлива, тотчас оценила приезжую, пригласила ее обедать и убедилась, что лучшего выбора нельзя было сделать. Сыновей баронессы определили в кадетский корпус, тогда Пажеский корпус не был особым заведением, Ангальт из кадетов выбирал лучших в пажи. Они жили в особом доме по поступлении их в пажи. А дочерей отпустили с баронессой в Гатчину. Она произвела самое приятное впечатление на в<еликого> князя и великую княгиню, сделалась доверенным лицом и другом и оказала им величайшие услуги. Она одна умела сохранять мир между обоими дворами. Ее дочери пользовались уроками великих княжен (эту историю мне рассказывал Александр Федорыч Барят<инский>, он и теперь еще нашим консулом в Лондоне, от него я узнала очень интересные вещи, я играла с ним в пикет. Он человек умный, образованный, не знаю, зачем его не назначили давно уже посланником куда-нибудь).

Екатерина требовала, чтобы в табельные дни в<еликий> к<нязь> и в<еликая> княгиня присутствовали при выходе и маленьких в<еликих> к<няжен> учили делать реверанс. В именины в<еликой> княжны Марьи Пав<ловны>, которой было 7 лет, и ее матери был выход, и Марье Пав<ловне> приказали подходить ко всем министрам. За ней шла генеральша Ливен. Бедняжка долго стояла перед графом Паленом и, наконец, сказала ему: «Mr le Comte, aimez-vous la pommade à la rose?» – «Non, m-me, j'aime la pommade à la bergamote» «Et moi, j'aime beaucoup la pommade à la rose et comme c'est mon jour de nom, on m'a donnée»[195]. Две старшие дочери в<еликого> князя были необыкновенной красоты, стройные, как пальмы, и когда Александре Павловне исполнилось 17 лет, Екатерина вызвала наследника шведского престола в надежде, что он женится на ней. Все знают, что брак этот не состоялся, потому что принц, обещавший, что у великой княгини будет церковь, вдруг отказался от своих слов. Когда Густав должен был бежать, наследник был Бернадотт. В отомщение за обиду бабки и сестры,

[195] «Г. граф, любите ли вы розовую помаду?» – «Нет, мадам, я люблю бергамотовую» – «А я очень люблю розовую, и так как сегодня мои именины, меня ею напомадили».

император поддержал Бернадотта, и с вступлением новой династии Швеция лишилась поддержки Франции и сделалась совершенно безопасна для России.

Швеция, Норвегия и Дания страшным образом подтачивают новейшие теории, в Дании более половины народонаселения неверующие, и по окончании наук молодые люди иногда обращаются в христианство. То же самое у нас в Финляндии, и все это распространилось даже до Куспио, книгой мерзавца Ренана. Вавилон на Сене, как называл Париж Николай Дмитрия Киселев, будет отвечать за все свои преступления. Однако надобно сказать правду: здесь идет страшная борьба между духовенством и наставниками des écoles communales[196], оставленными Mr Duruy при Наполеоне III. Les frères de la doctrine chrétienne[197] взялись за воспитание мещан, детей служащего люда и за 30 ф. в месяц формируют благочестивых граждан. Иезуиты воспитывают детей высшего класса. Сен-Сирское училище, которое при Луи Филиппе известно было своим развратом и каждый вечер посвящало плотскому, то, что у нас называется шпицбалы, теперь не является в эти школы самого необузданного бесстыдства. Все усилия Гамбетты, Жоржа Ферри в уничтожении религии тщетны, церкви полны народа, и замечено, что мужчины почти более, чем женщины, прибегают к св. причащению. Покойная имп<ератрица> еще незадолго до своего последнего и тягостного путешествия дала поручение посольству собрать сведения о заведении аббата Руссель. У него был маленький капитал, после Коммуны он подобрал на улицах нищих мальчиков, которые в рубищах спали под воротами, питались даже отбросными корками; он нанял маленькую квартиру и поместил этих несчастных сирот. Он поехал в Англию в надежде собрать там способ для увеличения своей школы. На железной дороге он встретил господина, которого просил о помощи, тот ему отвечал, что во время войны Англия истощилась, что он ему советует повременить, дал ему 2 фунта и сказал: «Надеюсь, что через два месяца буду в состоянии дать вам более». Через несколько месяцев он прислал ему 200 000 ф.

[196] Коммунальных школ.
[197] Братья христианской доктрины.

Имя этого благодетеля осталось неизвестным. Многие приняли участие. Папа Пий IX ему послал, сколько мог, и теперь учатся 300 мальчиков, которые учатся всяким ремеслам. Он издает очень интересный журнал с литографиями под именем «La France illustrée». Шесть священников постоянно дежурят, они пишут текст журнала, а мальчики печатают с помощью паровой машины. Сам Руссель веселенький и живчик. Его сестры и двоюродные сестры чинят белье и одежду мальчиков. 40 мастеровых при доме, и он отдает в другое заведение где-то, где у него тоже заведение, и собирает постоянно деньги на свои заведения. Хомяков в своей брошюре сказал: «Le caractère affairé de l'Eglise de Rome»[198]. Это упрек пустой, гораздо хуже странное равнодушие наших попов, их сребролюбие, не говоря уже о светских членах православной церкви.

Но возвращаюсь к в в<еликому> к<нязю> и великой княгине. Екатерина послала их путешествовать. Они ехали под именем Comte et Comtesse du Nord[199], с ними были фрейлины Екатерина Ив<ановна> Нелидова и Наталья Семеновна Борщова, воспитанницы Смольного монастыря. Не знаю имен кавалеров, их провожавших. Кажется, нашим послом был Колычев, очень умный, но в высшей степени развратный. В Вене их приняли со всевозможными аттенциями, и тут они просватали Александру Павловну за эрцгерцога палатина Венгерского, с условием, что в<еликая> к<няжна> сохранит свою религию. Построена была церковь, но говорят, что под тем или другим предлогом бедную в<еликую> к<няжну> отдаляли как можно чаще от исполнения ее духовных обязанностей. Вскоре получили известие, что красавица в полном цвете лет скончалась. В Германии прошла молва, что какой-то венгерский граф, ее камергер, чтобы избавить юную несчастную жертву фанатизма, предложил ей ехать в Германию, где она и скончалась, но это чистая сказка. Воспитанная в самых строгих правилах, великая княгиня безропотно переносила страдания нравственные, пока ей позволяли физические силы.

Из Вены граф и графиня Северные поехали в Париж (год не помню), где имели большой успех. Великая княгиня пленяла

---

[198] Деловой характер Римской церкви.
[199] Принц и принцесса Северные.

красотой и грацией, в<еликий> князь своим остроумием и ласковым обхождением. Это пребывание было уже перед революцией. Везде прорывалось своеволие, печатали вредные книги, а что хуже – гравировали самые ужасные и опасные предметы, между прочим, Комма под названием «Justine». В<еликий> князь купил эти гравюры, запер их в сундук и собственной рукой написал: «Personne ne. doit ouvrir cette caisse, le burin des plus grands graveurs français ne s'est pas refusé de graver ces infamies»[200]. Этот сундук за печатью императора находился в Гатчине, и покойный государь решил его открыть; он при мне сказал импер<атрице>: «Mes cheveux se sont dressés sur ma tête, quand j'ai vu quelques gravures»[201], не знаю, где этот сундук. В<еликая> княгиня подружилась с Марией Антуанеттой и была с ней в постоянной переписке. Говорят, что в<еликая> княгиня Александра Иосифовна нашла 1000 писем несчастной и совершенно невинной королевы и что их напечатают. Воспитанная в Вене, где думали только о веселии и жили беззаботно, она и в Париже не соблюдала строго этикета. Она любила танцевать и танцевала кадрили с красавцем Диллоном, а вальс со шведом, красавцем Ферзеном. Михаил Юрьевич Вьельгорский мне рассказывал, что однажды, после лишнего тура вальса, она, засмеявшись, взяла руку Ферзена и сказала: «Voyez, comme mon coeur bat». Louis XVI qui était à coté, lui a dit: «M-me, on vous aurait cru sur parole»[202]. Ее восторженностью воспользовался мерзавец кардинал де Rohan, история du collier de la Reine[203] всем известна. В Париже была женщина, известная под именем la femme La Motte, она была похожа на королеву, и ей досталось le fameux collier[204]. Эта La Motte умерла в Одессе. Она очень дорожила какой-то шкатулкой. После ее смерти открыли шкатулку и нашли только ножницы. Как и почему она очутилась в Одессе, неизвестно.

---

[200] «Никто не должен открывать этот ящик; резец величайших французских граверов не отказался гравировать эти бесстыдства».

[201] «У меня волосы встали дыбом, когда я увидел некоторые из этих гравюр».

[202] «Посмотрите, как бьется мое сердце». Людовик XVI, который был рядом, сказал ей: «Мадам, вам поверили бы в этом на слово».

[203] С ожерельем королевы.

[204] Это знаменитое ожерелье.

В<еликий> князь посещал Академию наук, Сорбонну, гошпитали, сестер милосердия, но не был у герцогини <нрзб>. Они посещали оперу. Мария Антуанетта очень покровительствовала Глуку, а публика не отнеслась так к появлению его пьес. Хотя гроза уже издали гремела, Гонкур в своих «Pensées» пишет: «Французы говорят, что родина – покровительница».

Из Парижа путешественники приехали в Берлин, и там устроился брак в<еликой> княгини Елены Пав<ловны> с герцогом Павлом Мекленбург-Шверинским, и этот брак был столько же счастлив, сколько несчастлив брак венгерской палатины. В<еликий> князь был в восторге от прусского короля и король ценил <великого> князя.

Когда они вернулись, Екатерина приняла их очень хорошо и объявила, что пора выдать замуж в<еликую> княжну Марию Павловну. В 1804 году выписали герцога Саксен-Веймарского. Он был дурен, глуп и обжора, но добродетельная Мария Павловна его любила и была счастлива. Она нашла еще старика Гете и кружок людей умных и приятных. У нее было две дочери: принцесса Мария (старшая), которая вышла за принца Карла Прусского, и Августа, жена ныне царствующего германского императора Вильгельма, и сын. В Петербурге проживали иностранные принцы: Леопольд Саксен-Кобургский, брат Анны Федоровны, жены в<еликого> к<нязя> Константина Павловича, принц Павел Вюртембергский и принц Ольденбургский. Они состояли в русской службе. Брат в<еликой> княгини Марии Федоровны был начальником путей сообщения. Он был человек замечательного ума и ученый. В<еликий> князь Михаил Павлович его называл: «Mon oncle le grand pontife»[205], а в обществе его звали «Шишка», потому что у него над правым глазом была большая шишка. Он был также начальник Инженерного корпуса. Он жил скромно, одним жалованьем, и занимал несколько комнат в Шепелевском дворце.

В 1810 году получили неожиданное известие, которое взволновало весь двор. Наполеон просил руки в<еликой> княжны Екатерины Павловны. Рибопьер мне рассказывал, что утром за завтраком в<еликая> княжна с приближенными шутила и смеялась над принцем Ольденбургским, который

---

[205] Мой дядя первосвященник.

не скрывал своих чувств (между нами будь сказано, у него был постоянно понос). Вечером у вдовствующей императрицы Марии Фед<оровны> было большое собрание, не было только ни Екатерины Павловны, ни принца Ольденбургского. Дверь отворилась, и дежурный камергер громко объявил: «Ее императорское высочество с нареченным женихом принцем Ольденбургским». Наполеону написали, что его предложение пришло после помолвки. Но за это мы поплатились войной 1812 года. Наполеоны – выскочки, которые никогда не забывают и не прощают тем, кто смотрит на, них иначе, чем на происходящих из великих и древних династий. Вышли записки Ремюза: каким мелочным подлецом оказывается великий полководец. Он был только великий полководец и фигляр.

В 1796 году 12 июля родился в<еликий> князь Николай, а за год перед этим в<еликая> к<няжна> Анна Павловна. По вступлении на престол родился порфирородный в<еликий> к<нязь> Михаил, а после него в<еликая> княжна Ольга, которая жила только неделю. Державин написал стихи на ее смерть, сравнил ее с розовым лепестком. Они напоминают стихи Малерба:

Et rose, elle a vécu
Ce que vivent les roses –
L’espace d’un matin[206].

При царских детях были дамы, которых называли полковницами. Они давали отчет доктору о здоровье ребенка, заставляли его молиться и были неотлучны от него. Полковницей в<еликого> князя Николая была полковница Адлерберг, а ее помощницей полковница Тауберт. Вот откуда та привязанность, которой пользовались и пользуются Адлерберги. С младенческих лет в<еликий> к<нязь> Николай привязался к Владимиру Федоровичу, и он вполне заслуживает доверие, которым пользовался.

В записках генерала Рапп вы найдете самое точное повествование о страшной ночи, когда совершилось ужасное преступление. Нет сомнения, что несчастный Павел был подвержен припадкам сумасшествия. Но кого же он сделал

[206] И роза, она прожила / Сколько живут розы: / Одно лишь утро.

несчастным? Он ссылал в Москву, в дальние губернии. При нем не было рекрутского набора, нового налога, не было войны, Россия была покойна. Пушкин мне рассказывал, что в 6 часов не было ни одной бутылки шампани. Совершив гнусное дело, несчастные ликовали. Я раз говорила князю Дмитрию Александровичу Хилкову, что император Павел навел страх на всю Россию. – «Скажите – на Петербург. Страх божий – начало премудрости. После страшной распущенности царствования Екатерины нужна была строгая рука. Он разогнал толпу и оставил при себе Куракина, который вполне заслуживал его доверия. Павел был человек религиозный и нравственный». Он был дежурным пажом 1-го марта. Павел получил столовый фарфоровый сервиз от прусского короля, никогда не был так весел, как в этот вечер, шутил с Нарышкиным, разговаривали о Наполеоне и его войнах. Он сказал великое слово: «Il me semble que les souverains n'ont pas le droit de verser le sang de leurs sujets pour ruiner leurs différents; il faudrait faire comme dans les anciens temps et se battre en champ clair avec ses champions». «C'est une parole chevaleresque et Paul était un preux chevalier dans toute acception du mot»[207]. Кстати или некстати, в Петербург приехал из деревни старик Скарятин и был на бале у графа Фикельмона. Жуковский подсел к нему и начал расспрашивать все подробности убийства: «Как же вы покончили, наконец?» Он просто отвечал, очень хладнокровно: «Я дал свой шарф, и его задушили». Это тоже рассказывал мне Пушкин.

Но возвращаюсь к институту. В ноябре 1825 года получено было известие о кончине императора Александра. Федор Ник<олаевич> Глинка мне рассказывал, что в последние годы своей жизни Александр впал в горькую ипохондрию, сблизился с женой и жил более в Царском Селе. Перед отъездом из Петер<бурга> он посетил в Невской Лавре монаха Авеля, известного своей отшельнической жизнию и духом прозрения. Он беседовал с ним целый час, и Авель ему сказал, что он не увидит более своей столицы. То же самое предсказала ему

---

[207] «Мне кажется, что государи не вправе проливать кровь своих подданных для уничтожения не угодных себе. Нужно было бы поступать как в древности и сражаться в открытом поле со своими соперниками». Это рыцарские слова, и Павел был доблестным рыцарем, в полном смысле слова.

в 1815 году мадам Le Normand. Она ему сказала: «Les dernières années de votre règne sont obscurcies par des inquiétudes, vous mourrez loin de votre capitale, après vous viendra un règne long et glorieux, et puis je ne vois que désordre, flamme et feu»[208] – и смешала карты. Это мне рассказывал Федор Ив<анович> Тютчев. Карты для Ле Норман были традицией, она приходила в состояние ясновидения. Недавно умер в Париже некто Эдмон, у него не было карт, а он вдруг приходил в ясновидение, предсказал падение Наполеона, и ему запрещено было принимать.

Александр Пав<лович> выехал в коляске с своим кучером Ильей, у Трех рук он остановился, долго смотрел на Петерб<ург>, глаза его налились слезами, и он сказал: «Илья, я более не увижу Петербурга». Он тут родился, вырос, тут любил, тут выстрадал в страшную годину 1812 года; весьма естественно, что он любил места родимые. И я люблю Одессу, хотя Одессы моего детства не осталось и помину, и перед моим приездом наш хутор с домом обвалился в Черное море, и море его поглотило, и Грамаклея, и Адамовка мне кажутся лучше всех деревень на свете.

Императрица Елисавета Алексеевна писала из Таганрога: «Notre Ange est au ciel et je regrette sur la terre»[209]. Все носили кольца с этой надписью, в 68 году я видела еще это кольцо у графа Киселева. Это известие как громом поразило всю Россию. Митрополит Филарет тотчас с нарочным прислал бумагу, которая лежала в Успенском соборе на престоле под печатью. Об этой бумаге знал только покойный император, вдовствующая императрица, князь Александр Николаевич Голицын и секретарь его Попов, который и отвез ее в Москву. Вероятно, Филарет знал, что она заключает добровольное отречение от престола в<еликого> князя Константина Пав<ловича>: отречение, когда получил позволение жениться на девице Грудзинской, получившей титул княгини Лович. В<еликий> к<нязь> Николай, не зная ничего, тотчас первый присягнул императору Константину, и во дворце присягали первые чины двора.

---

[208] Последние годы вашего царствования затемнены беспокойствами, вы умрете вдали от вашей столицы, после вас придет царствование долгое и славное, а потом я вижу лишь беспорядок, пламя и огонь.

[209] Наш ангел на небесах, а я горюю на земле.

Неизвестно, почему вдовствующая имп<ератрица> присягнула. Когда же из Москвы нарочный привез бумагу, содержащую отречение, в<еликий> к<нязь> и министр юстиции, князь Дмитрий Ив<анович> Лобанов-Ростовский решили послать еще в<еликого> к<нязя> Михаила Пав<ловича>, чтобы узнать, не переменил ли мнение в<еликий> к<нязь> Константин. Великий князь встретил генерала, кажется Феншоу, посланного вице-королем польским, чтобы поздравить брата со вступлением на престол, и в Варшаве сам присягнул, польская армия и вся Польша.

В городе сделалось волнение. В Московском полку не хотели вторично присягать, офицеры подстрекали солдат к неповиновению. Командир, барон Фридрикс, был ранен. То же повторилось в Измайловском полку, ранен был Штюрмер. Во дворце занимал караул Морской пехотный полк, капитан Панов не хотел присягать. Их заменили павловцы. В Царском Селе гусары тоже бунтовали, и полковник Велио был ранен. Вся царская фамилия была собрана в Зимнем дворце, все министры, сенаторы и вообще замечательные люди, между ними Карамзин, находили положение опасным, советовали послать за экипажами и вывезти всю царскую семью. Но вдовствующая императрица и Александра Федоровна объявили, что не оставят государя в опасности.

Преображенский полк выстроился перед Дворцом, государь проходил перед рядами, уговаривал их быть верными присяге. Между тем площадь наполнилась народом, который волновался и кричал, сам не зная, зачем: «Дайте нам Константина и жену его Конституцию!» Сумасшедшие вожди заговора велели кричать «Конституцию!» Петерб<ургский> генерал-губернатор, неустрашимый граф Милорадович старался успокоить войско и народ, но был смертельно ранен Каховским, и дело приняло еще более серьезный оборот. К несчастью, на площадь проникли моряки, и тогда уже генерал Алексей Федорович Орлов послал сказать государю, что нельзя более терять времени, наступила темнота. Три выстрела из орудий рассеяли толпу. Зачинщики рассеялись, и полиция ночью их разыскивала. Князь Петр Трубецкой скрывался у австрийского посла Лебцельтерна, его шурина; Щепина-Ростовского нашли где-то под мостом. Вечером все было совершенно спокойно.

Николай Алексеевич Муханов обедал у английского консула, он позвал сына: «Таганрог, друг мой, поди сюда! Я очень любил императора Александра и назвал его Таганрогом в память о нем». После Крымской войны *у* них появились Альмы и Инкерманы, а жену лорда Гренвиля зовут Касталия.

Митрополит Серафим остановлен был чернью в переулке. Дмитрий Ев<сеевич> Цицианов подошел к его карете и сказал ему: «Что ты, старый дурак, тут делаешь? Ступай в Лавру». Утром у него был Оболенский и все ему рассказал, он надел шапку и палку взял и отправился на площадь.

Я была в институте, в 5 часов мы посылали женщину, которая жила у начальницы, в лавочку за всякой дрянью, она долго не приходила. Все ее окружили и спрашивали, что с ней было. – «Девицы, я чуть со страху не умерла, – отвечала Сашка, – в городе был бунт, стреляли из пушек, и что народу перебило!» Это все прибавлено. Начались аресты, получили весьма тревожные известия из второй армии. У генерала Киселева находился самый опасный член общества, Пестель, умнее и образованнее прочих, он очень легко вербовал молодежь; генерал Юшневский, Муравьев.

В Пажеском корпусе пажи играли и шутили. Всех веселее был Линфорд. Один из офицеров, Клуге фон Клугенау, сказал ему: «Какой вы сын отечества!» – «Я не сын отечества, я Вестник Европы». Тогда было три газеты: «Петерб<ургские> ведомости», «Вестник Европы» и «Сын Отечества».

Между тем казаки везли шагом из Таганрога тело покойного императора, останавливались в городах и у всех церквей служили литии. Гроб был закрыт и поставлен в Казанском соборе. Казаки в память того, с которым они воевали по всей Европе, жертвовали серебро на иконостас. Все жители Петерб<урга> сочли долгом поклониться тому, который с такой славой умиротворил Европу. Всем известны стихи на возвращение покойного:

Ты возвратился, благодатный,
Наш кроткий ангел, луч с небес.

Все институты облеклись в черные передники, и нас возили в Казанскую. Признаться надобно, что для нас это было partie

de plaisir[210], потому что мы катались в придворных экипажах только на масленицу и на святой. Когда после смерти государя императрица вошла в наш класс, мы были так поражены ее переменой и грустью, что встали молча, у многих навернулись слезы. Она, видимо, была тронута и сказала: «Mes chers enfants, vous avez perdu un protecteur, vous en avez un autre»[211]. 14 число отозвалось и у нас в институте. Очень искусный инженер, полковник Богданович, брат дамы классной, был замешан в заговоре и застрелился. Брат девицы Галяминой тоже был арестован, но вскоре выпущен.

Великим постом назначен первый экзамен у священника при императрице. Она приехала в 10 часов утра, с ней князь Александр Ник<олаевич> Голицын. Нас экзаменовали от 10 до часу, а в два продолжался экзамен до 7 часов вечера. Императрица и ее свита у нас обедали. Прежде продолжения дано было три дня.

После этого были публичные экзамены. В первых рядах за решеткой сидел митрополит Серафим, священники, католический епископ Сестренцевич, он был почтенный старик, Филарет его очень уважал, он был склонен к православию, и все иностранные послы, которые знали, что это будет приятно государыне, присутствовали и министры. После этого назначен был день прощания, императрица приехала с государем. Он был бледен и очень худ, видно было, что он очень озабочен. Мы пели прощальные стихи, сочиненные Плетневым, а Кавос, наш учитель пения, сочинил музыку:

Расстаемся, расстаемся,
Мы с приютом детских лет,
Мы судьбе, зовущей в свет,
Невозвратно отдаемся.
Был у нас другой хранитель,
Он уж взят на небеса,
Небеса его обитель.

[210] Увеселительная прогулка.
[211] Милые мои дети, вы потеряли одного покровителя, но у вас есть другой.

При этих словах слезами прервались наши голоса, мы не окончили. Государыня взяла за руку молодого императора и сказала: «Au revoir, mes enfants»[212].

Пришел и день выпуска. В 10 часов была обедня, молебен с коленопреклонением, все уже были одеты в городские платья, всякая по своему состоянию. Я была в казенном платье, меня никто не брал. Дядя Дмитрий Ив<анович> написал, что он и жена его стары, никогда не выезжают из Грамаклеи и что я со скуки у них умру. Марья Ив<ановна> Лорер тоже отказала, потому что была в глубокой горести. Ее племянница Елизавета Петровна Нарышкина, рожденная графиня Коновницына, готовилась ехать в Сибирь с мужем. Ее братья Петр и Иван были сосланы на Кавказ. Три звонка. Дверь отворили в рекреационной зале, и вошла государыня. Мы стояли, за ней шла начальница и дамы классные в своих синих мундирных платьях и несли шифры, золотые и серебряные медали. 1-й шифр получила Бартоломей, дочь известного доктора Бартоломея, второй я, меня подкузьмила арифметика, а то бы я получила первый. Третий – Нагель, четвертый – Эйлер. Шифры очень красивы: золотая буква «М» с короной, на белой муаре ленте, окаймленной красным цветом. Императрица сама прикалывала шифры и раздавала медали. Стефани Радзивилл получила вторую золотую. Это мы смастерили столько же для Стефани, которую все любили, столько же, чтобы сделать удовольствие государыне. Бедняжке было шесть лет, когда ее привезли в институт, мать ее не любила, она была почти сирота, но добрая государыня была совершенно как мать для нее. После медалей пошли поклоны. Последний для бедной Трамбицкой, которая не хотела подходить, но импер<атрица> ее подозвала и сказала: «Ma chère enfant, si vous n'avez pas bien étudié, vos Dames de classe ont été contentes de votre conduite, je sais que votre mère est très pauvre, au lieu de 250 roubles qu'on donne aux enfants qui ne peuvent pas se faire une toilette convenable, vous aurez 500 roubles»[213]. После этого государыня собственноручно дала

[212] До свидания, дети мои!

[213] Дитя мое, если вы и не учились хорошо, то ваши классные дамы были довольны вашим поведением; я знаю, что ваша мать очень бедна; вместо 250 р., которые дают детям, не имеющим возможности сделать приличный туалет, вы получите 500 р.

каждой из нас евангелие и каждой сказала: «Lisez tous les jours un chapitre, mon enfant». Уезжая, она сказала начальнице: «La petite Rossett reste ici jusqu'à nouvel ordre, m-lle Euler aussi, les parents doivent les prendre pour un mois! Et petite Radziwill pourra venir de demain au palais avec sa gouvernante m-lle Ungebauer»[214]. Спустя месяц нам сшили черные шерстяные платья, и начальница повезла нас в Зимний дворец, где нас представили как будущих фрейлин императрицы Александры Федоровны, а оттуда в Аничковский, где нас представили ей. После нескольких слов гофмаршал их двора, граф Моден, велел нас отвести в наши комнаты – всего три маленькие конурки; в спальне была перегородка, за которой спала моя неразлучная подруга Александра Александровна Эйлер. Она тотчас наняла фортепиано, и мы с ней играли в четыре руки; тогда в моде был Hummel, конверты его и сонаты прекрасные. В институте я брала уроки у m-me Nagel; ее внучка Капитолина была косая, злая и капризная девчонка, я ее терпеть не могла. Бабушка ее, которую все звали Grand Maman, была католичка, у нее было много католических книг, между прочим «La vie de St. Augustin». Старушка обедала у начальницы и всегда оставляла пирожное для внучки. Капитолина приглашала Балугьянскую и меня в 3 ½, когда был отдых, с ней разделить это пирожное. Однажды она все нам отдала; когда мы спросили ее, зачем она не ест, она отвечала: «S-te Monique ne mangeait que quand elle avait faim»[215]. Балугьянская и я, мы уплели все, и всякий день она отказывалась. Мы говели на страстной неделе, уже у Наумова, перед исповедью он нас очень серьезно приготовил к исповеди и принятию святых тайн, до той поры мы не слыхали подобных слов. Все заметили, что он произвел сильное впечатление на Капитолину. Она вдруг изменилась, утром молилась и с молитвой умывалась, одевалась, в классе делала то же самое, можно без преувеличения сказать, что она вся обратилась в молитву, начала прилежно учиться. Девицы было начали смеяться, но ничто ее не смущало, и с уважением

---

[214] Читайте каждый день одну главу, дитя мое. <...> Маленькая Россет останется здесь до нового, распоряжения и Эйлер тоже, родители должны их взять на месяц! А маленькая Радзивилл может явиться завтра во дворец со своей гувернанткой мадемуазель Унгебауэр.

[215] Св. Моника ела только когда была голодна.

смотрели на нее. Она была очень нетерпелива, играла гораздо лучше меня на фортепиано и сказал мне: «Ma chere Sachenka, rendez-moi un service, voici une sonate très difficile de Hummel, nous la jouerons mesure par mesure, je vous promets de ne pas m'impatienter»[216]. Что было сказано, то было сделано, и я ей очень благодарна. После выпуска Балугьянская пригласила некоторых подруг на танцевальный вечер. Старушка m-me Nagel предложила Капитолине туда ехать, но она слезно просила не везти ее на бал. Ее назначили пепиньеркой, но спустя месяцев шесть она занемогла. Ее свезли в лазарет, доктор сказал, что у нее нервное расслабление и что должна быть нравственная причина, потому что все укрепляющие средства не помогали. Она на исповеди призналась Наумову, что желает перейти в римскую церковь, поступить во Франции в монастырь, что желание так сильно и она только тогда будет здорова. Нечего было делать. Цаумов очень жалел, но, зная состояние наших монастырей, он ей сказал, что не может и не хочет ей мешать. Бабушка отвезла ее в Версаль к аббату Préfontaine, она выучилась латинскому языку и поступила в Sacré-Coeur de Paris, rue de Vanne, faubourg St. Germain. Теперь она abesse du Sacré Coeur à Confesseur.

У нас был слуга, мужик Илья, он приносил нам обед, у Эйлер была девушка чухонка, а у меня русская; эти две постоянно ссорились. Илья мне сказал: «Ваша Прасковья Михайловна – злейшая раскольница и очень вредная женщина. Она принадлежит к расколу Солодовникова и серебряных лавок». Однажды она была так зла, что я ее спросила, что с ней делается. Она мне отвечала, что закрыли часовню купца Милова, а вскоре закроют часовню купца Косова. Я ничего ровно не понимала и только позже узнала, что значит секта серебряных лавок.

Однажды утром я слышу громкий голос в передней и узнала знакомый голос Фомы Александровича Кобле. Он вошел, меня обнял и сказал: «Ах, Сашенька, как я рад, что вы теперь во дворце и что государыня не отдавал вас к Арнольди, даже запретил этот скверный человек принимать в институт». Я спросила его о бабушке. «Ваша бабушка еще жива, но очень горюет,

[216] Милая Сашенька, окажите мне услугу; вот очень трудная соната Гуммеля, проиграем ее такт за тактом, я обещаю вам не терять терпения.

что Николаша в Сибири, а Митя с женой взяли племянника Пузанова и хотят ему оставить Грамаклею; я сказал им, что нехорошо, потому что Сашенька будет просить государя и Николашу простят». Я его спросила о детях. «Клавдинька вышла замуж за маркиза Паулуччи, с ней поехала мадемуазель Курсель, вы помните ее; Аполлон управляет Коблевкой, а я живу с мой пансион; все сожалею моя жена; я ее очень любил, она была дочь казацкой полковник Цветогоров, меня туда послали в его станица. Мы полюбили друг друга». Полковник мне сказал: «Черт тебя знает, кто ты такой, и вера-то у тебя не наша». Тогда я свою невесту увозил, посадил ее перед меня на лошадь, сказал ей держаться крепко. Я был честный человек, мы скакали 40 верст, и в первой станице, где был поп, я на ней женился. Она прежде не хотела и говорила: «Фома Алек<сандрович>, вы такой ученый, а я ничего не училась». – «Какой я ученый, я только помню свои шотландские песни». – «А как же вы генерал?» – «А это я за свою храбрость генерал. А вы, Сашенька, были у Мордвинова? Вам надо туда ехать, он был друг вашего папеньки. Его жена – моя сестра, а племянница – моя, за господин сенатор Столыпин, прекрасный человек». – «Я ее знаю, она очень дружна с тетенькой Марьей Ив<ановной>». – «Ну так вы должны ехать с ней к Мордвинову». Добрый Кобле уехал и более я его не видела.

В институте, я еще была в маленьком классе, мне пришли сказать, что у начальницы в передней ожидает меня женщина. Я вошла и не узнала ее. «Барышня, вы меня не узнали – я была горничная вашей маменьки, я Татьяна; как вы выросли, я вас не узнала бы». «Ах, Татьяна, как я рада вас видеть, я не помню, где я вас видела в последний раз», – «В Усмани, я всегда была вольная, одесская мещанка. Я уж не хотела оставаться от Ив<ана> Карловича и просила отпустить; он меня записал в крепостные. Я жаловалась исправнику, он и его разругал, тогда я пошла к Гакебушу, они мне дали с Амальей Ив<ановной> деньги и я с ними приехала а Одессу».

Однажды я стояла у окошка и видела, что импер<атрица>, стоя, кушала что-то; она меня увидела, и вижу, что она рукой меня зовет. Когда я пришла в кабинет, она мне сказала: «Avez-vous mangé des fraises hors de saison, en voila dans ce petit panier, cela vient des serres de Czarskoe. Comment vous

appelle-t on?» – «Alexandrine, mon jour de nom est le 23 d'avril». – «Ma chère, c'est le jour où les vaches vont au champs. Mon jour de nom est le 21 d'avril»[217]. 23 утром пришел лакей меня поздравить с именинами и принес белую Gaz de Chambéry на платье, гренадиновые цветы и веер трокадеро, они были в моде, и я его долго сохраняла. Очень часто императрица за мной посылала, и я ей рассказывала наши институтские шалости. У нее была счастливая способность серьезно интересоваться окружающими ее. Ее фрейлина, графиня Софья Гавриловна Моден, заметила, что я пользуюсь расположением государыни, и невзлюбила меня, и однажды императрица мне сказала: «Il faut que j'invite plus souvent Sophie le matin, car elle est envieuse; on s'imagine que je suis libre de voir et d'aimer qui je veux, ce serait un bon privilège, mais on se trompe, j'aime beaucoup la princesse Troubetzkoy et Catiche SaltykoÉf, mais si j'invite une fois de plus l'une on l'autre, elles boudent»[218].

До страстной недели мы поехали в Царское Село и жили в Большом дворце. В крепости производили суд над заговорщиками, декабристами, как их называли, а в Царском государь принимал дела от Аракчеева. В 9-ть часов мы собирались в крошечном кабинете Екатерины. Императрица работала, граф Моден читал ей какой-то невинный и скучный роман, его дочь, Эйлер и я, мы втихомолку зевали, а доктор Крейтон храпел. Около 10-ти часов слышен был мерный и твердый шаг государя. Он приходил в старом сюртуке Измайловского полка, которого был шефом, без эполет, бледное лицо его выражало усталость. Императрица ему сказала: «Mon Dieu, que vous avez l'air fatigué[219]!» – «Да, поработать с Алексеем Андреевичем нелегко, дела страшно запутаны, и мне приходится их разбирать за несколько лет». Мы ужинали, а государь, посидев с четверть

---

217 «Ели вы когда-нибудь землянику не в сезон – вот в этой маленькой корзинке, это из оранжерей Царского. Как вас зовут?» – «Александрина, мои именины 23 апреля». – «Моя милая, в этот день коров выгоняют в поле. Мои именины 21 апреля».

218 Мне нужно почаще приглашать Софи утром, потому что она завидует; воображают, что я могу видать и любить, кого хочу, это было бы очень хорошо, но это ошибочно. Я очень люблю княгиню Трубецкую и Катиш Салтыкову, но если я приглашаю одну или другую лишний раз, они сердятся.

219 Боже мой, какой у вас усталый вид.

часа, уходил к себе в кабинет, за китайскую залу. Уходя к себе, я видела, что поваренки еще содержат огонь на случай, государь захочет ужинать.

Я с Эйлер жила внизу, окошками на большой двор. Мы уж легли, Эйлер спала, я услыхала конский топот, вскочила и подошла к окну. Мимо наших окон проскакал кто-то на серой лошади, в серой шинели и серой каске, к калитке сада, у, которой всегда инвалид. Утром Софья Моден мне сказала, что та же странная фигура проскакала мимо ее окон, но затем под колоннадой нашли следы, вдоль по аллее, мимо беседки, называемой «У Померанца», перескочила через канавку у Лебедя, и тут исчезли следы. Императрица уже спала, но удивительно, что государь ничего не слышал, он ничего не говорил, то полагали, что не слышал. Моден полагал, что это была фарса какого-нибудь лейб-гусара. Караул на дворе также его видел, инвалид у решетки ему отворил ее, часовой у Померанца тоже. История этого часового очень смешная. Император Александр увидел, что на померанцевом дереве один уже остался, и хотел его сберечь и приказал поставить часового; померанец давно сгнил, и дерево поставили в оранжерею, а часового продолжали ставить у пустой беседки. Император проходил мимо и спросил часового, зачем он стоит. «У померанца, ваше величество». – «У какого померанца?» – «Не могу знать, ваше величество». Волконский ему объяснил дело, и часового отменили. Тот, который говорил m-me Stael: «Je ne suis qu'un heureux accident»[220], был либеральнее на словах, чем в действительности. Мучить часовых из-за померанца непростительно.

Очень старый гоф-фурьер приходил всякий день осмотреть наши комнаты. Я спросила, чьи эти комнаты были до нас. «Светлейшего Таврического Потемкина, с тех пор никто не жил. Комнаты под колоннадой были для фаворита. Я был лакеем у Ланского, когда он убился; он прекрасно ездил верхом, хотел перескочить у Лебедя, лошадь споткнулась, и он головой ударился о камень, его принесли без памяти. Пустили кровь, она не пошла. Мы думали, матушка государыня с ума сойдет. Его похоронили в Софийской церкви». Его бюст есть у его

---

[220] Я лишь счастливая случайность.

сестры Кайсаровой. Говорят, что Екатерина его только так любила, а потом Платона Зубова.

Мне рассказывал Александр Павлович Яковлев, что когда Александр ехал в Калугу, не знаю, где был крутой спуск, погода была дождливая, и губернатор Омельяненко целую неделю сам ездил осматривать дорогу. Император приехал не в духе. С горы пришлось спускать его экипаж на руках. «Дорога очень дурна», – сказал он сердитым тоном. «Ваше величество, 8000 человек работали целую неделю». – «50 000, милостивый государь, когда едет ваш император!» Нелиберальный Николай Пав<лович> после приключения в Чембаре не ездил более с своим кучером Яковом, на станциях ему выбирали лучшего кучера. От Подольска до Москвы дорога была ужасная. Ямщик ехал шагом. Государь был подвержен мигреням, его тошнило, он сказал Орлову: «Я лучше пойду пешком». Ямщик повалился ему в ноги: «Государь, я пропал, если скажут, что я своего царя не умел везти». Он сел, и 6 часов битых они тащились до Москвы.

Александр умел быть колким и учтивым. На маневрах он раз послал с приказанием князя Лопухина, который был столько же глуп, как красив; вернувшись, он все переврал, а государь ему сказал: «И я дурак, что вас послал». Николай Пав<лович> сказал генералу Токаржевскому дурака, и на другой день извинился перед фрунтом.

Я пишу без всякого порядка и хочу сперва покончить об институтах. Государыня очень заботилась о вентиляции, тогда не было новых способов изменять воздух. В каждом классе были две двери, которые открывали, когда в половине 12-го мы ходили по коридору, и открывали форточку. Когда мы входили, было 13 градусов Реомюра. Мы снимали пелеринки, когда отогревались, и чуть делалось жарко, открывали окна в коридор, эти окна называли фрамыгами. В коридоре всегда было свежо и накурено смолкой. Когда было холодно, мы надевали большие драдедамовые платки. В 12 часов мы обедали. Начиналось пение трехголосного «Отче наш», и если на голодный зуб пели дурно, то должны были повторять. Обед наш был самый плохой, но это была вина эконома. Экономы во всех казенных заведениях – бедовые люди. У всякого заведения был опекун, наш был ученый генерал Клингер (он тоже написал трагедию

«Фауст»), мы ему жаловались; сменили одного и взяли Дириана, у которого был единственный сын и было состояние, а нас кормили все также худо. Провизия не была дурна, но кухарки, из ряда вон небрежные, поджаривали скверную говядину с тёртой de pomme de terre ou de pois[221]. Суп был вроде того, который подавали Хлестакову, и трапеза заключалась пирогом из какой-то серой муки, и начинка была чернослив или морковь, мы ели эту дрянь и были здоровы. На первой и последней неделе великого поста, в среду и пятницу нам давали похлебку, белорыбицу, от которой столовая наполнялась такой вонью, что мы кричали издали воспитанницам: «Вон, вон!», а вместо пирогов клюквенный кисель с сытой. Но хлеба всегда было вдоволь, и мы делали тюрю, были сыты и здоровы. Я узнала, что нынче в институтах дают картофель счетом и даже черный хлеб порциями; изменили часы. Мне кажется, что в мое время все было правильнее устроено. Для учениц и учеников полтора часа сряду следить за уроком по силам, а два часа утомительно. Когда мы обедали, класс выметали, опять открывали форточку и впускали свежий воздух. От часу до двух мы ходили и учили наизусть для учителя. В два часа учитель приходил до 3 ½, опять ходили попарно, молча, по коридору. Вообще молчание соблюдалось и за отдыхом, а в 5 часов ходили пить чай, а победнее довольствовались ржаным хлебом с солью. Хлеб пекли у нас в подвале и он был прекрасный и прекрасно испечен. Из лазарета государыня обыкновенно входила в 1-ое отделение, она вызывала, осматривала с ног до головы, ей показывали руки, зубы, уши. Она сама убеждалась, что мы носим панталоны. Дирин шил новые из такой дерюги, что они были похожи на парусинные, а фланелевые юбки такие узкие, что после первой стирки с трудом сидели в них. Когда мы говели, после причащенья все три отделения, «кошечки» и «простушки», были собраны. Императрица приезжала нас поздравлять с принятием святых тайн и увещевала нас не забывать, что мы совершили самый важный акт в этой жизни. При ней нам подавали чай с красным вином и каждой просвиру. В институте не делали шагу без ее истинно материнской заботы и любви.

[221] Картошкой или горохом.

Ее деятельность была изумительной. Летом и зимой она вставала в 7 часов, тотчас одевалась, а с 8-ми часов она уже занималась с секретарем Вилламовым. Он вел переписку с госпиталем и институтом. Екатерининский институт был основан в 1800 году на собственные деньги, императора Павла и его супруги. Дом, кажется, принадлежал графу Воронцову и вполне отвечал своему назначению, потому что за домом был большой сад, и стена отделяла нас от Литейной улицы, грунт гораздо выше и воздух здоровее; вот почему императрица устроила там тоже Мариинскую больницу. Влево от строения для девиц и прислуги, живущей в подвале, большой двор, там прачечная, кухня, стойло для лошадей и сарай, помещение для эконома, полицмейстера и Беловой, с ней живут две питомки.

Наш капельмейстер господин Berting, un personnage des contes de Hoffman[222]. Он так любил музыку, что даже когда настраивал фортепиано, останавливался на созвучиях и потряхивал головой; когда мы танцевали des pas, Mr Didelot хлопал в ладоши и приговаривал: «Раз, два, три, раз, два, три, голова ваша пади», Бертинг с чувством ударял смычком по своей старой скрипке и качался на стуле. Прочие музыканты были сыновья наших солдат: Васька, Ванька malade[223], потому что был долго болен, и Васька косолапый. У Ваньки malade был прекрасный почерк, и он всегда подавал государыне рапортичку.

Начальницу m-me Breitkopf мы так любили, что точно от души ее называли maman. Наш сад был как игрушка, maman сама сеяла, сажала и пересаживала цветы, в больших перчатках она рылась в грядках, и мы ей помогали. Ее старшая дочь была замужем за Василием Николаевичем Зиновьевым. Василий Ник<олаевич> был человек замечательный строгостью своих правил, твердостью своих убеждений и щедростью. Он был друг Воронцова, князя Михаила Цицианова; его сестра была замужем за несчастным Григорием Орловым. Она умерла в чахотке и похоронена в Ливорно, где скончалась. (В Ливорно похоронена также Александра Андреевна Воейкова, сестра Жуковского, на ее надгробном камне написано: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в меня и в дела мои».) Она была

[222] Персонаж из сказок Гофмана.
[223] Больной.

красавица, и после ее смерти Орлов окончательно помешался. Говорят, что Екатерина его боялась. Я очень люблю надпись на воротах в Царском: «Орловым от беды избавлена Москва». У Екатерины была потребность кокетствовать умом, ее письма Гримму от этого утомительны. Отсутствие чувства утомляет в разговоре, а тем более в переписке. В любимом внуке Александре она видела свое творение. Она вызывала Даламбера, но он отказался по болезни. Дидерот приехал единственно, чтобы продать свою библиотеку. Митрополит Платон был еще в Петербурге, он изъявил желание его видеть, вошел в комнату и сказал по-латыни: «Нет бога» с торжественным видом, полагая, что Платон не знает по-латыни, но очень удивился, когда он ему сказал: «Рече безумец в сердце своем», показал ему дверь и ушел. Тогда приехал швейцарец La Harpe, родной брат моей бабки Россет. Всем известно, какого рода воспитание он дал своему ученику: мораль, не зависящая от религии. Император его очень любил, и в 1815 году La Harpe у него жил в Елисейском дворце и был приглашен на все обеды. Государь часто ездил в Мальмезон к бедной Жозефине. M-me Récamier с мужем часто была приглашаема на эти обеды. В нее страстно был влюблен прусский принц Август и предлагал ей развестись с старым доктором Récamier, но она решительно отказала. Он выпросил позволение снять ее портрет во весь рост. Судя по этому портрету, она совсем не так хороша. Я купила за сто франков ее портрет, писанный на кости Bouvier. Она жила тогда у m-me de Stael в деревне, с которой была очень дружна; она была очень стройна, черты лица тонкие и прелестное выражение. Она кончила жизнь в Abbaye au Clair. Ballanche, автор de la Palingenesie, Chateaubriand были ее ежедневными посетителями. M-me Récamier была в Эмсе, когда в<еликая> к<нягиня> Александра Федоровна там пила воды после вторых родов. Она мне говорила: «Quand je l'ai vue, ce n'etait plus qu'une grosse petite femme, toute simple»[224].

Со всем своим умом m-me de Stael имела талант всем надоедать. Граф Медем мне говорил, что она жила на Елагином острове у графа Федора Орлова и так была невыносима, что Орлов

---

[224] Когда я ее видела, это была просто толстая маленькая женщина, совсем простая.

не знал, как от нее избавиться. В Англии ее пригласил lord Lansdawne в Steward на праздник и надоела всем до смерти. Он поехал в Италию и встретил ее на станции, она влезла в его карету, а на одной станции он, ни слова ни говоря, улизнул от нее. Один Фридрих Вильгельм Шлегель, как терпеливый немец, выносил ее благодушно. Я понимаю, что Гейне ее возненавидел и назвал «La Sultanne de la pensée»[225], та всегда носила красный тюрбан.

Киса, lisez Heine, il y a choses charmantes, j'ai lu à Berlin ses «Reisebilder». – A Berluin, disent les Prussiens, je lirais. – Je connais des charmants vers de Shakespeare traduits par Heine, je vous les conterai, et la musique est de Schubert. Et connaissez-vous sa «Fischermädchen?». Liszt joue cela d'une mine admirable. Il savait que j'aime beaucoup cette pièce et la jouait toujours pour moi. J'ai été à ses 18 concerts. Il est le génie du piano et la divinité vraie[226].

Первая жена Зиновьева была Дубенская, дочь духовника Екатерины, не знаю, как он ей разрешил принять причастие, зато у него было 6000 душ и прекрасно меблированный дом на Фонтанке возле Троицкого подворья. Это состояние досталось бездетному Николаю Васильевичу. У Зиновьева: было своих 2000 душ и под Петерб<ургом> именье Копорье, где видны развалины крепостцы. Я и в Изборске еще видела безобразный остаток маленького укрепления – были, вероятно, построены какими-нибудь российскими Вобанами. Я видела табакерку с изображением крепости Копорье у Зиновьева. Они там проводили лето. Зиновьев жил очень скромно, откладывая из своего дохода для составления капитала дочерям. Когда он овдовел, в память жены внес 250 000 в Опекунский совет. Вторая жена была старшая дочь maman Breitkopf. Из процентов давали самым бедным девицам 250 рублей асс. при выпуске. Всякое воскресенье он приезжал к обедне в институт, становился против

---

[225] Султанша мысли.

[226] Читайте Гейне, у него есть очаровательные вещи, я прочла в Берлине его «Reisebilder». – В Берлюине, как говорят пруссаки, я прочту. – Я знаю прекрасные стихи Шекспира, переведенные Гейне, я вам их расскажу, а музыка Шуберта. А знаете ли вы его «Fischermädchen»? Лист играет это с восхитительным видом. Он знал, что я очень люблю эту вещь, и всегда играл ее для меня. Я была на 18 его концертах. Это гениальный пианист, истинно божественный.

алтаря у самого входа, перед ним все дети, иногда племянники его жены, Балабины. В то время не ходили в сюртуке, и Василий Ник<олаевич> с утра был в белом галстуке. После обедни вся семья завтракала у maman и опять собирались у нее в четыре часа, играли, в «кошки-мышки», танцевали. Старшему сыну Степану было 18 лет, его гувернер заметил, что ученик задумывается, небрежно учится, смекнул, что отрок влюбился. В кого? В меня. Мне было 13 ½ лет. И он перестал являться в четыре часа. У начальницы по вечерам бывали два гимназиста, Митенька и Боренька Глинки, пасынки мадам Кюхельбекер, и мы с ними играли в шашки. Дмитрий теперь послом в Португалии, а дочь его Устинья. Дмитриевна прекрасно поет. Вечером Василий Ник<олаевич> угощал девиц бриошами с молоком, угощевали только тех, у кого были на руке перевязки. Ленточка была свидетельством, что хорошо училась и хорошо себя вела в течение недели.

Maman Breitkopf очень любила цветы, мы с ней пересаживали, пололи и поливали. Для своих незамужних дочерей она построила домик. Mademoiselle Nathalie и mademoiselle Emilie проводили там летние дни. В двух комнатах помещались все их сокровища: флигель mlle Emilie и все нужное для живописи, mlle Nathalie прекрасно писала акварелью. В жардиньерках были всегда свежие цветы, и канарейки оглушали комнаты своим веселым пением. Обе сестры были вполне счастливы. После смерти отца они сосредоточили всю любовь на старушке матери. За год до нашего выпуска скончалась maman. Нельзя выразить нашего огорчения. Мы просили, как милости, позволения дежурить у ее гроба. Три дня покрывали этот дорогой труп свежими цветами и повезли ее хоронить. Мы все уныли, осиротели. По рекомендации графини Адлерберг, начальницей назначили Амалию Яковлевну Кремпину, которую с первой минуты мы невзлюбили. Она была женщина очень ограниченная, щепетильная и любила подарки. Мы, конечно, звали ее мадам Кремпин, Кремпуська, Крыса. Следующие выпуски, хотя и звали ее maman, но никогда ее не любили. После ее была Родзянко, рожденная Самарина, но она вовсе не понимала своего назначения. То же произошло в Смольном после смерти умной графини Адлерберг. Теперь все заведения импер<атрицы> Марии Федоровны совершенно упали. Покойная благодетельница

никогда не теряла из виду своих воспитанниц. Они могли всегда найти защиту и помощь, когда приезжали в Петерб<ург>. Из ее институтов выходили искренние дочери, хорошие жены и матери.

Мы были все так дружны, что старые подруги смело обращались к тем, которых положение было выше и давало способы помогать. Княжна Стефани Радзивилл получала во дворце 60 000 р. асс. с своего огромного состояния. У ее отца было 150 000 душ крестьян в Польше и Литве, огромные великолепные леса в Царстве <Польском>, местечки Кайданы и Несвиж. Ее опекуны, князь Любецкий и граф Грабовский, сказали ей, что так как был большой долг по имению, они не могли давать больше дохода. Ее отец Доминик содержал кавалерийский полк, когда Наполеон завладел Польшей. Эти два магната только славились опекунами, а все было в руках какого-то Дмитриева, очень ненадежного человека. В счетах было выставлено, что на ее содержание в институте отпускали 14 000 р., а на деле не было и трех. В воскресенье какой-то Крыжановский приносил ей изредка 50 р. асс., а обыкновенно 10 только, и к вечеру у нее ничего не оставалось. Во дворце она делала долги, девице Королевой дала 25 000. Пирамидова выходила замуж и просила на приданое, Лебле тоже, каждой из них она дала по 10-ти тысяч. Всякий день раздавалось 50, 20 или 10 р., смотря по тому, что оставалось в кассе. Ее гувернантка мадам Унгебауэр с ней спорила, сердилась, но Стефани отвечала: «Je sais que Dmitrieff profite de mon revenu, je veux plutôt les donner aux pauvres qu'à ce coquin»[227]. «Крыжанька», как она его называла, был честный, и от него она узнала, что Дмитриев обманывает Грабовского. Чтобы дать понятие о богатстве Доминика Радзивилла, я привожу слова старика Грабовского. В Несвиже был огромный дворец, окруженный садами и парком. Одна комната была назначена для приема короля. Карнизы были из лучшего серебра, массивные и самой лучшей работы столы, кресла, стулья, канделябры – все серебряные. Стулья были обиты самым лучшим малиновым венецианским бархатом, и полы устланы богатыми коврами. В стенах были

---

[227] Я знаю, что Дмитриев пользуется моим доходом. Уж лучше я его отдам бедным, чем этому негодяю.

заделаны во время войны знаменитые изумруды. Куда все это девалось, неизвестно, обвиняли в краже какого-то Каменского, исчезло тоже серебро.

Маленькую Стефани привезли в Екатерининский институт, когда ей было 5 лет. Она жила у начальницы. Ее мать ее не любила, и с охотой отдала в чужие руки. Она была Моравская, и ее отдал отец 16-ти лет замуж за какого-то Старжинского. Доминик Радзивилл в нее влюбился, и Старжинский ее проиграл в карты за 16 000 злотых. Она, как многие польки, была не красавица, но грациозна и в высшей степени то, что французы называют sédui santé[228]. Импер<атор> Александр следовал примеру бабки и надеялся сблизить русских с поляками свадьбами. Он убедил княгиню выйти замуж за генерала Александра Ив<ановича> Чернышева. Чернышев был убежден, что он герой, что все наши победы – его победы. Между прочим, он точно первый занял Кассель. Подъезжая к Вильне, ок сказал: «Votre Alexandre prit Cassel»[229]. Полусонная княгиня ему сказала: «Ce cela, M-r, prenons Vilna et n’en parlons plus»[230]. В Петерб<урге> она сказала государю: «Votre Majesté, est-ce qu’une femme voudrait de se séparer de son mari, s’il la tue journellement un peu?» – «Certainement». – «Eh bien, Sire, Tchernichoff me tue par l’ennui qu’il me provoque»[231], и преспокойно· отправилась в Варшаву.

Императрица любила Стефани как свою родную дочь и постоянно заботилась об ее судьбе. Впрочем, о ком не заботилась эта христианская и сердобольная душа? Плетнев женился очень молодым и был учителем в институте с платой 1000 р. в год. У него была квартира, состоящая из трех комнат в Павловском корпусе, где он тоже давал уроки. Когда родилась его дочь, расходы почти удвоились. Нужна была сперва кормилица, потом нянька. Жена его хозяйством занималась и помогала няньке стряпать. Плетнев начал беспокоиться, лишился сна и нервы его расстроились. Он просил начальницу выпросить

---

[228] Обольстительна.

[229] Ваш Александр взял Кассель.

[230] Прекрасно, мсье, возьмем Вильну и не будем более об этом говорить.

[231] Ваше величество, может ли женщина развестись с мужем, который ежедневно, понемногу ее убивает? – Конечно. – Так вот, государь, Чернышев морит меня скукой.

трехмесячный отпуск. Какой-то швед советовал ему лечиться холодной водой. Он нашел одну комнату на Охте, лечился уже два месяца и мало получил облегчения. Грустный, озабоченный, он сидел на лавочке перед домом, мимо его проехал фельдъегерь на тройке. Он подумал: «Вот какому-нибудь счастливцу этот фельдъегерь везет или чин или ленту через плечо». Проскакав все село, фельдъегерь возвратился и спросил его: «Не знаете ли вы, где здесь живет учитель Плетнев?» – «Да это я. Я – Плетнев», – отвечал встревоженный Плетнев. «Ее величество прислала меня из Павловска, велела узнать о вашем здоровье и чтобы вы не изволили беспокоиться. Если вам нужно еще полечиться, отпуск продлят, и вы еще получите для этого пособие». Плетнев сказал мне, что с этой минуты он вдруг начал поправляться: «Я почувствовал, что у меня есть опора, что я – не какое-то ничтожество, что и мне есть цена. Я этой великодушной государыне обязан всей моей карьерой».

При Кремпиной начались в институте интриги и образовалась немецкая партия. Сама Кремпуська и наш инспектор классов Карл Федорович Герман привязывались беспрестанно к Плетневу и к священнику Наумову. Священник, наконец, вышел из терпения и объявил ему, что будет жаловаться самой государыне. Однажды, уже при императрице Александре Федоровне, в пятницу на масленой неделе она мне велела приехать в институт. Мы сидели рядом, императрица между Кремпуськой и мной. Священник вышел и сказал: «Какая у нас неделя?» Отвечали, как следует. «Как должно проводить ее?» – «Со среды начинаются особые молитвы **с** коленопреклонением, а в субботу день прощения» и прочее. «А как проводят эту неделю в свете? Утром и вечером театры и балы, а в последний день танцуют с утра и до полночи». «Ma chère, ce sont des pierres dans mon jardin»[232], – сказала государыня. Кремпина вспыхнула и сказала: «Ne croyez-vous, votre Majesté, qu'on pourrait suspendre l'examen?»[233] и сделала знак рукой. «Pourquoi, cette leçon m'intéresse beaucoup[234], продолжайте батюшка, я вижу, что девицы очень хорошо учились». Потом

[232] Это камни в мой огород.
[233] Не думаете ли вы, ваше величество, что можно прекратить экзамен?
[234] Отчего же? Этот урок меня очень интересует.

экзаменовал Плетнев. После экзаменов начальница и Герман представляли учителей к награждению, они имели подлость не выставить имя священника. Императрица собственноручно написала: «Et pourquoi pas le prêtre? J'ai été parfaitement contente de son examen – une montre en or de 500 roubles et médaillé en or»[235]. «Вот видите, Амалья Яковлевна, – сказал ей Наумов, – государыня дала вам хороший урок». Когда после двадцатилетнего преподавания он просился на покой, императрица определила его в придворный штат, он получил пенсию и квартиру в Запасном дворце под Таврическим садом.

Теперь я еще скажу, что когда были в Петербурге иностранные послы или путешественники, которые изъявляли желание видеть институты, то государыня сама с ними приезжала. Приезжал какой-то австрийский эрцгерцог. Он был в золотом венгерском мундире и с ним большая свита тоже в венгерских мундирах. При фр<анцузском> после графе La Ferroneys Deloche меня вызвал и я толковала les surfaces planes, concaves et convexes, et les miroirs, c. a. d. j'ai dit que la catoptrique et la dioptrique, а в ботанике Линнееву систему: les 21 classes fondées sur les acotylèdons et les cotylédons[236]. Я у него была первая ученица. А Стефани описывала Бюффонову систему. Kisseleff, avez-vous étudié de la physique et l'histoire naturelle? – Dans Dorpat je n'ai étudié que les langues mortes et la philosophie[237]. Мы с Языковым шли по философскому и филологическому курсу. Я прочту Бюффона и займусь физикой, очень рад, что вы мне указали это занятие. Я вижу, что вы преученая.

Когда приехала знаменитая певица Каталани, то и ее пение мы слышали. Государыня приехала и сказала: «Mes enfants, vous allez entendre la plus grande cantatrice, c'est Mme Catalani

---

[235] А почему же не священника? Я была очень довольна его экзаменом – золотые часы в 500 рублей и золотую медаль.

[236] О ровных, вогнутых и выпуклых поверхностях и зеркалах, т. е. я сказала, что такое катоптрика и диоптрика <...> 21 класс, основанные на акотиледонах и котиледонах.

[237] Киселев, вы знали что-нибудь из физики и естественной истории? – В Дерпте я изучал только мертвые языки и философию.

et l’Empereur nous fera l’honheur devenir à notre soirée, il a une estime particulière pour cette Dame»[238].

Пошли приготовления, которые продолжались неделю. Вытащили белые коленкоровые платья, которые переходили из выпуска в выпуск. Марья Ив<ановна> Штатникова, очень злая сероглазая кастелянша, которую звали «серый волк», и портной Шмидт, у которого палец был култышкой, как у портного Акакия Акакиевича, примеряли платья, то убавляли, то прибавляли к талье и по росту. Кушаки были красные атласные, а сзади бантом, и кушакам было по несколько лет. Из Гостиного двора принесли козловые башмаки, а по будням у нас были опойковые. Нас всех завили барашками. В большом классе были косы под испанскую· гребенку и кушаки были белые атласные.

Наконец настал великий день. Наша зала была освещена сальными свечами, а на этот случай купили стеклянные рожки. Три звонка – и вошла государыня с своей свитой. Она была декольте, на шее у нее всегда было три нитки крупного жемчуга, она ходила на высоких каблуках и переваливалась и была очень крепко зашнурована, она сохранила туалет дореволюционный. С ней была мадам Каталани в оранжевом платье и пунцовая роза в волосах, при ней фрейлина Екатерина Николаевна Кочетова и княжна Елизавета Григорьевна Волконская, барон Альбедиль, гофмейстер и камергер князь Андрей Пав<лович> Гагарин, красавец. Они все зашли за перегородку. Там стол стоял с разными угощениями, все блестело золотом и серебром. Освещение было ослепительное.

Два звонка, и в залу порхнуло прелестное существо. Эта молодая дама была одета в голубое платье и по бокам приколоты маленькими букетами мелкие roses pourprées[239], такие же розы украшали ее маленькую головку. Она не шла, а как будто плыла или скользила по паркету. За ней почти бежал высокий веселый молодой человек, который держал в руках соболью палантину и говорил: «Charlotte, Charlotte, votre palatine!»[240]

---

[238] Дети мои, вы услышите величайшую певицу, это мадам Каталани, и император сделает нам честь прибыть на наш вечер, эта дама пользуется его особым уважением.

[239] Красные розы.

[240] Шарлотта, Шарлотта, ваша палантина!

За решеткой она поцеловала руку государыне, которая ее нежно обняла. Мы все сказали: «Какая прелесть! Кто это такая? Мы будем ее обожать». Дамы сказали: «Это в<еликая> к<нягиня> Александра Федоровна и в<еликий> к<нязь> Николай Пав<лович>».

Три звонка. Вошел Александр Пав<лович>, тотчас повел рукой по своей лысине и притянул лорнет. Он был удивительно сложен и ходил прекрасно в ботфортах и белых панталонах, а на груди шведский орден de l'étoile polaire[241]. Он другого ордена не носил. Государыня пошла к нему навстречу, благодарила его за сделанную институту честь и сказала: «Remerciez l'Empereur, mes enfants»[242] и раздалось громкое: «Nous remercions votre Majesté Imperiale!»[243]. Еще три звонка, и вошла маленькая дама в сером платье, в белом чепце, окутанная белым газом, в красных пятнах на лице. Она подошла к нам и спросила: «Где маленькая Радзивилл?» и сказала ей несколько слов. «Ах, mesdames, какая противная, кто это?» Дамы сказали, что имп<ератрица> Елизавета Алексеевна. «Она точно старая гувернантка». За перегородкой ее приняли по холодку. В<еликий> к<нязь> Михаил Пав<лович> тогда был за границей, где и обрел вюртембергское сокровище, которое отравило его жизнь. Мадам Каталани пела «Sul margine d'un Rio» и «La placida campagna»[244], два романса, которые были тогда в моде. Неделю готовились к празднику и после неделю говорили о празднике, а все удовольствие продолжалось два часа. По отъезде высоких гостей нам дали пустой чай вместо ужина и раздавали придворные конфеты. Впрочем, нам часто государыня посылала гостинцы: когда привозили с Дона первую и лучшую паюсную икру, и для нас была доля. На святой и на масляницу мы катались в придворных каретах и в каждом кармане был фунт конфет. В лазарет для выздоравливающих из дворца привозили то, что прописывал доктор Рейнбот – виноград, желе.

---

[241] Полярной Звезды.

[242] Дети мои, благодарите императора.

[243] Мы благодарим ваше императорское величество.

[244] «На берегу реки» и «Тихое поле» *(ит.)*.

Вариант 5. Фрагменты

Еще я забыла упомянуть, что когда я была еще выпускная в институте, я получила известие о смерти матери в день 14 числа декабря, я не плакала, меня отпустили горевать в дортуар, и я сказала своей приятельнице Стефани: «Stéphanie, je ne puis pas pleurer, c'est affreux». – «Ma chère, consolez-vous, je ne pleurait pas non plus quand ma mère mourut, elle ne m'a jamais aimé et me préférait Felicie Антушевич qui est la fille de Mr Idevray et je ne suis que la fille à elle»[245].

Я помню, что моя бедная мать очень подружилась с моей дамой классной мадемуазель Уолесс, и я слышала, что она все заботилась выдать меня замуж. Она жила на Софийской в доме Аладьина, она хотела дать Клеме, своему фавориту, редкие часы отца, безногий черт взвизгнул, взял их и сказал, что это баловство. Ограбить нас совершенно было любимой задачей этого изверга, который хвастал своему сыну Леве, что убил оглоблей станционного смотрителя, встретив какую-то княгиню, его лошади были усталые; она ехала в Петербург с сыном и дочерью для определения детей. Он спросил у него лошадей в трескучий мороз, и человек не допускал его, он ездил всегда с плеткой и дал ему. Она просидела 24 часа, ожидая лошадей, и дети плакали, просили есть. И все сходило с рук этому скоту. Он заехал в институт, прямо в комнату мадемуазель Уоллес, которая вышла не знаю куда, и меня застал в ней Арнольди, хотел меня поцеловать, насильно посадил меня на свои поганые колена: в эту минуту вошла мадемуазель Уоллес и сказал: «Comment, Monsieur, vous vous permettez ces familiarités avec belle-fille?»

– «Mlle Wallace, je vous assure que je me suis defendue quand il a voulu m'embrasser et c'est de force qu'il m'a fait asseoir sur ses genoux»[246]. Он смотрел на меня своим дерзким мерзостным

---

[245] Стефани, я не могу плакать, это ужасно! – Милая моя, утешься, я тоже не плакала, когда умерла моя мать, она тоже не любила меня и предпочитала мне Фелиси Антушевич свою дочь от г. Идевре, а я только ее собственная дочь.

[246] Как, мсье, вы позволяете себе такие вольности с падчерицей? – Мадемуазель Уоллес, уверяю вас, что я не позволила ему меня поцеловать, и он только силой посадил меня к себе на колени.

взглядом. «Mon Général, je vous prie de sortir de ma chambre, défendue par ordre de l’Impératrice, le Suisse vous mettra à la porte, si vous vous présenterez encore»[247]. Я спросила, что мне досталось после матушки. «Две подушки, одна кофта, платье разорванное и все». – «А где серебро мое?» – «Все мое, и бриллианты, вам один фермуар в кленовом ящике». Фермуар был пользой изрядной, я его продала за 400 р. асс. «А наш капитал?» – «У вас ничего нет, Адамовку твоя мать записала на мое имя, для моих детей» – «Вы знаете, все на свете можно, только осторожно. Я все ваши мерзости расскажу когда-нибудь государю, потому <что> я назначена быть фрейлиной императрицы Александры Фед<оровны>». При этих словах он сконфузился. «А теперь вон отсюда, генерал, надеюсь – навеки».

Так как Арнольди распустил слух, что отец мой был танцмейстер, вырезал из книг наш герб и мы должны были взять герб Лореров – три лавровые ветки на не знаю каком поле, выдумал, что мой отец на службе накрал деньги, то императрица Мария Федоровна велела навести <справки> в Одессе. Ответ был, что шевалье де Россет умер от чумы и что он был в чине бригадира. Эта справка шла месяц, после которого меня взяли во дворец.

* * *

Потом государь уходил, и в 11 часов скучный вечер кончался. Софья Моден жила внизу за комнатой в<еликой> княжны Ольги Николаевны. Государыня повела Эйлер и меня к ней и сказала ей: «Oly, ce sont mes nouvelles Demoiselles d’honneur»[248]. Ей было четыре года, и она была дивной красоты. Она на нас посмотрела и сказала, глядя на меня: «Черненька», а на белокурую Эйлер: «Беленька». Это имя так осталось навсегда. Мы жили в нижнем этаже, окнами на двор в самом крайнем углу, влево от караула. Всякое утро к нам приходил очень старый камер-фурьер, я его· спросила, кто прежде жил в этих комнатах. – «Светлейший князь Таврический». – «А после кто?» – «Никто, потому что император Павел жил в Павловске,

[247] Прошу вас, генерал, выйти из моей комнаты, императрица это запретила; если вы еще раз явитесь, швейцар вас выведет.
[248] Оли, вот мои новые фрейлины.

а осенью в Зимнем». «Так вы, верно, рано знали Потемкина?» – «Я при нем был, и через него сделал всю карьеру. Вам, верно, известно, что покойную имп<ератрицу> Екатерину возвел на престол Орлов и князь Таврический. Говорил, что Потемкин был ее любовник. Может быть, но недолго. Светлейший этими пустяками не занимался, зачастую, как его позовут к обеду или на вечер, он отказывался. Утром рано он с ног до головы мылся самой холодной водой и весь туалет делал один, потом подолгу молился и всегда на коленах, а потом уж позовет меня и велит спросить кофию. Все посты соблюдал. Он матушке-царице, снисходя ее слабости, выбирал любовников. У него была одна страсть – любовь самая неограниченная к матушке и к России. Как уж очень ему тяжко, он скачет в Москву к своей старушке матери, ведь она была из бедных дворянок Смоленской губернии Энгельгардтов и жила в Москве в маленьком домике. Светлейший хотел ей купить большой дом и с церковью. – "На что мне это, Гришенька, я ведь привыкла к этому дому, а в церковь езжу на саночках в одну лошадку; одно не люблю, что попы торгуются на обедню и говорят: "Дай на чай целковый или закуску". Ну, я с одним уговорилась и всегда даю ему пять рублей и знаю, что он меня ждет". С ней светлейший богу молился, привозил ей для этого евангелие и духовные книги; говорили, что он казну грабит в свое удовольствие, это клевета, все деньги шли на устройство государства. Ведь что Херсон выстроился, ему обязаны – он дружбу свел с англичанином Говардом и тот советовал ему везде строить больницы и богоугодные заведения. Он и схоронил Говарда в Херсоне и памятник ему поставил и сказал: "Говард был друг человечества". Опять в Николаеве он учредил Черноморскую компанию, вам, может быть, это известно». У меня бывает иногда отсутствие памяти, и я ничего на это не отвечала.

«Уж больно ему надоели турки, так он сказал Суворову, которого ужас как любил, что покончить бы с туркой, так и была большая баталия под Очаковом, на все это шли русские деньги. А что государыня подарила ему Таврический дворец и дом в Петербурге, это правда. Она из благодарности и племянницам его дала большое состояние. Светлейший более всех любовников матушки Екатерины любил Ланского, для того, <что> он не вмешивался в дела и не с интересу любил государыню. Он был

крепкий, обходительный, красавец и ловкий, манера его была искренняя. Он был смелый ездок, ему выбрали самую лучшую лошадь. Он у “Лебедя” хотел перескочить, лошадь споткнулась, и он лежал без памяти, его подняли и понесли в его комнаты, что под лестницей, оттуда был ход к государыне. Позвали докторов Фуса и Роджерсона, открыли кровь – не пошла. Доктора решили известить государыню. Она рвала себе волосы, только сказала: “Похоронить его в Софии”. Она села в карету и на шестерке поскакала в Петербург, спустила все шторы и прямо в Зимний дворец, никого к себе не впускала и через три дня вернулась в Царское, прямо в Софию, на его гробницу. А вскоре было известно, что его заменил Дмитриев-Мамонов, только на короткое время, для того, <что> он влюбился в свою двоюродную сестру, фрейлину, княжну Щербатову».

Гораздо позже Александр Ив<анович> Рибопьер мне рассказывал, что она заметила, что Мамонов краснел, когда произносили имя Щербатовой, заметила также, что он был с ней холоден и чувствовал себя неловко. Однажды она ему сказала: «Mon cher Mamonoff, je veux vous marier». – «De grâce, Mme!». – «Je crois que la princesse Scherbatoff vous convient»[249]. Он замолчал, она ему сказала: «Il est donc vrai, Mr»[250]? Тотчас подписала ему 7000 душ и дворцовый дом и сад у подошвы Воробьевых гор. Он лишился жены и был несколько лет сумасшедший.

Отец Рибопьера был эмигрант из Эльзаса, там есть останки замка Рибопьер. Все эмигранты искали способы существования, говорят, что Шатобриан жил тем, что делал салат у больших господ и получал 5 шиллингов за это. Рибопьер вызвался быть парикмахером Екатерины, и кривой сын его Алексаша завивал Екатерину, но она узнала, что Рибопьер был прежде военный, сделала его генералом. Была война с турками, и он был убит под Варной, где и похоронен. Александр Ив<анович> был большой анекдотист, тоже и Александр Николаевич Голицын. Рибопьер мне, между прочим, рассказывал, что при Екатерине было всего 12-ть андреевских кавалеров. У него был старый дядя Василий Ив<анович> Жуков, который смерть

[249] Дорогой Мамонов, я хочу вас женить. – Помилуйте, мадам. – Мне кажется, что княжна Щербатова вам подходит.
[250] Так это правда, мсье?

как хотел получить голубую кавалерию. Один из 12-ти умер, и князь просил Екатерину ему дать этот орден – он был сенатор и очень глупый человек. Получивши ленту, он представился, чтобы благодарить. После представления его спросили, что сказала ему государыня. «Очень хорошо приняла и так милостиво отнеслась, сказала: “Вот, Василий Ив<анович>, только живи, до всего доживешь”».

* * *

Перед отъездом я была дежурная, прислан был в Россию Веллингтон для изъявления сочувствия о кончине покойного императора и с поздравлением вновь вступившего. Государь показывал ему внутренние покои. Впереди шла императрица Мария, молодая государыня ему говорила: «Passez, Mr le Duc»[251], и он беспрекословно шел вперед, а государь меня пропускал, а сам шел последний. Веллингтон был еще крепкий человек, с весьма выразительными черными глазами, орлиным носом. У него был красный мундир и важный вид.

* * *

Я скучала в Царском, не имея книг: раз приехал Арнольди в самый час обеда, разговор не вязался, и после обеда я ему объявила, что нам не позволено принимать чужих мужчин. – «Я не чужой». – «Вы хуже этого, Ив<ан> Кар<лович>, вы враг мой и моих братьев. Зачем являетесь вы, прошу вас более не являться, а не то я скажу государю».

К концу поста государь пошел с собакой Гусаром его купать и бросил ему свой носовой платок; в эту секунду его камердинер, запыхавшись, прибежал и сказал: «Светлейший князь Лопухин ожидает ваше величество». Государь, взволнованный, скорым шагом пошел во дворец и Гусар за ним; я вытянула носовой платок и после отдала его камердинеру. После я узнала, что Лопухин принес лист осужденных на смерть, их было 20-ть. Государь сказал: «Князь, это странно начать царство с смертной казни 20-ти молодых людей. Что говорит брат Михаил?» – «Ваше величество, в<еликий> к<нязь> и граф Бенкендорф

[251] Проходите, господин герцог.

были совсем против смертной казни». – «Я этому рад». – «Но генерал Левашов более всех настаивал на смертной казни Каховского, потому что думал – он убил графа Милорадовича».

Известно, что повесили Пестеля, самого опасного, потому что самого умного из общества во Второй армии, которой командовал генерал Киселев, Рылеева, Бестужева, Каховского и Муравьева-Апостола. Так <как> в числе заговорщиков многие принадлежали к высшему кругу, то их родственники были очень недоброжелательны и рассказали, что когда старый Лопухин подал государю лист в 20 человек, приговоренных на смертную казнь, что он хотел подписать, и будто Лопухин ему сказал: «Государь, вы начинаете царствовать» и затрясся. Это чистая ложь – при мне он сказал императрице: «Ma chère amie, la peine de mort a été abolie depuis l'Imperatrice Elisabeth qui était humaine, et le malheur veut que ce soit moi le premier depuis ce temps qui a signé ce terrible décret»[252]. Государыня заплакала.

Когда зачинщиков повесили, и суд окончен (у меня затерялась книжка всего суда, составленная Дмитрием Николаевичем Блудовым), то служили в Казанской церкви молебен, и государь император присутствовал, и это было поставлено в укор. А что если бы удалось им иметь успех, в России произошла бы кровавая и, как говорил Пушкин, беззаконная и безрассудная резня.

* * *

Так как все заговорщики сидели в казематах, то Нева была покрыта лодками, родные подъезжали, отдавали им записки и разную провизию, на это добрый Бенкендорф смотрел сквозь пальцы, и великий князь Михаил П<авлович> тоже, а его прослыли каким-то тираном. Потом на тройках начали вывозить из крепости в Сибирь. Неизвестно почему Батенков остался в Алексеевском равелине, а Поджио и Лунин провели 12 лет в Шлиссельбурге. Комендант крепости был немец Альфиц, всякое утро приходил он им напомнить, что они должны

[252] Дорогой друг, смертная казнь в России отменена со времени императрицы Елизаветы, которая была гуманна, и по несчастью я первый с того времени должен подписать этот ужасный указ.

благодарить государя за помилование. К ним приходил инвалид, чистил комнату каждого и приносил кушанье. Однажды с нетерпеньем Лунин ударил ногой в дверь, и он очутился в комнате Поджио. Инвалид принес ужин и приложил палец к губам – они расстались и закрыли осторожно дверь. Когда пришел вечером комендант, прикрыл их тут уж розно; они проводили дни вместе и читали евангелие. Спустя 12 лет их вывозили, у одного из них было 80 гривен, они хотели дать инвалиду, он заплакал, махнул рукой и не взял. Я это рассказала государю, он приказал узнать, жив ли он, и хотел сделать его унтер-офицером. Право, наши солдатики – святые люди.

Мы поехали говеть в Петербург. В 8 часов была утреня в гостиной и вечером тоже, я была в восторге от пения придворных певчих. В день причастия имп<ератрица> Мария Федоровна приехала. Государь хотел ей сделать приятное, пригласил Криницкого, ее духовника, служить обедню, а дьякона выбрал Возерского, которого он любил. Он служил прекрасно и с благоговением. Криницкий его терпеть не мог и объявил Модену, что не будет с ним служить. Моден кричал и сердился: «Ces canailles de prêtres russes, ils ne pensent qu'à l'argent[253]». Наконец, уломили Криницкого. «Вкусите и видите» пели по нотам Сарти (Сарти приехал при Елизавете Петровне, он советовал пустить Бортнянского и Березовского в Италию, петь в Неаполе).

Пока начальником III отделения был добрый граф Бенкендорф, сибирякам и ссыльным были большие льготы – но когда его заменил граф Орлов, дела приняли другой оборот и даже весьма неприятный.

Государь на руках поднес к чаше Александра Ник<олаевича>, а других поднял; Мария Федоровна все время стояла, но Александра Федоровна сидела, спросила меня: «Pourquoi pleurez-vous?» – «Je trouve si touchant que l'Empereur pope communie les enfants»[254]. Затем приобщалась Мария Федоровна, затем молодая императрица, потом государь, затем Софья Моден и я, потом все те, которые были около царской фамилии 14 декабря, даже конюхи.

---

[253] Эти канальи, русские попы! Они думают только о деньгах.

[254] Почему вы плачете? – Я нахожу столь трогательным, что император как поп причащает детей.

После обедни я отправилась в свою конурку. Эйлер приехала из английской церкви. У нас была дворцовая карета, и мы в ней ездили в институт, а я к Стефани Радзивилл в Зимний дворец. Государыня на Страстной неделе прислала мне желтый, разубранный букетами хвост, вышитый серебром, и юбку, всю вышитую серебром, а Эйлер – голубой дымковый, весь вышитый серебряными цветами, и такую же юбку. <...>

Мы обычно отправлялись в проходную императрицы. Она мне сказала: «Comme vous etes pâle, sans être coquette il ne faut pas avoir l'air malade, je vais vous mettre de rouge, mais seulement de cette occasion, jamais au bal»[255]. Выход еще не начинался, государь шел под руку с императрицей, оба кланялись на все стороны. Камер-паж нес длинный хвост, другой шел за государем, потому что в церкви он держал шпагу государя, за ними шли вдовствующая императрица с в<еликим> к<нязем> Михаилом Пав<ловичем> (я его уже прежде видела на 25-летии нашего института, он разговаривал с мадам Штатниковой: «Мы оба какие толстые» <нрзб>) и за ними шли камер-пажи, потом вся свита, прямо в большую залу, потом маленькую белую залу, затем в залу с портретами фельдмаршалов, в белую залу, где были собраны обоего пола знатные особы. Меня поразила своею красотою и туалетом графиня Моркова, рожденная Гагарина. У нее была лента св. Георгия. В церкви я стояла возле Стефани, которая была покрыта бриллиантами и в великолепном кремовом платье. У обеих государынь были бриллиантовые диадемы на голове, тогда не было еще русского платья и кокошников, и носили платье времен Екатерины: придворное платье. Впереди шли грузинские царевны, а Елена П<авловна> сидела в жемчуге. Стефани меня рассмешила и сказала: «Посмотри на Лакримоз. Ее жемчуг так натянут, что ее задушит». Ей неприятна была вторая роль в шествии. Придворные певчие пошли в черном по другим комнатам, попы были в черных ризах. Вернувшись, певчие облеклись в богатые ризы, тогда форменных еще не было. Певчие пели «Да воскреснет Бог» и пр. Царская фамилия сидела за решеткой <...>

[255] Как вы бледны; без кокетства не нужно иметь больной вид; я вас подрумяню, но лишь на этот раз; никогда не делайте этого, идя на бал.



А. О. Россети. Акварель А. П. Брюллова. Бумага.
Нач. 1830-х годов Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



В. А. Жуковский. Акварель Е. Р. Рейтерна. Бумага, белила. 1832 Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



П. А. Вяземский. Литография с рисунка И. Е. Вивьена.
1820-е годы Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



А. С. Пушкин. Акварель П. Ф. Соколова.
1836 Всесоюзный музей А. С. Пушкина. Ленинград



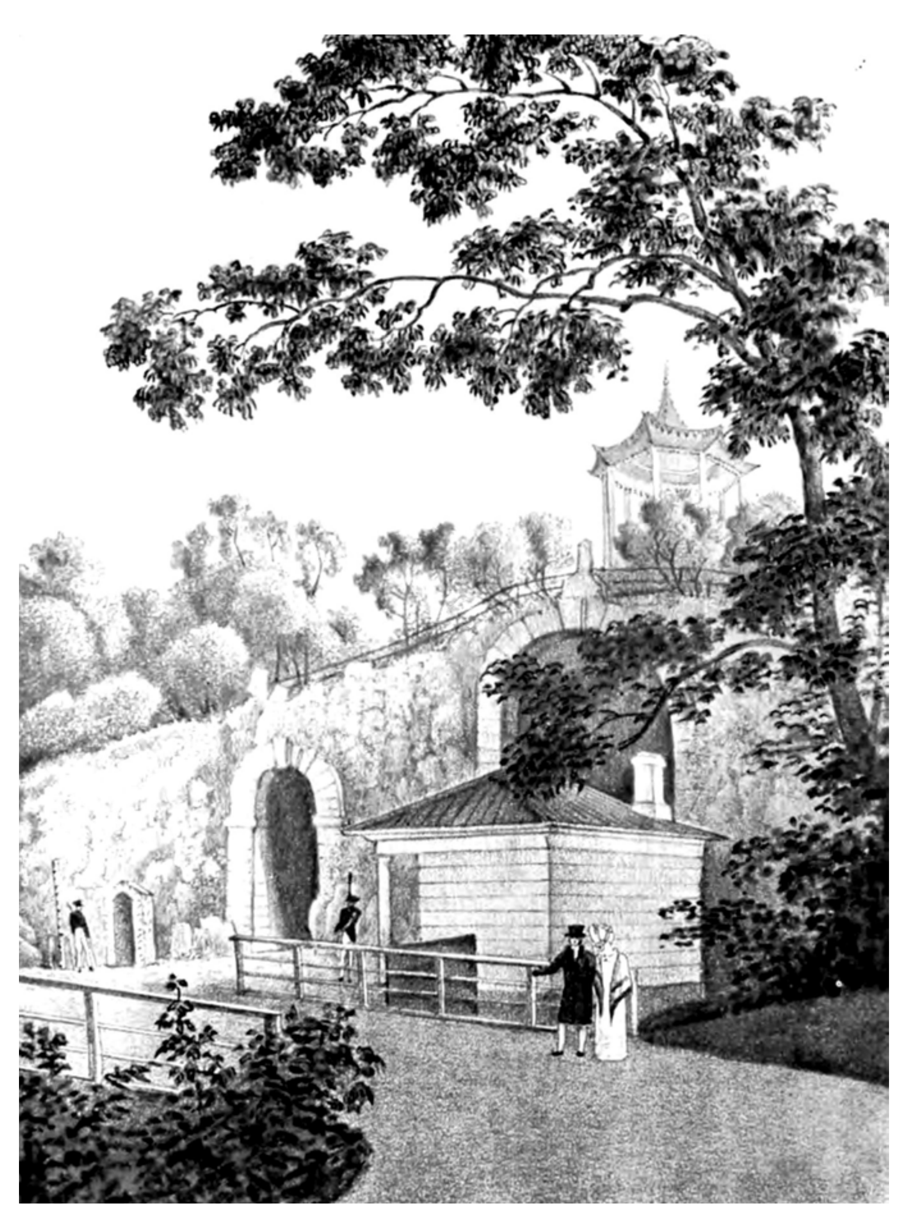
Н. В. Гоголь. Литография с рисунка Э. А. Дмитриева-Мамонова. 1839 Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



Н. М. Смирнов. Рисунок Ф. Крюгера. Цветная и тонированная бумага, итал. карандаш, сепия, черная акварель, белила. 1835 Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



И. О. Россет. Акварель неизвестного художника. Бумага. 1829–1830 Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



ЦАРСКОЕ СЕЛО. «КАПРИЗ» Литография А. Е. Мартынова. 1821–1822 Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



А. О. Смирнова. Акварель П. Ф. Соколова. Бумага.
1834 Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



А. О. Смирнова в маскарадном костюме.
Портрет маслом работы Ф.-К. Винтергальтера.
1837 Литературный мемориал Смирновых в Тбилиси



М. Лермонтов

М. Ю. Лермонтов. Литография Ф. А. Брокгауза с акварели А. И. Клюндера. 1839 Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



Н. Д. Киселев. Акварель неизвестного художника. Бумага.
1830-е годы Всесоюзный музей Л. С. Пушкина. Ленинград



И. С. Аксаков. Гравюра. 1870-е годы.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



Ф. И. Тютчев. Литография Ф. А. Брокгауза с фотографии С. Левицкого. 1874 Государственный музей А. С. Пушкина. Москва



А. О. Смирнова. Бюст работы К. Вичмана. Мрамор.
1830-е годы Литературный мемориал Смирновых в Тбилиси



А. О. Смирнова. Портрет неизвестного художника.
1850-е годы. В 1930-х годах принадлежал Ф. Н. Малинину

Царская фамилия стояла, и начали подходить – первый светлейший Лопухин, за ним боком Мириан царевич, который ходил как Бобчинский, граф Нессельрод, Ланжерон, генерал-аншеф Дризен, Сперанский, который поразил меня: сложен удивительно, лоб большой, открытый и светлые голубые глаза; Государственный совет, сенаторы в новых мундирах, потом гвардия, и кончилось все к 11-ти часам. Царская фамилия разговелась у себя, я пошла к Стефани, где был кулич, пасха, крашенные яйца, чай и кофий, и вернулась утром домой. В четыре часа – царские часы и поздравления митрополита, присутствующих в Сенате и дам. Графиня Нессельрод подошла, потом вдруг из-за нее стала прямо против государыни графиня Ланжерон и сказала: «Я старшая гофмейстерина», императрица с трудом удержалась от смеха <...>

На третий день после Христова праздника весь двор <отправился> в Царское Село, жара была невиданная, везде от Петербурга почти до Москвы горели леса. Солнце стояло на горизонте как огромный красный шар. Императрица очень страдала от жары и сидела в мраморной комнате; там она писала свой журнал и письма. Мы из старых комнат спасались от жары в других комнатах окошками в сад. Принц Карл приехал с графом Редерн и графом, кажется, Хольце. Принц вел себя очень дурно: если нам случалось пройти мимо его комнаты, он стоял в одной рубашке на окне. Мы, наконец, перестали ходить в сад и переехали опять на ту сторону. Там был рояль, и Эйлер с Редерном играли в четыре руки Бетховена. В мой дежурный день, пока им<ператрица> спала, я бродила по комнате и нашла плохой портрет сепией Мамонова и показала ей: «Mon frère l'Empereur a ordonné d'emporter tous les portraits des favoris de l'Impératrice; le magnifique portrait de Valerien Zouboff est chez comte Dmitri Zouboff»[256]. Мать Зубовых была Воронова и приходилась сродни Смирновым по Бухвостовым. Мать Николая Мих<айловича> была рожденная Бухвостова Петр Великий подарил 8000 душ Бухвостову в Великолуцком уезде и в Пусторжевском, там были огромные столетние дубы и прочие деревья

[256] Мой брат император приказал убрать все портреты фаворитов императрицы. Превосходный портрет Валерьяна Зубова находится у графа Дмитрия Зубова.

и водилась в изобилии дичь, а в Рязанской губернии он ему дал половину Михайловского уезда и город Раненбург. Растрелли высек из зеленой яшмы его статую. Бухвостов был человек глубоко религиозный, его огорчала распутная жизнь Петра, и он удалился в Рязанскую деревню, где и умер, забытый и Петром, и его придворными.

При Петре приехал знаменитый математик и астроном шотландец Брюс. Он тоже удалился от развратного двора в Москву в Саввин монастырь и проводил не только дни, но и ночи под деревом, где наблюдал звезды. Дерево и теперь существует, а лавочки, которые окружали дерево, недостает. Всем известен Брюсов календарь, его предсказания все сбылись и сбываются, Гатцук всегда их напоминает. Я ему не верила, но во время франко-немецкой войны сказано было: война между двумя великими державами – один государь лишь пострадает. А предсказания о погоде гораздо верней календаря и астрономических наблюдений.

Наконец подошел день отъезда в Москву. Прежде всех должна была ехать вдовствующая императрица с штатс-дамой княгиней Репниной-Волконской (она была очень стара), фрейлиной Кочетовой и к<няжной> Прасковьей Алекс<андровной> Хилковой. В коляске ехал в<еликий> к<нязь> Михаил Павлович с наследником, которому было 7 лет. Императрица заметила, что Михаил Пав<лович> был очень любезен со мной, и сказала мне: «D'ou vient votre amitié avec Michel?» – «Vous savez, madame, qu'il a payé mon éducation, cela a établi des rapports d'amitié entre nous»[257]. Итак, они отправились, императрица со своей княжной; у старухи Волконской беспрестанно был понос (я скажу, что она чересчур мерзостная). Она говорила: «Permettez, madame»[258], из заднего экипажа, где сидели камер-юнгферы, выносили трон, гайдуки из своих ног делали ширмы и «тортунья» (ее звали la Tortue[259], потому что она едва передвигала ноги) освобождалась, возвращалась в карету не без запаха. На козлах сидел ее постоянный кучер Чулков. Городской

[257] Откуда у вас такая дружба с Мишелем? – Вы знаете, мадам, что он платил за мое воспитание, это установило дружеские отношения между нами.
[258] Позвольте, мадам.
[259] Черепаха.

форейтор, точно так же, как в городе, скакал во весь дух; останавливались обедать и ночевать. На осьмые сутки они приехали в Москву. Потом поехала императрица с государем и детьми, и все жили в Малом дворце. В Петровское выехал к ним митрополит, многочисленное духовенство, генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын. Из Петровского уже ехали в городских каретах, мои братья Аркадий и Осип сидели на пазах и получили золотые часы. Аркадий сохранил свои до последних дней своей смерти, а Ося был как обычно. 8000 были в параде, брат мой Клементий упал с лошади, но не ушибся, его отнесли в какую-то карету, и целый день спал до Москвы. Москва кишела иностранцами. Английский посол был герцог Девонширский, с ним был его племянник Уитерли Рассел, французский посол герцог де Мармон, с ним мсье Телак, граф Шарль де Лаферроне и мсье Тактюри, принц Карл Прусский, граф Редерн и двое братьев Радзивилл, Фердинанд и Гильом. Прусская принцесса, двоюродная сестра короля, была замужем за князем Антоном Радзивилл. Когда король был после родов своей любимой сестры, он подал руку императрице Марии Ф<едоровне>, за ней шла в<еликая> к<нягиня> Александра с Алекс<андром> П<авловичем>, Николай Пав<лович> вел Елизавету Алексеевну. Императрица в какой-то больнице останавливалась, расспрашивала докторов и о всех осведомлялась. Алек<сандр> Пав<лович> ему сказал: «C'est une faiblesse de Maman, elle croit que tout le monde s'intéresse à ce que est son grand intérêt dans la vie»[260]. Он повернулся, и они тронулись с Елизаветой Алексеевной, а в<еликий> к<нязь> ничего не сказал, но в ту же минуту король обратился к в<еликой> к<нягине> и сказал: «Ma chère Charlotte, je serais bien heureux, si un jour j'apprenais que vous faites seulement la moitié du bien que fait l'Impératrice»[261]. Вот уж был реприманд Елизавете Алексеевне! Где же была Елена Пав<ловна>? Она путешествовала под предлогом болезни и была в Риме, где бросилась к ногам папы Григория XVI и ему сказала: «Me voilà enfin au pied du chef

---

[260] Это слабость матушки. Она думает, что все интересуются тем, что составляет ее главный интерес в жизни.
[261] Милая Шарлотта, я был бы счастлив, узнав когда-нибудь, что ты делаешь лишь половину добра, которое делает императрица.

de la véritable Eglise, car contre les vices l’Eglise Orthodoxe ne connaît pas la charité»[262]. Там она встретила Шатобриана и просила его прочесть ей «Путешествие из Парижа в Иерусалим», стараясь завлечь принца Григорий XVI узнал, верно, что она интригует, и приказал ей выехать из Рима без аудиенции. Оттуда она поехала в Неаполь, где купила серебряную статую <...>

Коронация была великолепная, затем последовал обед в Грановитой палате, а потом не было конца балам и праздникам. Народу был устроен праздник на Ходынке, жареные быки, бараны, сласти и вино и пиво. Бал и пляс до вечера, но тут некоторых почти до смерти раздавили.

Мне писала моя Стефани, а я пока жила в Таврическом дворце с княгиней Ливен и Авдотьей Михайловной Луниной. Имп<ератрица> мне сама рассказывала: «Vous savez, comme Maman est stricte pour tout ce qui est étiquette, je devais mettre une robe rose et j’ai écrit un billet à l’Empereur en lui disant que je ne pouvais pas mettre le cordon rouge sur rose et que je mettrai le cordon bleu; sans réfléchir il l’a envoyé à Maman, qui m’a répondu: “Vous mettrez votre cordon rouge, comment peut-on se permettre ces frivolités”; moi j’ai refusé quietement de garder la robe rose»[263].

При коронации Александра Пален подошел к Платону и сказал: «<нрзб> знаю <нрзб>, да ведь знал и твой ученик». Это мне рассказывал Александр Ив<анович> Тургенев. Когда Екатерина строила Большой дворец, церковь Спаса на бору была окружена дворцовым строением. Тургенева спросили: «Что, говорят, что в Москве Спаса на бору взяли ко двору?» Говорят, что в этой церкви есть живопись Рублева, у стены около ризницы есть Федор Студит тоже письма Рублева. Колокола звонили три дня в знак радостного события.

Стефани мне писала: «Представь себе, дорогая, однажды мы поехали в Архангельское к Юсупову. Ты знаешь походку

---

262 Наконец я у ног главы истинной церкви, ибо православная церковь против пороков не знает милосердия.

263 «Вы знаете, как матушка строга к этикету. Я должна была надеть розовое платье и послала записку императору, говоря ему, что не могу надеть красную ленту на розовое и надену голубую ленту. Не подумав, он отослал ее матушке, которая мне написала: “Вы наденете вашу красную ленту, как можно позволять себе такие фривольности!” Но я все-таки спокойно отказалась надеть розовое платье».

императрицы и ее нужды; она еле передвигала ноги, а этот дурак крикнул своему садовнику: “Подай горшок императрице!” Я изумилась таким нравам. На другой день я возвратилась к себе, моя комната убрана розами, и записка: “Княжна, позвольте мне принести к вашим ногам свое сердце и все, что я имею”. Я сейчас же пошла сказать императрице, что я не могу принять это предложение; она мне сказала ответить несколькими строками и отослать розы. Я ответила: “Князь, благодарю вас за розы, но не могу принять ни вашего сердца, ни ваших роз”. Он женился на очень хорошенькой девушке 17 лет, Зинаиде Кнорринг <...>»

После коронации все поехали в Царское село. Я танцевала с маркизом де Табэ, который мне сказал: «Je suis vieux pour m’interesser aux femmes et à la mode, mais ce sont des yeux que je ne sais pas à Paris[264]!» Уитерли Рассел был всегда на виду и танцевал до упада, и все прескверно. Потом все разъехались, остались только настоящие чины и министры. Получили известие о кончине Елизаветы. Марья Федоровна узнала, что она выехала, но заболела, выехала к ней навстречу и в Белеве нашла ее уже мертвой; она умерла на руках преданной ей фрейлины Валуевой. Императрица А<лександра> Ф<едоровна> с графиней Медем поехала в ее имение и запечатала все ее вещи и бумаги <...>.

Я не жила на Елагином острове, но в 9 часов уезжала из Зимнего и в дворцовой карете имела по дежурному посту. Я заметила, что меня провожал кавалергардский офицер Андрей Николаевич Архаров, он был беленький, с отчаянными глазами. Я спускала штору с его стороны, он подъезжает к другому окну, и эта комедия продолжалась во всю поездку. Я это сказала имп<ератрице>, и она, наконец, велела мне дать одну комнату во флигеле, где жила Юлия Федоровна Баранова и ее дочь Луиза. Я вздумала писать масляными красками деревья, но Жуковский меня обескуражил, сказав, что мои деревья похожи на зеленые шлафроки.

Имп<ератрица> Мария Федоровна жила на Головинской даче с фрейлиной Катериной Ив<ановной> Нелидовой,

---

[264] Я стар, чтобы интересоваться женщинами и модой, но таких глаз не видел и в Париже!

Кочетовой и старухами. В<еликая> к<нягиня> Елена Павловна жила на Васильевском острове и была беременна. В свободные дни я с утра отправлялась на Головинскую дачу, где очень скучала Стефани, обивали обе дверь Нелидовой и уверяли, что оттуда ужасный дух, а Кочетова помирала со смеху. Раз Стефани мне сказала: «Мимо нас на дрожках ездит какой-то кавалергардский офицер и смотрит на нашу дачу. У нас скука страшная за обедом: Велеурский, секретари, кроме рыжего барона Мейендорфа, самого приятного; маленькая Нелидова в дополнение ко всему. А у вас лучше?» – «У нас всегда ужинает Салтыков, шеф полка и дежурный по караулам, даже урод Безобразов и Бобер Котревицкой, Ферзен, но я его терпеть не могу». – «Знаешь, дорогая, я не могу более выносить эти обеды. Графиня Ливен сказала мне, что я не должна выходить замуж за Васеньку Кутузова, он беден. Так ты мне приищи кого-нибудь». – «Но, милая моя, императрица как раз сегодня просила меня спросить у тебя, решила ли ты что-нибудь насчет Фердинанда. Его мать написала ей, что он хиреет с каждым днем и имп<ератрица> просит тебя написать его тетке несколько строк». – «Хорошо, но ты увидишь, что из этого ничего не выйдет». Недели через три императрица меня позвала и сказала: «Милая Черненькая, бедный Фердинанд умер, и его последние слова были: "Прощай, Стефани, до свидания в лучшем мире". Я отправилась на Головинскую дачу и сказала ей: "Стефани, императрица послала меня сообщить тебе ужасную весть, Фердинанд умер". – "Я тебе говорила, что из этого ничего не выйдет. Я напишу письмо тете с выражением соболезнования и покажу свое письмо императрице. А ты теперь приищи мне жениха"». <...>

Я гуляла всегда за решеткой сада с Софьей Моден, она всех знала. В этот день дежурный по караулам был красавец, я ее спросила, кто он. – «Это граф Луи Витгенштейн». Я ей сказала: «Какой он красавец!» Он у нас ужинал, я ему сказала: «Граф Витгенштейн, не у вас ли серая лошадь? Вы часто проезжаете мимо Головинской дачи». – «Да, а кто вам это сказал?» – «Моя подруга». – «А как ее имя?» – «О, вы ее не знаете, это княжна Стефани Радзивилл. Она только что получила известие о кончине своего кузена и жениха Фердинанда Радзивилл». – «Она его любила и сожалеет о нем?» – «Нет, это был брак по расчету,

его уже давно желал князь Антон. У Стефани 150 000 душ, прекрасные леса в Царстве Польском, имения в Несвиже и Кайданах, где у нее замки. А вы, мсье, собираетесь жениться или хотите устроиться иначе?» Он сильно покраснел (Софи Моден мне сказала: «У него есть любовница – немка и двое или трое детей от нее»). «Мое сердце свободно, а мои родители желают, чтобы я женился, так как мне уже тридцать лет, но все мое состояние – 25 000 р. с Дружина, из них я посылаю отцу на расходы». Потом говорили всякий вздор. У Салтыковых был бал, я спросила его, поедет ли он туда – он ответил, что совсем не ездит в свет. На другой раз все повторяется. Стефани писала, что ей все это надоело и продолжала разговор: «Но как же с ним познакомиться?» – «Скажи Волконскому, что дежурный по караулам у нас всегда ужинает и приглашают тех, кого у вас никогда не приглашают». Сказали ему, он сказал: «Какая хорошая мысль, наши ужины смертельно скучны, всякий, кроме Ивановского и Безобразова, будет развлечением. Луи Витгенштейн достоин такой чести». Он раз ужинал, императрица с ним была ласкова, потому что уважала его отца. Он ей понравился и через Велеурского сделал предложение. Она была хороша, умна и мила. Витгенштейн тотчас взял отпуск и поехал в Тульчин к отцу и матери (она была рожденная Снарская). Стефани рассудила подождать и говорила: «У нас останется еще шесть недель, чтобы поближе познакомиться».

Двор отправился в Зимний дворец, но фрейлинские комнаты еще не были готовы, и я жила в Аничковом и с утра отправлялась к Стефани. При ней была гувернантка, мадемуазель Унгебауэр, при ней мы с Стефани делали свой туалет в спальне за перегородкой. С ног до головы мылись холодной водой с одеколоном, сами причесывались и очень хорошо делали свои букли, на босу ногу в капотах у открытой форточки садились пить чай; медный самовар кипел, мы сами заваривали чай в высоком чайнике, подле был калач, всякое кушанье свежее из лавки, масло, варенье из черной смородины, купленное в лавочке, она находила, что оно лучше. Перед ней стоял ее человек Сергей Игнатьев, с которым она болтала всякий вздор и говорила, чтобы карета была готова в два часа, и Богданка стоял на запятках, он похож на обезьяну. «Помилуйте, ваша светлость, Богданка стоит, а Васильев и Гурьянов

обижаются». – «Это ничего, им надобно дать каждому целковый, они будут очень рады, а я хочу, чтоб всегда ездил». Лизавета Андреевна тотчас говорила: «Княжна, ведь это уж 12 рублей». – «Ну так что же, мне можно тратить». – «Но, княжна, вы забыли, что дали 10 рублей мадемуазель Кривовой и потом подарок ей на свадьбу. Затем вы каждый день заказываете новую пару атласных башмаков у Пецольда, и это составляет 1325 рублей. Надо носить кожаную обувь». – «Я не виновата, что у меня нога как у мишки, а Пецольдом я очень довольна». В день никогда не раздавалось менее 50 рублей, бедные имели пенсион на месяц. Раз, только я приехала, входит Табен в коричневом сюртуке, похожий на повара. Я сказала Стефани. Она отвечала: «Верно, Табен пришел за деньгами». Табен был приятный немец, придворный и довольно толстый. Но Лизаветка, как мы ее звали, приносит письмо. Стефани читает и помирает от смеха: «Господин фон Тун, секретарь генерала Мюллера, делает ей предложение». – «Княжна, он ждет ответа». – «Скажите, что ответа не будет». – «Но, княжна, ведь это невозможно, напишите ему». – «Ну, дайте бумагу и перо. Княжна Радзивилл благодарит господина Туна за предложение, но не может принять его». Но было хуже предложение: Александр Вюртембергский, двоюродный брат государя и племянник Марии Федоровны сделал предложение. Надобно было письменно отвечать. «Пойдем в Эрмитаж, и там мы придумаем, что отвечать. Что за радость выйти замуж за personnage muet»[265] (Александр и брат его Евгений, которого в Кавалергардском полку звали «чушка», всегда ужинали за фрейлинским столом и ни слова не говорили; мы их называли «personnages muets»). В Эрмитаже занялись картинами, нам особенно нравилась картина Греза «Паралитик», тут целая сцена, это лучшая картина Греза, останавливались у «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, рассматривали Рембрандтов, восторгались Овербеком, любили тоже картины <нрзб>, казавшиеся мне выше Рафаэля, когда его мы не могли любить. Вкус образуется в области искусства.

Поехали кататься по Невскому с Богданкой на запятках. Возле саней в огромных санях, похожих на пошевни, ехал генерал Костецкий, который выдумал влюбиться в Стефани, оттого

[265] Немое лицо.

назывался Боголюбов № 2. Только что он был с ее стороны, я тотчас пересаживалась, и так все время. Костецкий мне говорил: «Не для вас, не для вас сударыня». Из ее окошек в 3-м этаже видна была Зимняя канавка, и карета Костецкого там стояла, когда мы возвращались. Тотчас отворялась форточка, я на него сыпала бумажки и выливала воду. Когда совсем смеркалось, он уезжал. Он вздумал раз сделать ей предложение и сказал, что у него имение в уезде Конотоп, и послал ей дрянные бриллиантовые серьги. Ее девушка их себе взяла, из этого вышла история, и она должна была отпустить девушку. Вдруг вечером она мне говорит: «Пожалуй Александр Вюртемб<ергский> поразит всех – я чувствую сердцем, он не приедет». – «Нет, моя дорогая, это невозможно, выйти замуж за человека, от которого слова не дождешься при всей его важности. Напиши письмо». «Ваше величество, принц Александр Вюртембергский сделал мне честь предложением выйти за него замуж. Но так как я уже дала слово графу Луи Витгенштейну, то могу только поблагодарить его высочество за оказанную мне честь. Смиреннейшая и покорная слуга вашего императорского величества Стефания княжна Радзивилл». «Ты знаешь, я не хотела иметь разных забот, а Витгенштейну покажу, буду кокетничать с Вяземским, с Огаревым, хотя он женатый» <...> Так и тянулось.

После обеда Сергей запрягал сани, и мы с 9 до 11 часов катались. Мы жили на Комендантской лестнице, внизу всегда встречали Башуцкого, который раскланивался. Возвращаясь в одиннадцать часов, встречали Башуцкого: «Поздно, поздно, сударыни, возвращаетесь». <...> Вечером иногда давали веселые пьесы: <нрзб> и «Две сиротки или избушка в лесу». Мы абонировались у жида Бродского на ноты, и я с ней играла в четыре руки. Она купила маленькую гармошку, которая, между прочим, играла Гайдна; Стефани заводила беспрестанно и ставила возле комнат мадемуазель Кнорринг, которую она называла Кноробова, и та со слезами просила избавить ее от музыки. В ее коридоре жила Юленька Башилова, очень умная, серьезная девушка. Ее сестра, Шипова, была в своем имении, она там писала трагедии: Ромул, Сократ и Александр Македонский.

Двор переехал в Зимний дворец, и в городе были маленькие вечера в полутрауре. Первый был у Лизаветы Мих<айловны> Хитровой. Она жила во втором этаже посольской квартиры, приемы ее были очень приятные, черные волосы под гребенку. Она говорила в нос и принимала гостей на кушетке в неглиже. Стефани и я, мы были званы на этот вечер. В углу, между многими мужчинами, стоял Пушкин. Я сказала в мазурке Стефани: «Выбери Пушкина». Она пошла. Он небрежно прошелся с ней по зале, потом я его выбрала. Он и со мной очень небрежно прошелся, не сказав ни слова.

Зимой я была больна. Доктор Арендт мне сказал, что у меня печень расстроена и просил заботиться. 14 октября меня и Эйлер сделали фрейлинами, и мы, наконец, переехали в Зимний дворец: 96 ступенек приходилось высчитать два и три раза. У Эйлер пошли прыщи по всему лицу и болели здоровые зубы, она лечилась омеопатией у д-ра Пятинга, и он ей очень скоро помог. У меня же все были нервы не в порядке, и я вздумала пить молоко и более ничего не есть. Мне казалось, что я лучше сплю от этого молока.

Летом в Павловске познакомилась с семейством Карамзиных. Лорд Хартфорд привез государю орден Подвязки. Государь был в Берлине по случаю болезни императрицы, и в Павловск были приглашены два родственника лорда Хартфорда Барри Сеймур. Лизаньке Карамзиной было 5 лет, она была прехорошенькая девочка, и мы ее затеяли познакомить с этим Барри. Тут сестра ее Софья Ник<олаевна> была и пригласила меня побывать у них в Царском. Они жили в Китайских домиках, и тут началась долголетняя дружба с этим милым семейством. Катерина Андреевна, по-видимому, сухая, была полна любви и участия ко всем, кто приезжал в ее дом. Они жили зимой и осенью на Владимирской против самой церкви и просили меня у них обедать. После обеда явился Фирс Голицын и Пушкин и предложил прочитать свою последнюю поэму «Полтаву». Нельзя было хуже прочесть свое сочинение, как Пушкин. Он так вяло читал, что казалось, что ему надоело его собственное создание. Когда он кончил, спросил у всех их мнение и, наконец, меня, я так оторопела, что сказала только:

«C’est très beau»[266]. Арендт мне советовал ехать в Ревель и купаться в море. Я сказала об этом имп<ератрице>. Она велела мне дать четвероместную дорожную карету, подорожную на 6 лошадей, и все было уплачено помимо меня. Мне выдали жалованье за три месяца, что составляло 500 р. асс., и я отправилась с Карамзиными в Ревель. Старшему сыну Андрею было 13 лет, Александру – 10, Владимиру 6, а Лизе 5 лет, у них был гувернер Тибо, девушка Екат<ерины> Андреевны, крепостная Фиона и крепостной человек Лука. Мы жили на даче Келлера, бывших стеклянных заводах, неподалеку от нас был Brigittenkloster, далее Веннис барона Деллингсгаузена, прекрасный замок, очень хорошо, по-старинному устроенный, куда надобно было ехать в коляске. Как только мы тронулись, коляска начала издавать самые странные звуки, но это было безопасно, и мы с кучером ездили все лето в церковь, где служил св<ященник> Вейдинг, большой приятель Катерины Андреевны. У Карамзиных жила еще англичанка мисс Энджел, красавица, у нее были две сестры, и покойный Александр П<авлович> их заметил, кажется, и очень к ним благоволил. В Ревеле был адмирал Талызин, но он редко приезжал, зато адмирал Спафарьев очень часто звал нас к себе или приезжал к нам. Он меня очень полюбил и называл «прекрасная особка». Одна из его дочерей была красавица и была замужем за маркизом де Траверсе, эмигрантом. Марья Христофоровна Шевич была с падчерицей Александрой Ив<ановной>. Был граф Евграф Евграфович Комаровский, Евгений Петрович Стерич и Николай Михайлович Смирнов. Я прежде с ним познакомилась в Петербурге у княгини Долгорукой, она хотела выдать замуж свою дочь и звала фрейлин, потому что балы только тогда были удачны, когда были фрейлины. Ярцева была очень хорошенькая блондинка. В Ревеле стоял армейский полк Суворовский, бывший Фанагорийский, и на бале я познакомилась с капитаном Яковлевым. Он говорил только по-русски и танцевал, конечно, с кондачка. Это был тот капитан Яковлев, который с кондачка же прошел по Остроленскому мосту, когда кишки его висели до полу. Он тут же и умер, а как часто он был отважен.

---

[266] Это очень красиво.

Вечером играли часто в вопросы и ответы. Комаровский был большой мастер на это и всегда все критиковал, а Адина Шевич его называла «Comte Commentaire». Он спросил: «Какую прогулку вы предпочитаете – пешком или на лошади», я ответила: «На лошади», а Александрина Шевич: «В зависимости от того, о каком животном идет речь». Это мило. Я гуляла и ходила гулять в поле, любила бродить, мне поручали Володю и Лизу. Он был несносный мальчик и раз сказал Лизе: «Иди к черту», она ему тотчас ответила: «Иди сам, ты там лучше подходишь, чем я». Раз я встретила бродягу в халате, морщинистый, небритый и босой. Я ужасно испугалась и бросилась бежать. Я писала Вяземскому, что в Ревеле очень хорошо, только я боюсь бродяг, у нас было много слухов о бродягах.

Из Ревеля я приехала уже в Зимний дворец. Окна были на двор, а за перегородкой спали мои девушки. У Билибиных были маленькие вечера, *я* часто бывала у них. Там Александра А<лександровна> Эйлер познакомилась с Алексеем Ник<олаевичем> Зубовым. Он был высокий смуглый мужчина (не в моем вкусе), очень противный и слыл богачом. Он ей сделал предложение, и свадьба была в Зимнем дворце. Императрица надела на нее свои бриллианты. Ее отец и мать были в отсутствии, и был посаженым у Зубова Билибин и шафером Иван <нрзб>. В то же время устроилась свадьба Лизаветы Витгенштейн с князем Репниным-Волконским.

Наследнику был осьмой год. Государь назначил его наставником Жуковского, который жил в Шепелевском дворце, сам назначил ученого юродивого Мердера его дядькой. Мердер был женат на англичанке мисс Салли Оксфорд, ее мать и горбатая сестра Мэри Оксфорд жили с Мердером. Он сказал государю, что нужен ночной дозор и рекомендовал Семена Алексе<евича> Юрьевича, который жил в комнате наследника.

Во время коронации государь просил матушку простить Виельгорского. Он был женат на принцессе Бирон-Курляндской, когда овдовел, приехал в Москву, Петербург и, очень естественно, искал утешения у сестры своей покойной жены, принцессы Луизы. Они друг друга полюбили и тайно обвенчались. Она была любимая фрейлина Марии Федоровны, и пришлось в этом признаться. Она обратилась к 1-му секретарю Григорию Ив<ановичу> Вилламову, который был католик.

Вилламов был замечательный человек: необыкновенный ум с большой начитанностью. Он был предан как верная собака государыне. Он не решился сделать огорчение имп<ератрице>. Она была дежурная и ехала в карете с государыней, бросилась на колени и сообщила ей о своей свадьбе. Ответу не было никакого, но через Вилламова по приказанию государя Ал<ександра> П<авловича> они присуждены были жить в Курском имении. В то же время возвращены были князья Барятинские, которые тоже жили в заточении в Курской губ<ернии>. Эти два семейства очень там подружились и скоро получили позволение жить в Петербурге. Не знаю, почему гетман Скоропадский пожаловал к<нязю> Барятинскому 300 000 десятин земли в Курской губернии; никто не знает, зачем они продали половину. Это мне фельдмаршал Барятинский рассказывал. У них остались владения только в селе Ивановском. Фельдмаршал совсем иначе рассказывал историю убийства Петра III. Он говорил, что князь Ив<ан> Барятинский играл в карты с самим государем. Они пили и поссорились за карты. Петр Третий рассердился и ударил Барятинского, тот наотмашь ударил его в висок и убил его <...>

Чтобы побудить наследника хорошо учиться, ему дали двух товарищей: старшего сына Виельгорского Иосифа и молодого Паткуля. Жуковский усердно принялся за дело, составил какие-то таблицы для изучения древней, средней и новейшей истории синхронно. Государь всегда сам присутствовал при экзаменах. Учителем русской истории был Арсеньев. Император ему сказал: «До Петра вы, а с Петра – я». Учителем немецкого языка был Кавелин. Искали долго учителя математики. Государь приехал в третью гимназию, где был брат мой Лев Арнольди, во время урока математики Шепелевского, который краснел, бледнел и тотчас потерялся, вынул что-то и спрятал у себя в кармане. Государь спросил у директора, что он ищет в кармане. – «Ваше величество, он был представлен к награждению и получил Станислава III степени в петличку; разве нельзя было мне дать русский крест; он носит всегда в кармане спрятанным про случай». Государь рассмеялся, сел и просил Шепелевского продолжать; его это ободрило, он прочел весьма интересную лекцию и получил Анну в петличку. Государь предполагал взять его в учители математики, но не знаю,

сбылось ли это. Законоучителем был Павский, его скоро заменил ученый, умный и прекрасный человек Барсов. Его обвинили в протестантизме и просили митрополита Филарета указать на хорошего законоучителя; он и назначил Василия Борисовича Бажанова. Променяли ястреба на кукушку.

В 1848 году грянул революционный гром. Из Парижа, как пламя, загорелась в Австрии кровавая революция. Ля Тур, приятный и добродетельный человек, был убит, этот Halunke Меттерних war auch gestorben[267]. На молодого Франца Иосифа напал с ножом какой-то мерзавец и ударил его ножом в затылок, но его руку остановил граф О'Дона; убийцу посадили в тюрьму. Меттерних выехал с женой в карете, обитою рогожей, как будто предпринял путешествие в Саксонию, там он был почти в безопасности. Перед его каретой ехала г-жа Костецкая. Ему хотелось пить, его жена просила гарсона подать стакан воды, он узнал их, принес воду, не взял их деньги, наконец, отвез его в Иоганнисберг. Вышло четыре тома его весьма интересных записок, изданных его сыном Рихардом, который был послом при Наполеоне III.

В Италии, в Богемии и в Пруссии разразилась революция. Императрица просила Гримма прочесть ей Гетева «Фауста», а князь Волконский и Медем присутствовали при этом чтении. Я встретила в Салтыковском коридоре приехавшего пыльного Михаила Велеурского и спросила: «Quelles nouvelles de Berlin?» – «Je viens avec des nèfles et des lettres pour l'Impératrice»[268] и он отправился к государю наверх, а я поехала на свою квартиру на Мойке. Из газет я узнала, что в Берлине смотрело войско на буйную толпу, что тело провезли мимо дворца, заставили короля выйти на балкон, и так как он был в каске, кричали ему: «Geh's herunter»[269], требовали удаления гвардии. Ей приказано было идти в Потсдам, не отвечать на грубости темной, всегда грубой буржуазии. Один плеснул офицеру фон Застров в глаза и приказал ему не вытирать глаза. Гвардия вся шла со слезами на глазах.

---

[267] Также умер *(нем.)*.

[268] Какие новости из Берлина? – Я возвращаюсь ни с чем и с письмами для императрицы.

[269] Вон отсюда! *(нем.)*.

Гримм мне рассказывал, что государь, очень встревоженный, вошел в комнату и спросил ее, что ей читает Гримм. – «Фауст Гете». – «Goethe! C'est votre infâme philosophie, c'est votre infâme Goethe qui ne croyait à rien, qui sont la cause des malheurs de l'Allemagne. Sortez d'ici!»[270]. Когда он сообщил императрице, что было с ее несчастным братом (у него тогда был первый удар), с ней сделалась дурнота, и Гримма, который стоял, как вкопанный, у дверей, послали за Мандтом. Мерсье был поверенным в делах и мне рассказывал: «Quand j'ai demandé à l'Empereur une entrevue, j'ai trouvé l'Empereur très ému et lui a dit: "Sire, vous êtes le seul qui n'a rien à craindre des révolutions"». – «Mon cher Monsieur Mercier, les révolutions sont indiquées, je n'ai pas encore émancipé mes paysans, et je sais de bon sens qu'ils sont mécontents de leur servitude. Il suffit d'une étincelle pour bouleverser l'ordre à présent dans mon empire»[271]. Мерсье мне рассказывал, что он обедал у старого герцога де Брольи, обедали несколько человек, в том числе Боссе, говорили о железных дорогах. Боссе имел привычку засыпать после обеда. Герцог де Брольи спросил его: «Боссе, отчего вы спите на железной дороге?» – «Я говорю, что это колыбель мировой цивилизации».

Я была больна нервами, ко мне пришел давнишний приятель граф Павел Медем, он тоже больной, и сказал мне то же самое. Я ему сказала, что московский митрополит Филарет говорил, что это дьявольское изобретение. Он совершенно прав, это действительно дьявольская вещь. Поживем – увидим. Мы живем как в эпоху крестовых походов, все общество перемешивается, христиане женятся на жидовках, русские выходят замуж за итальянцев, французов и англичан, и наоборот. Митрополит Филарет говорил мне: «В селении Вавилонском друг друга не понимали, потому что говорили руками; у нас всюду и везде все говорят одним языком и друг друга не понимают». <...>

---

[270] Гете! Это ваша гнусная философия, ваш гнусный Гете, ни во что не верующий – вот причина несчастий Германии! Уйдите отсюда.

[271] Когда я просил императора меня принять, я нашел его очень взволнованным и сказал ему: «Государь, только вам нечего бояться революций». – Милый мой г. Мерсье, революции предопределены; я еще не освободил своих крестьян и знаю, что он недовольны своим рабством. Достаточно искры, чтобы ниспровергнуть весь нынешний порядок моей империи.

В 1848 году граф Дмитрий Николаевич не раз мне говорил, что <нрзб> крестьяне его говорили: «Когда, батюшка, нас царь на волю пустит», он об них донес министру внутренних дел Льву Алексеевичу Перовскому.

Я жила в Павловске во время эпидемии холеры и встретила графа Киселева: он меня спросил, читала ли я письма об Остзейских провинциях. Я сказала, что они есть у меня, но я их не читала, потому что их автор мне часто говорил о своем воззрении на эти провинции; их называют Балтийскими, эти губернии. «Дайте мне их, пожалуйста». Я их послала графу; через несколько дней он мне сказал: «Да, я с Самариным совершенно согласен». Тогда пошли гонения на славянофилов по доносу Орлова; он, кажется, родился сыщиком.

* * *

В начале 30-го года я была вечером у императрицы и слышала, что государь сказал Киселеву: «Я читал твой отчет с удовольствием и вижу, что мы сделаем для освобождения несчастных крестьян в княжествах». – «Государь, я с одной стороны должен был гладить по головке бояр, а с другой подтягивать». Киселев мне говорил: «Я сказал государю: Ваше величество, я не рвусь иметь <...>». Он вздохнул и сказал: «Зачем, я читаю губернаторские отчеты и знаю, что сплошная ложь, а правдивы отчеты Гессе, Новгородцева, Смирнова у Руперта». Гессе был подольский губернатор, и когда ему приносили журнал губернского правления, он отвечал: «Отвечать по материи». Отчеты его были очень кратки: «Ваше величество, урожаи самые лучшие, зерно идет по высокой цене. В губернии все тихо, поляки с удовольствием приезжают в Житомир, веселятся на балах и театрах и благодарны вашему величеству за ваше к ним расположение. Затем остаюсь Гессе». Новгородцев был меломан, у него был домашний оркестр <...>, вкус к музыке распространяется, это доказывает образование.

Н. М. Смирнов писал, что поляки неблагонадежны, что вице-губернатор Клушин просто-таки дружится со своими слугами и оркестром, что он получает хлеб и свежую баранину из его Орловского имения; что он бескорыстен и знает дело, но что он обязан сказать, что его можно только держать

в звании вице-губернатора <...> По доносу Клушина и Чурбана Николай лишился места, а недобросовестная Елена Павловна говорила, что он брал взятки. Но я ей за это заплатила в Риме в 57 году.

* * *

Государь сказал Киселеву: «Пора мне заняться нашими крестьянами. Я то и дело получаю известия, что в той или другой губернии стреляют в помещиков, в Кременчуге высекли почтенного Паскевича, потому что, как военный, он строго требовал порядка, высекли несчастного Базилевского – я отдам его под опеку, он живет в нужде, все знают, что его секли и все его презирают, а он и в ус не дует. Я не хочу разорять дворян. В 12 году они сослужили службу, жертвовали и кровью и деньгами».

Норову оторвало ногу под Бородином, он и Вяземский были тогда в московской милиции, 15-ти лет, под Бородином.

«Я хочу отпустить крестьян с землей, но так, чтобы крестьянин не смел отлучаться из деревни без спросу барина или управляющего: дать личную свободу народу, который привык к долголетнему рабству, опасно. Я начну с инвентарей; крестьянин должен работать на барина на три дня и три дня на себя; для выкупа земли, которую имеет, он должен будет платить известную сумму по качеству земли, и надобно выплатить в несколько лет, земля будет его. Я думаю, что надобно сохранить мирскую поруку, а подати должны быть поменее. Я об этом давно говорил Блудову, он поручил чиновнику <нрзб> составить полный план. Надобно будет повестить прежде в церквях это будет средством для улучшения быта духовенства. Эта мудрая и великая Екатерина обижала церковь; после, особенно деревенские, нищие, оттого нет школ в деревнях, а это необходимо. Говорят, что я – враг просвещения. Есть два просвещения: западное развращает их, я думаю, самих; совершенное просвещение должно быть основано на религии». – «Государь, я не грамотей, позвольте мне взять в редакторы моего человека, Николая Милютина; служит в Министерстве внутренних дел, и Перовский говорит, что он лучший человек у него». – «Выбери, кого знаешь, я уверен, что выбор будет очень

хорош». <...> Затем последовал указ об обязанных крестьянах, который остался, по милости Меншикова и Закревского, мертвой буквой.

В 1828 году вышел манифест с объявлением войны с Турцией. Императрица решила ехать в Одессу с великой княжной Марией Ник<олаевной>, которая была тогда ребенком, а с ней фрейлины: графиня Моден, княжна Урусова, доктор Крейтон. Я просила императрицу меня взять, мне так хотелось увидать бабушку, Грамаклею и Адамовку, которая, увы, была уже не наша. Мать моя помешалась за несколько месяцев перед последними родами, и этот мерзавец Арнольди заставил ее совершить преступное дело – Адамовка, по духовному завещанию отца, принадлежала братьям. Она умерла в родах 36 лет отроду. Не раз бедная мать наша раскаивалась, что так безрассудно вышла замуж. Государыня мне сказала: «J’aurais bien préféré de vous prendre que cette ennuyeuse princesse Ouroussoff, mais tout est fixé par Maman, et je ne pourrai pas prendre une 3-me, ce serait une dépense trop faite. D’ailleurs je ne regrette pas car Maman vous rend justice – cette méchante vieille Moden vous a calomnié et a dit que vous recevez des officiers dans votre chambre. L’Empereur a fait appeler Moden et sa femme et leur a donné une bonne leçon»[272].

В 26-м году был 1-го генваря бал с мужиками, в их числе, конечно, было более половины петербургских мещан. Государыня была в сарафане и в повойнике и все фрейлины тоже. Мужчины в полной форме, шляпа с пером, тогда была мода на султаны из белых и желтых куриных перьев, и каждый хотел иметь лучший плюмаж. Полиция счетом впускала народ, и более 4000 не пускали. Давка была страшная. За государем и государыней – брат мой Иосиф, уже камер-паж, держал над ее головой боа из белых и розовых перьев. Государь <говорил> беспрестанно: «Господа, пожалуйста» и перед ним раздвигалась эта толпа, все спешили за ним. Я шла с каким-то графом

[272] Я предпочла бы взять вас, чем эту скучную Урусову, но у матушки все установлено, и я не смогу взять третью, это был бы слишком большой расход. Впрочем, я не жалею, ибо матушка отдает вам справедливость – эта старая злючка Моден вас оклеветала, сказала, что вы в своей комнате принимаете офицеров. Император велел позвать Модена и его жену и дал им добрый урок.

Ельским, впереди Стефани с графом Витгенштейном. Он давно был в Петербурге, но узнал, что она изрядно кокетничает с кривым князем Львовым Андреем. Бедный Львов сделал ей предложение, она ему отказала. Он занемог, впал в чахотку, поехал в Италию, умер в Ливорно, где его похоронили с Кутузовым и Мухановым. Это оскорбило Витгенштейна, но раз он ее где-то встретил и решился явиться на этот праздник.

Императрица Мария Федоровна сидела за ломберным столом и играла в бостон или вист, с ней министры; в Георгиевском зале, туда мужиков пускали по 10-ть зараз, везде гремела музыка. По углам были горки, на которых были выставлены золотые кубки, блюда, и пр. Лакеи разливали чай и мешали чай ложечками, неравно кто-нибудь позарится на чужое добро. Церковь была освещена и священники и дьяконы служили молебны остальным, их было немало. Удовольствие кончалось в 8 часов, а в 10-ть часов дежурная фрейлина и свита отправлялись ужинать в Эрмитаж. Все комнаты были обиты разноцветным стеклярусом, освещение было сзади и ослепительно (это все от времен Екатерины), за ужином играла духовая музыка Ариозо и Вариации Бетховена. Мужики имели право оставаться до полночи, а мы все расходились по своим комнатам. Я видела, что боа Стефани было в шляпе Витгенштейна. Я ей сказала: «Знаешь, я приеду болтать с тобой». – «Нет, я устала, и у меня болит голова». Я поняла, что все решено. Утром рано я поехала к ней, она сидела, смеясь, одетая, возле жениха, и Лизаветка тут же.

Утром рано я к ней приезжала заказывать белье, Пецольду несколько дюжин черных, белых, красных, голубых башмаков, тогда мода была, чтобы обувь была того же цвета, как платье. Мадам Бологьель шила платья, она была не в моде, но Стефани ее любила и слышать не хотела о Циклерах: «Сестры Циклер в моде, а я на зло им хочу все заказывать у мадам Бологьель». Опекуны князь Любецкий и граф Грабовский расщедрились, прислали немца Римплера, и она выбрала, что хотела. Из серебряных лавок принесли на выбор столовое серебро и туалетное. Она прежде просила Грабовского купить ей туалетное серебро, он ей прислал аплике, она его побросала и дала своим девушкам кроме жалованья. Она очень любила Крыжановского, который приносил ей всякое воскресенье 50 р. асс.,

и «Крыжаньке» она подарила уйму этих вещей и запретила Дмитриеву к ней являться, он был ужасный мошенник <...>

Волконский ему подарил дачу Павлино, но она ни за что не хотела, чтобы он ее принял. У Волконского были вкусы против натуры, но кроме этого ничего не было предосудительного. У Витгенштейна же была любовница и дети. Стефани ему сказала, что она это знала, и просила его продать Павлино и отдать деньги этой женщине. Он продал Павлино за 40 000 асс., кажется, Велеурскому, и разделался с этой женщиной. Протестантская свадьба была во дворце, посаженной матерью была Мария Федоровна и в<еликий> к<нязь> Михаил Пав<лович>. Католическая – в церкви св. Екатерины, двор и гости, Велеурский был шафером, кроме шаферов есть и свидетели, и Михаил Пав<лович> поехал в католическую церковь как свидетель.

Они наняли дом г. Гурьева на Фонтанке, меблировал Гамбс, который был в большой моде. Ливрея была синяя, а панталоны коричневого цвета, оливковые чулки и башмаки, упряжь была русская. Повар был француз, но для Стефани особенно готовила жена ее возлюбленного Сергея Никитина, который стоял за ее стулом, и она с ним разговаривала. Ей готовили щи или борщ с пирожками, кулебяку, жареный, картофель с луком, яичницу с луком, варенье, и она пила брусничную воду. Когда я обедала, то разделяла ее трапезу. Иностранные послы, секретарь ф<ранцузского> посольства Лагренне, истинная сорока, обедал всякий день без зазрения совести. Конюшенная девка Ярцева тоже ездила к ней и подучила Лагренне сказать, что Стефани кокетствовала с Архаровым и поссорила меня с ней. Во время беременности Стефани ела воск, от нее прятали воск, даже восковые свечки. На бале она подошла ко мне и сказала: «Je n'aime et ne veux que les bougies en belle cire et je voudrais toutes les manger»[273]. Она родила дочь Марию, нынешнюю княгиню Гогенлоэ, они поехали во Флоренцию, где жила польская эмиграция, познакомились с лучшими фамилиями и родила сына Петра. Во Флоренции доктора объявили, что у нее чахотка и послали их в Эмс. Ее любимая девушка Полина родила дочь и бросила ее в отхожее место, флорентийской полиции заплатили очень дорого и ее освободили. Они уехали в Эмс,

---

[273] Я люблю и хочу только свечи лучшего воска, я хотела бы их все съесть.

где нашли сестру и старую мать графа. Как все чахоточные, Стефани была полна надежд. Однажды вечером она была в розовом капоте, покрытом кружевом, закашлялась и сказала мужу: «Louis, faites-moi un lait de poule»[274] – и спокойно заснула. Во Флоренции поляки сбили ее с толку и сделали ее противницей России и государя, даже Марии Федоровны. По духовному завещанию она оставила мужу все свое огромное состояние по Литовскому статуту, 10 000 Полине, 10 000 другой девушке и 1000 своей подруге Качаловой.

Еще до ее свадьбы в Петербург приехал богач граф Станислав Потоцкий, который купил дом на Английской набережной. Парадная зала была темно-голубого цвета и по ней с верхнего до нижнего карниза был золотой герб Потоцких. Он давал обеды и первые обеды в 10-ть персон, изысканные обеды. Государь его спросил: «Est-ce que Gibbier me donne "des dîners fins?"» – «Non, Sire, vos dîners et vos soupers sont très bons, mais ils ne sont pas fins». – «Il faut que je m'essaye, donnez-moi le dîner fin». – «Votre Majesté, veillez recommander les convives, il me faut des gourmands pour un dîner fin». – «Invitez que vous voulez»[275]. Государь и отправился, обед длился более полутора часов, государь встал и сказал: «Je vous demande pardon, Messieurs, j'ai à faire et vous quittez-moi pour avouer que j'ai aujourd'hui le dîner fin»[276].

Стефани была еще во дворце, пошла со мной и Качаловой в манеж. Качалова была длинная, очень дурна собой; она ей надела розовый платок на шею и светло-зеленую шубу на собольем меху, лицо и шуба были одного цвета. Ко мне подошел Потоцкий и сказал: «Comment, vous n'êtes pas du caroussel?» – «Je ne sais pas monter à cheval». – «Je vais vous enseigner»[277] и сказал конюху привести Сакена. Сакен была белая старая

---

[274] Луи, сделайте мне гоголь-моголь.

[275] А что Жибье готовит мне изысканные обеды? – Нет, государь, ваши обеды и ужины очень вкусны, но они не изысканны. – Я должен попробовать, угости меня изысканным обедом. – Извольте назвать сотрапезников, ваше величество: для изысканного обеда мне нужны гурманы. – Приглашай кого хочешь.

[276] Прошу прощения, господа, у меня дела, а вы расходитесь и признайте, что у меня сегодня изысканный обед.

[277] Разве вы не участвуете в карусели? – Я не умею сесть на лошадь. – Я сейчас вас научу.

кобыла, на которой всегда ездил фельдмаршал Сакен, когда приезжал в Петербург из Киева. Сакена привели, наставили стремена, Потоцкий показал, как занести ногу, как держать уздечку, показал, как поворачивать лошадь, и поохал шагом вокруг манежа, потом велел ехать рысцой вокруг и приказал привести Юлию, старую рыжую лошадь. Тут оказалось, что езжу без страха и что я должна быть в карусели. Я просила государыню, она велела мне сшить синюю амазонку и черную шляпу.

У Потоцкого в столовой был прекрасный орган и звон. В нем было двадцать регистров. Он вздумал дать большой обед, на котором были государь, государыня и жена Лариона Васильевича Васильчикова, рожд<енная> Пашкова, и прочие. Я сидела за столом между в<еликим> к<нязем> Михаилом Пав<ловичем> и Потоцким, и Михаил Пав<лович> сказал: «Potocki, un doux penchant vous entraîne». – «Et que voulez vous, Monseigneur, les vieux pères aiment ses enfants jolies»[278]. Так как это было летом, то репетиции делали по летнему обыкновению, однако с музыкой. Против были дворецкие на лошадках, за каждой из нас был берейтор. Мой кавалер был брат Елены Павловны принц Павел Вюртембергский. Она, конечно, не участвовала в карусели, это было бы слишком легкомысленно. После всяких фигур галопом ехали мимо публики. Подъезжая к Жуковскому, я ему сказала: «Василий Андр<еевич>, каково! Каприз на лошади». Государь был кавалер Вареньки Нелидовой, она прекрасно ездила верхом, но всех лучше императрица. Она была так грациозна и почти не касалась лошади. Ее кавалер был Михаил Пав<лович>. Государь мне сказал: «Зачем ты меня не выбираешь?» (по-русски он всегда говорил мне ты). «Ты» был критериум его расположения к женщинам и мужчинам: Ярцевой он всегда говорил «вы», Любе Хилковой тоже, графу Воронцову «вы», Киселеву «ты», Потоцкому тоже, Канкрину, из уважения, «вы», также многим генералам прошлого царствования: Уварову, Дризену, Мордвинову, Аракчееву и Сперанскому.

У Потоцкого были балы и вечера. У него я в первый раз видела Елизавету Ксаверьевну Воронцову в розовом атласном

---

[278] Потоцкий, вас увлекает нежная склонность. – Что вы хотите, ваше высочество, ведь и старые отцы любят своих прелестных детей.

платье. Тогда носили cordelière[279], ее cordelière была из самых крупных бриллиантов. Она танцевала мазурку на удивленье всем с Потоцким. Шик в мазурке состоит в том, что кавалер даму брал себе на грудь, тут же ударяя себя почти в центр тяжести (чтоб не сказать задницу), летит на другой конец залы и говорит: «Мазуречка, пани», а дама ему: «Мазуречка, пан Храббе». У него постоянно брюхо тряслось, когда он был в белых штанах, а легкость была удивительная, тогда танцевали попарно, а не спокойно, как теперь, и зрители всегда били в ладоши, когда я с ним танцевала мазурку. На его вечерах были швейцары со шпагами, официантов можно было принять за светских франтов, ливрейные были только в большой прихожей, омеблированной как салон: было зеркало, стояли кресла и каждая шуба под номером. Все это на английскую ногу. Пушкин всегда был приглашен на эти вечера и говорил, что любителям счастье, все подавали охлажденным, и можно называть то то, то другое, и желтенькие соленые яблоки, и морошку, любимую Пушкиным, брусника и брусничная вода, клюквенный морс и клюква, кофе с мороженым, печения, даже коржики, а пирожным конца не было. В воскресенье у императрицы были вечера на сто персон и салонные игры, «кошки и мышки». Я отличалась в этой игре, убегала в другую комнату, куда рвался Потоцкий, я от него опять в коридор, и кончалось, когда он говорил: «Je ne puis plus»[280].

Александра Васильевна д'Оггер вышла замуж за Ивана Григорьевича Сенявина; она устроила свой дом на Английской набережной и сказала, что в приемный день принимает запросто у себя утром. Тогда спускали занавески и делался таинственный полусвет. Она сказала Кирилле Ал<ександровичу> Нарышкину: «Vous savez, mon cousin, il faut venir en redingote n'importe s'il fait beau où s'il pleut»[281]. Нарышкин явился, весь забрызганный грязью, с сапог его текла вода. «Mon cousin, vous êtes fait comme un Courbet, il fait très beau temps aujourd'hui». – «Ma chère cousine, il y avait une mare auprès, du Palais. Je regrette

[279] Цепь из драгоценных камней.
[280] Больше не могу.
[281] Знаете, кузен, надобно приходить в сюртуке, невзирая на погоду.

d'avoir abîmé votre joli tapis français»[282]. На следующий день он явился в мундире, со шпагой на боку. «Дело в том, – сказал он, – что сегодня у меня доклад у государя». Она получала «Revue des Deux Mondes», который всегда лежал у нее на столе. У нее делали живые картины: «Урок музыки в Торбюри». Граф Гаген, секретарь прусского посольства, держал виолончель со смычком между ног, стол был накрыт ковром, я в широких рукавах с кружевами, в длинных локонах и нарумяненная сидела, облокотись, и слушала. Ее тетка Татищева одевала Софью Урусову и забыла ее нарумянить, она держала и закрывала лицо нотами. Медем подошел и сказал: «О любезная Розали». Потоцкий издали протягивал мне руки. Два раза заставляли нас сидеть. Татищева хотела непременно выдать ее за Воронцова-Дашкова, который был наш посланник в Баварии и приехал в отпуск, но это ей не удалось. Потом была картина графини Завадовской «Мать Гракхов», она лежала на кушетке, дети стояли за спиной ее кушетки, оба сына Сенявины. Она так была хороша и в ней было столько спокойной грации, что все остолбенели. Эту картину повторяли три раза. Потом я в итальянке, в крестьянском итальянском костюме сидела на полу, а у ног моих Воронцов-Дашков в костюме транстевера лежал с гитарой на полу у моих ног. Большой успех, и повторили три раза и, не сняв костюм, оделись и в каретах отправились к Карамзиным на вечер; я знала, что они будут танцевать с тапером. Все кавалеры были заняты, один Пушкин стоял у двери и предложил мне танцевать с ним мазурку. Мы разговорились, и он мне сказал: «Как вы хорошо говорите по-русски». – «Еще бы, мы в институте всегда говорили по-русски, нас наказывали, когда мы в дежурный день говорили по-французски. А на немецкий махнули рукой». «Mais vous êtes Italienne?» – «Non, je ne suis d'aucune nationalité: mon père était Français, ma Grand-mère était une Géorgienne et mon Grand-père – un Prussien, mais je suis orthodoxe et Russe de coeur»[283].

---

[282] Кузен, вы словно горбатый, а погода сегодня прекрасная. – Дорогая кузина, около дворца была лужа. Мне жаль, что я испортил ваш красивый французский ковер.

[283] Но вы итальянка? – Нет, я не принадлежу ни к какой национальности: мой отец был француз, моя бабушка – грузинка, а дед – пруссак, но я православная и по сердцу русская.

«Плетнев нам читал вашего “Евгения Онегина”, мы были в восторге, но когда он сказал: панталоны, фрак, жилет, мы сказали: какой, однако, Пушкин индеса[284]». Он разразился громким веселым смехом, свойственным только ему. Про него Брюллов говорил: «Когда Пушкин смеется, у него даже кишки видны».

Зимой я ездила к тетушке Марии Ив<ановне> Лорер. Она жила на Гороховой, в доме Грачева. У нее жил тогда Дмитрий Ев<сеевич> Цицианов, а жена его, больная, жила в Москве у какой-то Лопухиной, которая их кормила потрохами и всякой дрянью. Толстая княжна написала Сергею А<лександровичу> Лутковскому, что им невтерпеж. Он им предложил жить в его доме у Харитонья в Огородниках, купил у Сухаревой башни кое-какую мебель, и с крепостной и двумя старухами поместились. Когда княгиня умерла, то княжна выгнала отца. У тетушки он был на кухне целый день, ходил на рынок покупать провизию. У нее я играла в четыре руки с Павлом Зубовым Бетховена. Она жила со своей неизменной Мари и гувернанткой мадемуазель Жироду, со своей Аннушкой, которая была все в доме. Серафима Ив<ановна> Штерич представила Ивана Серг<еевича> Мальцева и говорила, что он очень богат и будет хорошим мужем для меня. Ив<ан> Сергеевич смотрел глупыми глазами, но не производил ровно никакого впечатления на меня. Егермейстер говорил мне, что он ужасно скуп. Но вскоре он назначен был секретарем Грибоедова и уехал с ним в Персию.

Я бывала часто у Зубовой. Там всякий вечер была музыка Фирса (т. е. Сергея Голицина, зачем его звали Фирсом, я не знаю, 14 числа ев. Фирса, и его арестовали, вообразив, что и он в заговоре, но после, поняв, что он чист, его отпустили), да Глинки, которого звали сеньор Глинчини <...> У Глинки был дишкант, и весьма малозвучный, но он пел превосходно. Я заметила, что у Зубовой часто появлялись прыщики на губах и вокруг шеи, но она была здорова и весела. Доктор Арендт меня встретил и сказал: «Пожалуйста, барышня, будьте осторожны, не пейте из одного стакана с ней, а главное, не садитесь на ее горшок». Я ничего не поняла, через два года приехала Нина <нрзб> и сообщила, что ее мерзавец муж заразил ее дурной

[284] От *фр.* indécent – непристойный.

болезнью, что ребенок был гнилой и заразил даже няньку. Ее послали на воды. Между тем она открыла, что они в долгу как в шелку, Зубов занял у каких-то жидов по 10 процентов, продал всю мебель, даже ее одеяло зимнее, и поехали в Нижегородскую губернию, в город Горбатов, где приютились в маленьком имении двоюродной сестры Зубова Александры Александровны Зубовой. Она и там не скучала, занялась хозяйством и садом, сажала и прививала деревья и цветы. Узнав, что Д<нрзб> уволен от службы за недобросовестностью, поехала одна в Петербург и умолила государыню доставить это место ее мужу. Императрица с радостью это устроила, прося Канкрина. И они поехали жить в Нижнем Новгороде. Она подружилась с женой Михаила Пет<ровича> Бутурлина, рожденной княжной Вяземской, с семейством барона Тришатского, у которого было две дочери, его обожавшие. Все деньги она выплатила понемногу, Зубов оставил ярмарку и вступил в Москве в почтамт. Там они купили дом на Садовой, она купила рояль, с ней жили две тетки, старые девицы Чибисовы. Она нашла там генерала Шипова и была дружна с его женой, рожд<енной> гр<афиней> Комаровской. Над Шиповым смеялись – над кем не смеются в Петербурге? Он был честен, умный, сведущий и написал очень дельную брошюру о необходимых переменах по министерству внутренних дел, которую никогда не печатал. Безбедные старики ходили всякий день к ранней обедне, имели тесный кружок друзей и были очень счастливы. Княгиня Хилкова ей тоже очень обрадовалась. Я занемогла в селе Спасском и приехала лечиться у Иноземцева, она сняла мне квартиру и провела почти весь день со мной. Иноземцев хотел лечить меня молоком, но я не вынесла этого лечения, он давал мне какие-то порошки для желудка и приказал лежать целый день в саду. Я простудилась, легла в постель, у меня сделался сильный понос, сообщили Александрине, и она заметила, что у меня кровавый понос; она скорей послала за Иноземцевым, который его остановил самым простым образом.

Почти все вечера я проводила всегда у Карамзиных. Катерина Андреевна разливала чай, а Софья Николаевна делала бутерброды из черного хлеба. Жуковский мне рассказывал, что когда Николай Михайлович жил в Китайских домиках, он всякое утро ходил вокруг озера и встречал императора

с Александром Николаевичем Голицыным, останавливался и с ним разговаривал иногда, а Голицина, добрейшего из смертных, это коробило. Вечером он часто пил у них чай, Катерина Андреевна всегда была в белом полотняном капоте, Сонюшка в стоптанных башмаках. Пушкин у них бывал часто, но всегда смущался, когда приходил император. Не имея семейной жизни, он ее всегда искал у других, и ему уютно было у Карамзиных; все дети его окружали и пили с ним чай. Их слуга Лука часто сидел, как турка, и кроил себе панталоны. Государь проходил мимо к Карамзиным, не замечая этого. «Карамзин, – говорил Жуковский, – видел что-то белое и думал, что это летописи». У нас завелась привычка панталоны звать летописями, Жуковский заставил скворца беспрестанно повторять «Христос воскресе», потом ошибется и закричит: «Востиквас», замашет крыльями и летит в кухню. Александра Федоровна терпеть не могла Наполеона, государь часто его хвалил. Княгиня Трубецкая, чтобы польстить государыне, сказала: «C'était un tyran, un despot»[285], догадалась, что сказала невпопад, сконфузилась – я Жуковскому сказала: «Эта дурища при слове деспот сконфузилась, и с ней сделался востиквас». И это было принято в нашем арго, также слово флертовать.

Весной Мария Фед<оровна> поехала в Павловск. Она была в своей городской карете и вязала из серебряных ниток кисеты, и надобно было считать ряды, потом привязывать нижние для составления креста. За ней ехала карета с другими фрейлинами, в коляске ехал Павел Ив<анович> Кутайсов, ее гофмейстер, и егермейстер Михаил Юрьевич Велеурский, гофмейстер Ласунский в карете, потому что у него болели глаза, в зеленой карете – Дюбуа и Дебле, камердинер и парикмахер Матвей Петрович Петров и камердинер Гримм.

До нашего отъезда в Салтыковском коридоре произошло волнение, нечто вроде междоусобной войны. Князь Волконский заметил, что придворные лакеи долго не гасили свет. Было правило, что если свеча догорит более половины, им доставалась свеча, которую они продавали. Он долго сам наблюдал, наконец поручил арапам: они были гораздо честнее. Обязательнее всех был красивый арап Кайтан, он всегда стоял

[285] Это был тиран, деспот.

у ручки государыни. Он гасил свечи, за это они ему отомстили: обвинили его сына Ивана, что он что-то украл, его послали в Кронштадт, где он был барабанщиком. Зетюльбе была жена Кайтана, который был очень падок до девок, она ревновала, и Кайтан ее прибил до полусмерти. Она ушла к себе со слезами и сказала: «Бедный мой Иван должен бить в барабан, это меня так огорчает. Александра Осиповна, попросите его помиловать». Его послали в исправительное заведение, что гораздо хуже барабана, наконец, его простили. Княжна Цицианова послала Зетюльбе в Киев к княгине Кудашевой, где она воспитывала маленьких детей, и оттуда ей нашли место у богатого старика Скоропадского. <...>

В нашем корридоре жила фрейлина Дивова, Катерина Ивановна Арсеньева, сестра Павла Ив<ановича>, лучшего кавалера в<еликих> к<нязей> Николая и Михаила (у них было их 12-ть), Наталья Ив<ановна>, рожденная Пущина, Наталья Николаевна Беклешова, совершенная дура, сестра генерала Беклешова, человека необыкновенно умного, честного и бескорыстного; он вышел из министерства с известным Трощинским; Олимпиада Петровна Шишкина и графиня Сухтелен, сестра нашего посланника в Стокгольме. Нам продолжали покупать свечи и желтые свечи для ночников, вся молодежь поднялась из-за свечей – отцы поднялись на нас. Графиня Сухтелен пришла ко мне и сказала: «Пусть, наконец, молодежь потребует хороших свечей, пусть, наконец», она беспрестанно говорила «пусть, наконец». В 70-м году она была еще жива и где-то жила неподалеку от Парижа; мне это сообщила ее племянница, очень милая и умная девушка, сказала мне, что она все любит говорить «пусть, наконец». Я думаю, что ей по крайней мере 90 лет. В этом же корридоре фрейлинская гувернантка Наталья Семеновна Ховен, рожд<енная> Борщова. Она, наконец, прекратила междоусобную войну за свечи. Я думаю, что такой войны не было во всем свете. Брат мой Клементий говорил, что в России все так особенно и странно, что надобно иметь ключ к таинствам России, подобно книге Юнга Штиллинга «Ключ к таинствам природы».

В воскресенье государыня ходила к обедне в большую церковь и стояла в роброне, т. е. в платье с хвостом, и дежурная тоже была в роброне. Наталья Семеновна ходила ко всем

фрейлинам и просила их одеться в роброн, ее лакей Гурьянов обходил всех, мы обыкновенно говорили: «Пусть старушка потешится». Шишкина, Беклешова и Пущина, бедная Наталья Семеновна, тогда приходили в отчаяние. Я раз согласилась идти к обедне в роброне, она так обрадовалась, что меня поцеловала и сказала: «Ma chère, j'ai des pastels de Novgorod, je vous les enverrai». – «Pour qui vous priez, ma chère Наталья Семеновна, je vous assure que je le fais de bonne grace et ne vous inquiétez pas»[286]. Катерина Николаевна Кочетова жила особо, у нее были три комнаты, две девушки. Она была оригиналка, вставала в 6-ть часов, ванна со льдом была готова. Она купалась и вытиралась одна, запирала дверь на ключ и ходила, как ее создал господь, перед открытой форточкой, какой бы ни был мороз, потом одевалась, надевала легкие башмаки, одевала платок, мчалась <нрзб>, а в 8 часов была у обедни в большой церкви, оттуда возвращалась в свою гостинную и пила чай со сливками, а в постные дни с миндальным молоком. Ей приносила федоровская баба ржаной хлеб с черникой и сухую калину, когда ее хватил мороз, и тут же другой запах придает, и это довольно вкусно. Я часто у нее пила чай, она была очень милая и ленивая. После чая она читала «Четьи Минеи» и сочинения Симеона Полоцкого (воображаю скуку от этих сочинений!) После ездила с визитами и часто обедала у Ивана Петровича Новосильцова <...>. К ней приезжала француженка с модами и уверяла ее, что тюрбан или берет ей очень пристали. Она говорила: «Вы цветок», а оборачиваясь ко мне, говорила: «Да разве что-нибудь пристало такой старухе, у нее-то и нос крючком». Новосильцов имел привычку петь, когда играл в карты. Граф Александр Ив<анович> Сологуб говорил, что он пел: «Ты не поверишь, ты не поверишь, как ты мила», а когда спускалась Мария Федоровна, он пел: «Ты не поверишь, ты не поверишь божеской милости императрицы».

После нашего приезда приехала светлейшая к<нягиня> Ливен, наследник с Мердером, Паткулем и Петей Мердером. Жуковский был болен и отправился в Швейцарию с своим другом

---

[286] Милая моя, у меня есть новгородские пастели, я вам их пошлю. – Милая Наталья Семеновна, уверяю вас, что я делаю это по доброй воле, не беспокойтесь.

безруким Рейтерном. Там я подружилась с семейством графини Эльмпт, она была гофмейстериной Елены Пав<ловны>, но она поехала в Англию с графиней Нессельрод, князем Николаем Сергеевичем Голицыным и фрейлиной Анной Матвеевной Толстой. В Павловске жила старуха Архарова, ее дочь Софья Ив<ановна> Сологуб и с ней ее необыкновенно хорошенькая Надежда Львовна Сологуб и два сына – Лев и Владимир. Старшему было лет 16-ть, а Владимиру 11 или 12. При Ольге Николаевне была девица Дункер, презлая, препротивная и глупая скотина. Она была дамой классной в Смольном. В<еликая> княгиня Веймарская приехала на два или три месяца погостить с мужем и детьми. Императрица проводила день в Большом дворце и затем в 11-м часу с дежурной фрейлиной отправлялась в Николаевский деревянный дом, где жили дети. Она просыпалась в 6 часов, тотчас приходил лакей и говорил: «Ее величество изволили проснуться». В 7 часов он говорил: «Ее величество изволили выйти в уборную». Потом в 7 ½: «Изволят кушать кофий». Тут уж приходилось бежать. Она была необыкновенно пунктуальна. Людовик XIV сказал: «Je suis un grand artiste». Нет, это Нерон, а он сказал: «La ponctualité c'est la politesse des Rois»[287]. И точно, Марию Федоровну никогда не ждали и мы не могли не быть пунктуальны. В гостинной торчал первый доктор Рюль, гофмейстер Ласунский и всегда точный секретарь и два садовника. Она назначала, кого просить к обеду из соседей, а егермейстеру назначала экипажи для всякой прогулки, Рюль давал отчет о больнице и вообще о санитарном состоянии Павловска и деревни Федоровской. Это был рассадник кормилиц для царских и городских детей. Народ был трезвый, здоровый, постоя никогда не было, а все знают, что постой войск портит женщин и нравственно. Государыня очень крепко опиралась на руку фрейлины, так что мы поддерживали свой локоть рукою. В ридикюле всегда было 500 р. асс. По дороге встречали людей на коленях, раздавали 50 р., потом с садовником разговор о деревьях, которые срубить, которые добавить, он мигом бежал и потчевал сливой, где поправить мостик или беседку. Нагулявшись с час, она

[287] Я великий артист... Точность – вежливость королей.

садилась в дрожки, а ее собака Азор сидела впереди и не спускала с нее глаз, но Азор мне милее Гусара.

После прогулки государыня занималась делами со своим секретарем Вилламовым, Новосильцов докладывал о домашних делах, а ровно в три: часа она выходила из уборной в гостинную, мы уж все стояли декольтированные, с короткими рукавами, в шеренгу, иногда она приглашала к обеду свою племянницу принцессу Марию Вюртембергскую, она была очень приятна, но так растолстела, что Велеурский говорил про ее руки: «La nature s'est trompée et lui a donné 4 jambes»[288]. Она жила в царском Большом дворце с своими дамами, мадам Крок и Бальвилье – придворные языки ее звали <нрзб>. Еще жила «тортунья» со своей шотландкой графиней Девиер, ее языки называли графиня Виднер. Обед был in fioqui, за каждыми двумя стульями был официант, напудренный, мундир весь в галунах с орлами и в шелковых чулках. За государыней камер-паж. Камер-пажи жили где-то в городе, обедали и ужинали во дворце за ширмами в проходной комнате. Обед продолжался более часа, возле государыни с правой стороны княгиня <нрзб>, с левой Нелидова, а потом фрейлинство – княжна Репнина, Лунина, Ярцева, Кочетова и я, так, чтоб государыня могла нас видеть. Прочих не приглашали к обеду. Однажды приехал Мирная царевич. Императрица его спросила, пьет ли он сельтерскую воду по ее совету. – «Нет, ваше величество, с нее дует». – «Ах, пожалуйста, затворите окошки, Мириан царевич может простудиться». Иногда обедали в Камероновой галерее, иногда в Лебеде, или в Розовом павильоне. После обеда отдых до 6-ти часов, а после катание. Государыня в открытом ландо с обеими статс-дамами и фрейлиной Кочетовой, мы старались сесть на стороне Велеурского, он нам пел «Блеск лодки, на которой я плыву». В 8 часов мы были все уже готовы к вечернему собранию. Государыня сидела за круглым столом и вышивала по канве, а барон Мейендорф читал ей «Les mémoires de Ste Hélène». Вилламов и Новосильцов подсаживались к круглому столу или к другому, за которым мы сидели и с нами Велеурский. В половине девятого ужинали. Я заметила, что ей Дюбуа принес дупелей и сказала Велеурскому: «Il y en a encore

[288] Природа ошиблась и дала ей четыре ноги.

trois, je veux savoir si c'est meilleur»[289], но я нечаянно толкнула тарелку, и жаркое упало на пол. Всем это показалось смешно, со мной сделался нервный смех, и я все повторяла: «Comme c'est drôle, bécasse par terre»[290]. О ужас! Государыня сказала: «On peut être gaie et rire, mais ce rire aussi immodéré est très inconvenant»[291]. Я боялась, что она спросит, отчего я так смеялась. Окна были до пола, и за окнами всегда были гусарские офицеры и другая молодежь, проживающая в Павловске.

Альбомный вариант

Вдаль до крепости изредка пушки стреляли, и слышался какой-то неизъяснимо грустный гул, который сливался с заунывным звоном колоколов. Le glas de la mort[292] очень хорошо выражает чувство, которое охватывает душу. Тело еще простояло три дня в крепости. Потом отслужили последнюю заупокойную обедню, панихиду и опустили бренные останки труженицы в землю. Печаль и рыданья были неумолчны: плакали и дети, и взрослые, и старики.

Осень была сырая и холодная, и решено было, по совету врачей, оставаться в Зимнем дворце. Я ходила к Кочетовой всякий вечер на чай. Туда приходил великий князь Михаил Пав<лович> и князь Сергей Михайлович Голицын. Он снимал свою ленту, и я раз ее надела, как вдруг этот старик мне сказал: «Si vous vous mariez avec moi, vous aurez le cordon de S<ain>te Catherine». – «Je la veux bien»[293], – отвечала я. Он всегда садился подле меня на диване, и в<еликий> князь говорил: «Голицын, Голицын, un doux penchant m'entraîne»[294]. Все сказанное в шутку сделалось скоро для меня горькой истиной. Дело в том, что все старухи прочили богатого старика за своих внучек. Особенно желала поймать его за свою внучку Ольгу St. Priest, у которой глаза были как плошки, но которая славилась тем,

---

289 На кухне есть еще три, я хочу знать, лучший ли этот *(фр.)*.

290 Как смешно, дичь на полу.

291 Можно быть веселой и смеяться, но такой неумеренный смех неприличен.

292 Похоронный звон.

293 Если вы выйдете за меня замуж, у вас будет Екатерининская лента. – Я согласна.

294 Сладостная склонность меня увлекает.

что картавила и танцевала французские кадрили с вычурными па, шассе, круасезы и подчас и па-де-ригон. Голицын приходил ко мне до собрания, в 7 часов, дал мне читать проповеди митрополита Михаила, предшественника Серафима. Проповеди были коротенькие, простые и практические. Голицын подарил мне в бархатном окладе «L'année spiritiuelle», очень хорошо составленное чтение на всякий день: краткая история святого, изречения из «Imitation» или Фенелона и Боссюэта и постановление на весь день. Марья Савельевна очень апробовала эту свадьбу и говорила: «Иди, матушка! Другой старик лучше голопятых щелкоперых офицеров. Будут деньги, и братишкам будет лучше; а то они, бедные, снуют по Невскому, понаделали должишки; а мы вот месяц должны мужикам и в гостиницу». Эти речи Марьи Савельевны мирили меня с мыслью идти замуж за старика и поселиться в Москве с пятью старухами, его сестрами, и с m-lle Casier. Я переписывалась дважды в неделю с князем Сергеем Михайловичем; но свадьба эта не состоялась, потому что жена ему напомнила, что долг платежом красен: когда в молодости она просила разводной, муж на это не согласился, а теперь она не согласилась. Не понимаю, почему она меня возненавидела и передала свою ненависть сестре своей Ирине Михайловне Воронцовой-Дашковой, запретила своей belle-fille[295] звать меня на ее балы, что лишило меня знакомства с самым приятным домом. Хозяйка была умная и острая шалунья. Окруженная роскошью, не забывала никогда бедных, способна была на самоотвержение. Ее все любили. После смерти графа она вышла за француза графа Poilly, была несчастлива; в Париже жестоко проболела целый год. Ее смущали, чтоб она перешла в римскую церковь, но она осталась верна своей православной и скончалась на руках у священника Васильева в полной памяти, получив утешение в исповеди и причащении святых тайн.

К концу года Петербург проснулся; начали давать маленькие вечера. Первый танцевальный был у Элизы Хитровой. Она приехала из-за границы с дочерью, графиней Тизенгаузен, за которую будто сватался прусский король. Элиза гнусила, была в белом платье, очень декольте; ее пухленькие плечи вылезали

[295] Невестке.

из платья; на указательном пальце она носила Георгиевскую ленту и часы фельдмаршала Кутузова и говорила: «Il a porté cela à Borodino»[296], Пушкин был на этом вечере и стоял в уголке за другими кавалерами. Мы все были в черных платьях. Я сказала Стефани: «Мне ужасно хочется танцевать с Пушкиным». «Хорошо, я его выберу в мазурке», – и точно подошла к нему. Он бросил шляпу и пошел за ней. Танцевать он не умел. Потом я его выбрала и спросила: «Quelle fleur?» – «Celle de votre couleur»[297], – был ответ, от которого все были а восторге. Элиза пошла в гостиную, грациозно легла на кушетку и позвала Пушкина. Всем известны стихи Пушкина:

Ныне Лиза en-gala
У австрийского посла,
Не по-прежнему мила!
Но по-прежнему гола.

К ней ходил Вигель, на которого Пушкин сочинил стихи, когда он осмелился порицать государя Ник<олая> Павловича: «Вигель-Фригель, сын портного». А Соболевский еще лучше отделал:

Ах, Филипп Филиппин Вигель,
Как жалка судьба твоя!
По-немецки ты Швейнигель,
А по-русски ты свинья.

Этот Вигель оставил записки, которые напечатали с пропусками, не знаю, почему; у него желчь без злобы и протест против западного напускного образования. Он наш русский St. Simon. Он был человек умный, способный и принес свою лепту на гражданском поприще, особенно по департаменту духовных дел. Сам же он был ревностный православный и всегда с омерзением рассказывал, что граф Андрей Разумовский отвечал, когда его упрекали, что он поздно приходит к обедне: «Comment! Mais je viens·toujours pour le “со страхом”»[298]. Он был в коротких отношениях с графом. Блудовым; его ум и начитанность делали его приятным собеседником. После

[296] Он носил это под Бородино.
[297] Какой цветок? – Вашего цвета.
[298] Как! Я всегда прихожу к...

смерти императора Николая Павловича он вздумал приносить свои жалобы Блудовым, где его выпроводили со стыдом. Так как я иногда позволяла себе порицать импер<атора> в политических делах весьма некстати, то он: приехал ко мне; но при первых словах я его прервала, сказав ему: «Вы забываете, что государь был мой благодетель», – и он отретировался, поджав хвост. Тогда он устремил свое гадливое расположение к Элизе, но там был сконфужен Пушкиным, который сказал, что проходил мимо портного Фригеля, et ça rime très bien avec Вигель[299]. Тогда-то, живя в отставке, сей Вигель принялся серьезно за свои записки, украсил русскую литературу портретами, хотя в карикатурном виде.

После Нового года балы, вечера и концерты участились. Фирс Голицын меня зазвал в Филармоническую залу, где давали всякую субботу концерты: «Requiem» Моцарта, «Création» Гайдена, симфонии Бетховена, одним словом, сериозную немецкую музыку. Пушкин всегда их посещал. Тогда в «Северных Цветах» печатали стихи Трилунного. Я говорила Пушкину: «Я уверена, что Трилунный здесь». «Конечно, он стоит в углу, фамилия его Струйский». Бедный Струйский сошел с ума и умер в Оверни в сумасшедшем доме в меланхолии. Довольно и одной луны. За ним водились три. Впоследствии эти концерты утратили свой сериозный характер; сериозные давались у Певчих, и в этой зале, музыкальной прародительнице классической музыки в России, играли проезжие артисты и наш доморощенный Карл Мейер. У этого Мейера только были пальцы, но не было души; он брал такие цены за уроки, что его перестали брать; он завидовал Гензельту и старался его топить, когда играл с ним Мошелеса или Калькбреннера. Отомстил же за Гензельта Лист: он играл с Мейером в четыре руки, кивнул знатокам и так играл, что Мейера как бы не было. У Певчих сидели всегда рядом граф Ларион Васильевич, генерал Шуберт, братья Виельгорские, Крылов, Александр Андреевич, Одоевский, Карл Брюллов; во втором ряду сидела моя персона. Когда приехали Миллеры, наслаждение и восторг достигли до nec plus ultra[300]. Старики только переглядывались и приговаривали:

---

[299] Это хорошая рифма к Вигель.
[300] Высших пределов *(лат.)*.

«А помнишь ли, Александр Андреевич, как мы игрывали квартеты Бокерини?» 4-ре брата Миллера только смотрели друг на друга и играли самые трудные квартеты Бетговена и старичка Гайдена, как одним смычком. Раз придворные певчие пели хором «Тебе бога хвалим», который кончается: «аминь, аминь, аминь». Брюллов встал и сказал: «Ажно пот выступил на лбу!» Так тесно связаны все искусства, да и наука, потому что Шуберт был великий математик. Чего доброго, и Аракчеев любил музыку, барабанную и пушечную, наверно.

Лето мы по-прежнему проводили сперва в Петергофе, куда приезжал шведский принц Оскар и принц Карл Прусский. Ездили на три дня в Красное Село на маневры, вечером на зорю. Зрелище было великолепное. Когда солнце садилось, все снимали кивера и пели «Коль славен наш господь в Сионе», и потом все расходились. Наши комнатки в Красном Селе были точно каюты. Обедали на Дудергофской горе: государь имп<ератор>, принц Оскар и принц Карл. Последний вздумал раз огладить руку Урусовой; она вспыхнула от негодования. Государь рассердился и сказал ему: «Вам бы лучше учиться у принца Оскара», а тот отвечал: «Ce n'est rien, ce n'est qu'un Prussien»[301]. Зимой принца Карла сменил меньшой брат имп<ератрицы> принц Альберт. В Аничковском дворце начались еженедельно балы в числе 100 персон. Приглашались министры, для которых, расставляли карточные столы; из дам – самые элегантные. Импер<атрица> стояла и сидела у дверей спальни, а возле нее у окна Альберт со мной, и этот подлец позволял себе неприличные шутки и жесты; она кивала головой, а я сердилась не на шутку. Ужинали в час. Государь не любил, чтобы, поздно танцевали, и после все разъезжались. Польку еще не знали, но вальсировали; все помирали со смеху, когда старый Чернышев пускался, приседая на поворотах, с имп<ератрицей>, которая насильно его выбирала в котильоне. «Vous dansez comme l'Emp<ereur> Alexandre». – «Mais, madame, il n'a jamais dansé»[302]. Киселев и Бутурлин, эти два Ореста и Пилада, никогда не танцевали и сидели в старческой комнате за зеленым столом. Киселев играл спустя рукава; Бутурлин,

[301] Это ничего. Ведь он лишь пруссак.
[302] Вы танцуете, как император Александр. – Но, мадам, он никогда не танцевал.

напротив, играл серьезно и на выигранные деньги одевал свою богатую супругу. Она была богата, всегда accoutrée[303], по-моему, совсем нехороша, а так себе: глаза – гляделочки. Рожденная Комбурлей. Говорили, что отец ее накрал во время войн, бывши подольским губернатором. Он, главное, наживался от безмозглых поляков. Они все были более или менее замараны в интрижках. У Бутурлиных жила старуха Комбурлей и ее дочь. Фундуклей им был двоюродный брат; у него было огромное состояние. Бутурлин купил галерею Алексея Перовского за сто тысяч и несколько бюстов. Он давал балы и преподлый ужин. Тут раз случилась пресмешная штука. Графиня Разумовская приехала очень поздно на бал. Лакеи спросили у ее лакея: «Откуда ты привез свою качучу?» Она раз танцевала во дворце и очень хорошо. Она тоже давала балы и matinées dansantes très choisies[304] и возбуждала неудовольствия в том обществе, где ее пригревали после многолетнего пребывания за границей в Париже, где она проживалась и тешила французское общество.

Но возвратимся к Стефани. Витгенштейн приходил уже как жених, я по·просьбе невесты приезжала по-прежнему. Привычки и шутки с Сергеем и Богданкой продолжались. Лизаветка сидела, когда жених приезжал, и это было довольно скучно. Она объявила, что Сергей будет ее камердинером, и устроили его семейство в Дрисненском имении, подаренном петербургским купечеством после войны 12-го года. Туда послали портрет Стефани en pièd[305] и сундуки с приданым. Опекуны Стефани, князь Любецкий и граф Грабовский, Дмитриев и Кожуханка должны были купить бриллианты, жемчуг и серебряный туалет. Она прежде уже требовала этот последний предмет, но ей прислали аплике; она его исковыряла и бросила. Первого генваря, в день бала с мужиками в числе 40 тысяч, она была в белом платье, обшитом белыми перьями, а на шее был розовый боа; я заметила, что этот боа очутился в шляпе Витгенштейна, и, уходя наверх, она не звала меня. Значит, слово навеки было дано. И как короток был век этого милого существа! Увы, таков удел прекрасного на свете: оно

[303] Безвкусно одета.
[304] Танцевальные утра для самого избранного общества.
[305] Во весь рост.

не уживается в. мире слез и печали. Свадьба была назначена в конце февраля, протестанская, во дворце, в присутствии императорского дома и всех фрейлин, которые были все в белом, и невеста в белом кисейном. Потом накинули на нее великолепный салоп на чернобурой лисице, покрытой белым атласом, и в четвероместной карете, синей, обитой желтой материей, с двумя лакеями на запятках, поехали в католическую церковь, где совершился обряд. В<еликий> к<нязь> Михаил Павлович, как ее посаженный отец, поехал в церковь. Витгенштейн был тогда в опале, и имп<ератрица> Александра Федоровна, как ни старалась уговорить государя присутствовать при протестантской церемонии, не успела. Стефани никогда не говорила, но не могла простить этой обиды, и я приписываю ее полонизм этому поступку.

Они поселились в доме Гурьева на Фонтанке и открыли дом, взяли ложу во французском театре. Повар их Lallemand был лучший в Петербурге и делал des dîners tîns[306]. Дипломатический корпус, падкий на хороший обед, часто посещал их дом, особенно Лагрене, француз, пустой ветрогон, почти всякий день там обедал, из товарищей князь Суворов, я и Любинька Ярцева, иногда пепиньерка Качалова. И она требовала, чтобы эти господа обходились с Качаловой как с действительным членом высшего круга, катала ее в своем ландо на вороных и брала ее в театр. За столом стоял за ней Сергей. Когда ели суп, ей подавали щи с кашей, она пила брусничную воду с водой и льдом; вареники, колдуны, кулебяка, картофель жареный с луком составляли ее обед, а французской кухни она не касалась. M-r Lallemand огорчался, учился русской кухне; но она ему не давалась, и на княгиню готовила какая-то кухарка, которой она сама заказывала любимые блюда. После Святой они дали маленький бал. Стефани уже начала есть воск, который у нее отнимали; люстра была освещена восковыми свечами, и она мне говорила; «Кажется, я бы полезла за этими свечами». Эти свечи свели ее в гроб, заклеив ее внутренность. Весною она получила известие, что ее мать опасно больна у своего отца, старика Моравского, под Вильной; они тотчас собрались, но поехали с условием, что там не будет Безобразова.

[306] Изысканные обеды.

Они нашли княгиню Радзивилл в отчаянном состоянии; при ней была Езерская и Felicie Антушевич, ее побочная дочь. У Моравского она терпела от его любовницы Репелювны, или Рампелювны, которая управляла всем домом. Княгиня просила Стефани дать Сергею миллион ассигнациями и 500 тысяч Фелиси. Фелиси была в 8-м выпуске, но оставалась на наш выпуск. Они очень любили друг друга, но Фелиси была сдержанного характера и ни с кем не сближалась, кроме Стефани. Чья дочь она была, неизвестно; многие говорили, что она дочь Езерской, но никто не знал, кто был ее отец; да никто и не спрашивал. Она хорошо училась, но как-то скромно, и об ее достоинствах не было разговора. Здоровье Стефани требовало лучшего климата. Они поселились во Флоренции, набитой поляками. Князь Огинский был их домашним человеком. Флоренция была веселеньким городом; катаньям, театрам, балам не было конца; танцевали мазурочку Пани или Пати чуть не на перекрестках, а об религии помалкивали. Тут случился в их доме неприятный случай: Полина родила и бросила бедного младенца в отхожее место. Наехала полиция; ее с трудом отстояли, но Стефани что-то невыносимое было в присутствии Полины; она ее отослала и дала ей 10 000 ассигн. Каролина говорила, что ей было душно в спальне, когда Полина была с ней. Она вздохнула после ее отъезда; впрочем, они никогда не ладили. Из Флоренции они поехали в Эмс, там нашли стариков Витгенштейнов. Конец бедняжки в 22 года жизни; она не страдала, а только кашляла и слабела. Раз вечером надела розовое атласное платье, обшитое белыми кружевами, и чепчик с розовыми цветами, закашлялась, просила мужа сделать un lait de poule[307] и, не проглотив ложечки, склонила головку на плечо мужа – умерла.

Et rose, elle a vécu
Ce que vivent les roses:
L’espace d’un matin[308].

В отчаянии отправился бедный вдовец с двумя детьми, Машей и Петром. Малолетки не чувствовали, чего лишились, и ласкали неутешного отца, когда он заливался горькими

[307] Гоголь-моголь.
[308] Роза, она прожила столько, сколько живут розы: одно утро.

слезами. По приезде он тотчас меня навестил, привез мне цветы с ее могилы. Не дремала и Любинька Суворова; ей достались бриллианты с умершей ее подруги, которую она преследовала своей притворной преданностию. Бог с ней, с этой вероломной женой, неблагодарной дочерью и дурной сестрой, несправедливой матерью! Имп<ератрица> Александра Федоровна была совершенно обольщена этой коварной девкой: нам еще в Петергофе <доставалось> за нее, когда она, не сказавши никому ни слова, ездила верхом с Суворовым, будто бы мы нарочно отказывались с ней ездить; странно, что Потоцкий ее раскусил и никогда с ней не говорил.

В это лето приехал Поццо-ди-Борго, наш посол в Париже. Вечером мы ездили на Бабьи Гоны, где государь делал маневры кадетам. Государыня сидела на соломенном стуле, а я на бревнах, которые готовили на постройку какой-то беседки; рядом со мной Поццо. Она его представила мне, как бывшей ее фрейлине, и Поццо сказал: «Y-a-t-il longtemps que mademoiselle vous a quitté»[309]? Государыня рассмеялась, потому что я уж была на сносях. Поццо был высокий, плотный старик, говорил прекрасно по-французски; он ненавидел Наполеона, жил долго в Англии, где нашел еще более ненависти к завоевателю; там детей пугали его именем и говорили: «If you will be naughty, Bony will take you»[310].

После революции 30-го года Поццо был назначен в Лондон. Вся партия Faubourg St. Germain упрекала нашего посла и говорила, что он в день революции зашиб миллион. Лондон был для него род ссылки. Киселев был секретарем посольства. После обеда Поццо, стоя, грелся у камина, вдруг стал опускаться и, наконец, упал; послали за доктором, но удар был нервный, и с этого дня начал завираться. Он умер в Алжире, оставив огромное состояние своему племяннику Карлу Поццо, который женился на девице Crillon, красавице, но совершенной кукле. Они живы и теперь еще дают балы самые модные; не знаю, кому достанется это состояние, потому что они бездетны. После него назначен был граф Петр Петрович Пален, рыцарь, седой,

[309] Давно ли мадемуазель нас покинула?
[310] Если будешь вести себя дурно, Боней возьмет тебя *(англ.)*. Боней – сокр. от·Бонапарт.

как лунь, высокого роста, бледный и вызывающий невольное уважение. При нем был курляндец граф Павел Медем, очень умный студент Геттингенского университета, а первым секретарем был Николай Киселев. Николай, Пален и Шеппинг жили в Париже; последний только и знал, что сплетничал. Говорили, что в Париже очень весело, и балы très raffinés. Попробовала их raffinement[311]. M-me Delmar позвала меня на вечер, в концертной комнате, будто необычно устроенной; хорош же был вечер: трехперсонное собрание, как изъяснялись придворные лакеи: непоседа Кити Габрияк и я. Кити после многих лет встретила меня: «Сашенька», а я отвечала: «Кити, à qui êtes vous mariée? Où est Adèle?» – «Adèle est à Rome à Trinità del Monte, religieuse». – «Sic transit gloria mundi»[312], – подумала я. Стихи Пушкина к прелестной 15-тилетней девочке Адели:

Играй, Адель,
Не знай печали,
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна.
Для наслаждений
Ты рождена.

Адель жила тогда с матерью Давыдовой, рожденной Граммон, в Каменке, тогдашнем rendez-vous польских магнатов и веселий всякого рода. И Пушкин с Кавказа с Раевскими там жил несколько месяцев. Хороши же были лучшие годы цветущей Адели за решеткой в монастыре. Голые стены, messe-basse[313], на завтрак minestra итальянская, т. е. соленая вода с вермишелью, а pour distraction[314] упрямые и капризные дети, которых посвящали в тайны грамматики и римской bigoterie, т. е. русского ханжества. Эта Адель была потом в парижском Sacré-coeur: вздумала сделаться игуменьей и, наконец, к великому скандалу благородного Faubourg St. Germain, бросила le froc aux ordures[315] и теперь неизвестно где живет с двоюродной сестрой Кити Кудашевой. Кудашева ездит с горбатой lady Caroline

---

311 Очень утонченные... утонченность.

312 За кем вы замужем? Где Адель? – Адель в Риме, в Trinità del Monte, монахиня. – Так проходит слава мира *(лат.)*.

313 Обедня без пения.

314 Для развлечения.

315 Монашество (букв.: забросила рясу в крапиву).

Рерyг (??) и архиправославная. Ее леди закупила кучу лампадок и подарила их своей матери: на страх этой барыне их зажигали в Торкее в мою бытность в этом красивом и милом уголке, где я провела столько приятных годов после эмансипации ради экономии.

В Англии все своеобразно. Например, приезжие ждут прежде визита туземцев и отдают на другой день; затем следуют dîner-partys, т. е. зовут la crème de la société[316] знакомиться с ним. Мы приехали с триумфом, с outrider[317], с курьером, и остановились в «Royal Hôtel», рассчитались с нашим дорогим проводником, который наврал, что мы чуть ли не царской фамилии. Мы начали искать квартиру, встретили Шулепникову с детьми и miss Spencer. Они нам указали Enfield рядом с ними; мы оглядели и тотчас решились ее взять. Хозяин и хозяйка были достаточные люди; она была нашей кухаркой и прекрасно готовила, а house-maid[318] была Jane How, которая впоследствии была моя девушка в течение 15 лет. Великая княгиня жила тогда в Торки, позвала меня на чай в Babicombe, прелестное место на берегу моря. Все сидели на камушках: волны умирали у наших ног. Ее дети играли с Ольгой и Надей. Маруся была уже большая девочка, а Eugenie нянька носила на руках. Великая княгиня назвалась ко мне на чай. В субботу – это немалая забота. Truby отправился тотчас в лавки, принес хлеб, масло, сливки, Devonshire-cream. К 8 часам я созвала русских, кроме Друцкой. Кити Шулепникова так была хороша, что в<еликая> к<нягиня> невольно мне сказала: «Comme elle est encore jolie»[319]. Spencer оставалась с детьми. Елена, старшая дочь, обещала быть красавицей, но не сдержала слова и вышла болезненная и толстая, неповоротливая девушка. В<еликой> княгине понравился мой вечер. Она после купанья в море, и тотчас подавали чай с густыми сливками; она спросила: «D’ou avez vous la crème et le beurre? Je ne parviens pas en avoir du bon»[320].

---

316 Званые обеды <...>, сливки общества.
317 Слуга, сидящий верхом на лошади *(англ.).*
318 Горничной *(англ.)*
319 Как она еще хороша.
320 Где вы берете сливки и масло? Мне не удается достать хорошее.

Ее страшно обкрадывали, потому что Куракин, ее тогдашний гофмейстер, находил, что его княжескому званию неприлично входить в дрязги экономии.

В<еликая> к<нягиня> приезжала в мидже Стокса, моего кучера, очень верного и трезвого человека, который никогда не приписывал на счетах. Ему платили аккуратно всякую субботу. Дети в<еликой> к<нягини> жили в Apsley house, у обманщика Маркети. Дороговизна была ужасная: с Сергея и Юрия фунт в день. Когда в<еликая> к<нягиня> переехала в Villa Syracusa, их перевели к m-rs Ward, а граф, она и их дочь с английской няней жили с ними. Она позвала нас обедать; стол был скверно накрыт, никакого украшения, три вазы, где лежали скверные персики, дрянной виноград; обед довольно плохой, и подавалось в одно блюдо, так что на последних попадало все уже холодное. Вечером мы составляли вист или ералаш. Мальчиков засадили за уроки. Приехал из Лондона священник Попов, а гувернером их был Ребиндер.

Судьба этого прекрасного добродетельного человека была замечательна. Оставшись круглым сиротой, он был помещен самим государем в Александровский корпус в Царском Селе, оттуда в 1-й кадетский корпус и, как отличный ученик, поступил в Преображенский полк на Миллионной. Не имея ровно ничего, он искал совета, как жить, не делая долгов, и адресовался к брату моему Александру. Он мне сам говорил: «Я ему обязан и его советам, что сделал карьеру и удостоился быть наставником этих детей, по указанию самого императора». Теперь он женат на Кочубеевой, которая счастлива, но болезненна; он генерал-адъютант, но получил бессрочный отпуск. Со слезами говорил он мне о старшем сыне Николае, который подавал столько надежд. Он поселился с недостойной женщиной в Риме; другие братья его презирают, а я не раз упрекала Сергея за его неосторожные слова и порицания старшего брата. Юрий – тот ничего не говорит, он только занимается в конюшне с лошадьми и английскими мохнатыми собаками. Кучера для него приятнее всяких принцев и королей; он и теперь продолжает ими заниматься.

В ту зиму не было конца вечерам и балам: танцевали у графини: Лаваль, у Сухозанетши, у графини Разумовской и в Аничкове дважды в неделю. На масленой танцевали с утра

декольте и в коротких рукавах, ездили в пошевнях на Елагин, где катались с горы в больших дилижансах, как их называли. Мужики в красных рубахах правили; государь садился охотно в эти сани, и дамы. Потом переходили к другой забаве: садились в пошевни импер<атрица>, рядом с ней или Салтыкова, или Фредерикс и кня<гиня> Трубецкая; за санями привязывались салазки одна за другой, туда усаживался государь, за ним Урусова или Варенька Нелидова. На Каменном острову была лужайка, которую нарочно закидывали снегом; тут делали крутой поворот, и поднимался смех: салазки опрокидывались. Пошевни были запряжены шестериком; кучер Канчин мне говорил, что у него· душа была в пятках на этом повороте, и весь он был в поту. Возвращались домой, где подавали déjeuner à la fourchette[321], попросту обед, а после обеда начинались petits jeux: à la guerre[322], и кошка и мышка; беготня была во все комнаты. Звонок к сбору был в руках имп<ератрицы>. В шесть часов были уже все дома и готовились на какой-нибудь вечер. Я тогда только что вышла замуж и очень веселилась. Софья Михайловна Смирнова поселилась у нас, когда мы переехали на дачу на Каменном острову, и с ней ее воспитанник, Миша Штейдель. Софья Михайловна была горбатая и лечилась у магнетизерки Турчаниновой, у которой перебывал весь город, и рассказывали, что из немного кривого плеча княжны Марьи Труб<ецкой> вылезали волоса и катились слезы. Софья Мих<айловна>, как все горбатые, очень любила наряжаться и щеголяла маленькой ногой на высоких каблуках. Она была общительна. К нам часто ездил секретарь, прусского посольства граф Гаген, и она с ним вела богословские разговоры. Он был фанатик католик, как и его двоюродный брат Вестфалей, а она архиправославная. Геккерен тоже часто ездил. Рядом с нами жила графиня Пушкина-Урусова и давала вечера; муж ее был обжора и давал обеды. Тут явилась в свет Аврора в полном цвете красоты. Особенно у нее был необыкновенный цвет лица и зубы, как жемчуг. Виельгорский сочинил мазурку – «Mazurka

---

321 Легкий завтрак.

322 Игры: в войну.

d'Aurore». Всем известны стихи Баратынского к ней, когда он был в изгнании в Финляндии:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари.
Всех румяным появленьем
Освети и озари.

Сестра ее Emilie была хороша и еще милее Авроры. Она вышла замуж за графа Владимира Пушкина; она была очень умна и непритворно добра, как Аврора; в Петербурге произвели фурор ее белокурые волосы, ее синие глаза и черные брови. В деревне она ухаживала за тифозными больными, сама заразилась и умерла на 26-м году. Валуев и Костя Веригин сходили с ума от горя. Валуев уже был женат на Машеньке Вяземской, которая, ничего не подозревая, зазывала Emilie и дружилась с ней. Валуев уже тогда имел церемониймейстерские приемы, жил игрой, потому что ни жена, ни он не имели состояния. Машенька кормила свою дочь Лизу, очень серьезно смотрела на матримониальную жизнь и не выезжала в свет. Но Софья Николаевна Карамзина, эта милая болтунья, скоро успела переменить это настроение. Сперва она являлась по вечерам у Карамзиных, где встретила на свою беду Наталью Николаевну Пушкину, а у Пушкиной познакомилась с Idalie Полетикой и вообще занималась только нарядами и болтовней. У Карамзиных, с возвращения их из Дерпта, собирался весьма тесный кружок молодых людей; рекрутский набор лежал на Софье Ник<олаевне>, которую мы прозвали «бедная Сонюшка»: она летом и зимой рыскала по городу в изорванных башмаках, вечером рассказывала свои сны, ездила верхом и так серьезно принимала участие в героинях английских романов, что иногда останавливала лошадь и кричала: «Lise, c'est tout à fait comme ce paysage que Camille admirait dans le château» etc. etc.[323]. Софья Николаевна делала тартины с ситным хлебом, Екатерина Андреевна разливала чай, а Валюта его подавал. Убранство комнат было самое незатейливое: мебели по стенкам с неизбежным овальным столом, окна с шторами, но без занавесок.

[323] Лиза, это точно как тот пейзаж, которым Камилла восхищалась в замке, и т. д.

Общество, как я выше сказала, было ограниченное; но дух Карамзина как будто группировал их вокруг своей семьи. Сыновья его подросли и служили в конной артиллерии, близорукий Андрей и Александр. Первый был сердечкин и влюблен в меня с 13-летнего возраста, а Александр возился с своей собакой Афанаськой, которая с ним ездила в Нижний, в Макателемы, имение его матери. Володя еще был с m-r Thibaud, а Лизанька всегда с матерью, ходила ежедневно пешком в обедню, ела постное и не курила, несмотря на искушения, которым Сонюшка ее подвергала. Софья Ник<олаевна> была падчерицей Ек<атерины> Андреевны, но точно так же любима, как и дети второго брака Н. М. Карамзина. У нее было имение – 500 душ в Орловской губернии, село Бортное, которое ей досталось от матери ее, рожденной Протасовой. У Карамзина же не было ничего. Говорят, что Карамзины происходят от татар Кара-Мурза и уроженцы Саратовской губернии.

Но возвратимся к нашей молодежи. Вот их имена: Одоевский, уже женатый, жил на Моховой, и вся группа приезжала почти вместе с ним; братья Веневитиновы – Дмитрий был красивый юноша и уже написал много стихов, но смерть его скосила рано; Кошелев, Андрей Муравьев и Галахов, который возвратился из армии, где служил в уланском полку, он страдал нервами и лечился омеопатией, которой сделался ревностным апостолом и поборником; Андрей Муравьев, которого Пушкин назвалъ Бельведерский Митрофан, когда он разбил вдребезги гипсовую статую ватиканского Аполлона. Этот Муравьев написал трагедию под названием «Тивериада». Муравьев, что ни говорят его критики, замечательная личность. У всех братьев этого семейства выработался железный характер, сильное религиозное чувство. Андрей Ник<олаевич> позже писал о православной церкви, познакомил невежественную публику с сокровищами православия. Гоголь очень уважал его труд и говорил: «Вот человек, который исполнил долг пред Богом, церковью и своим народом».

Набесновавшись вдоволь в мясоед и на масленой, имп<ератрица> ездила на экзамены Екатерининского института: брала работу, вязала шнурок на вилке и слушала со вниманием. Как старая институтка, я присутствовала по зову самой государыни. Сестра моя ничему не училась, а только

занималась шалостями, и часто страдала горлом и была часто в лазарете. Конечно, первый экзамен был у священника Ивана Михайловича Наумова. Он начал с того, что спросил значение масленой недели. Ответ был: это неделя приготовления и прощения; с середы начинаются поклоны и «Господи Владыко». «Так, но вы вступите в свет, где не соблюдаются правила церкви и где эта великая неделя проводится в театрах и на балах; потому прошу вас не забывать мои наставления». Императрица обратилась к начальнице и сказала ей: «Ce sont des pierres dans mon jardin»[324]. Кримпуська перепугалась и спросила, не передать ли экзамен Плетневу. Один Deloche был доволен... «Non, pourquoi? Je suis très contente qu'il parle ainsi à ces pauvres enfants»[325]. Когда экзамены кончились, в воскресенье folle journée[326] справлялось в Аничковом дворце; приглашения были утренние для избранных и вечерние для городских дам, т. е. для толпы. Утром в белой гостиной, где играл Лядов и со скрипками, вечером же был оркестр в длинной зале под режиссером Лабицким. Все надевали старые платья и донашивали до конца сезона. Я надевала пунцовое платье и белые цветы и то и дело, что танцевала с Опочининым, конногвардейским офицером; он был умен, приятен выражением умных глаз и танцевал удивительно. Имп<ератрица> это заметила и мне сказала: «Vous faites une jolie paire avec Opotchinine». – «Oh, madame, comme c'est agréable avec lui de danser под Лабицки»[327].

Она расхохоталась и спросила: «Est-ce qu'il est capitaine?» – «Qui, il se mend d'avoir les aiguillettes»[328]. Catherine Тизенгаузен, которую Булька Столыпин прозвал Чингис-Ханка, подскочила и спросила меня: «Qu'est-ce que l'imp<ératrice>a dit?» – «Je lui ai répondu, que Théodore ne rêve que des aiguillettes». – «Comme s'est bien de votre part!»[329]. Тут я подвела его к государыне, а

---

[324] Это камни в мой огород.
[325] Нет, зачем? Я очень довольна, что он так говорит этим бедным детям.
[326] Последний день масленицы.
[327] «Вы с Опочининым очень красивая пара». – «О, мадам, как приятно танцевать с ним под музыку Лабицкого».
[328] Что он, капитан? – Да, и страшно хочет иметь аксельбанты.
[329] Что сказала императрица? – Я ей отвечала, что Федор только и мечтает, что об аксельбантах. – Как это хорошо с вашей стороны!

она сказала: «C’est vrai qu’il danse à ravir»[330]. С этой поры наш Опочинин получил аксельбанты, потому что в самом деле он их заслужил, был лучший офицер в полку и сделался модным человеком. Он женился на красавице, дочери известного генерала Скобелева. Из простых сделался одним из лучших служак; весь израненный саблями в рукопашных сражениях при Наполеоне, он был в моде; в отставке он был членом Английского клуба, женился на богатой купчихе и жил только для детей. Было мало людей так уважаемых, как он: когда он входил в клуб, все вставали и протягивали ему руки.

Потом все притихло. Свет занялся свадьбой Елены Бибиковой, которая была маленького роста; у нее были черные глаза, а зубы как жемчуг; она дебютировала на folle journée вечером, и ее мать мне ее препоручила. На ее устах явилась первая улыбка пренебрежения и насмешки. Свадьбу объявили с Эспером, князем древнего рода Белосельским-Белозерским, чему свидетельствует фамильный герб – рыбки; этот герб принадлежит и Вадбольским, Вандомским и Шелешпанским. Вадбольский был дурак, непонятно, почему он был замешан в историю 14-го числа. Он служил в Измайловском полку, был статен, смугл и довольно красив и хорошо танцевал.

Княгиня Белосельская презирала бедного Эспера, о котором в<еликий> к<нязь> Михаил Павлович говорил, что у него голова, как вытертая енотовая шуба.

Когда Эспер умер, после многих кокетств эта барыня выбрала в мужья красивого и милого Василия Кочубея, который не раз раскаивался в своем выборе. Она была взыскательна, капризна, поселилась в его доме, который перестроила и отделала очень роскошно; в гостиной повесила портрет Василия во весь рост, окружила цветами и зеленью, ее кокетничали, при Григории Волконском, Суцци и бедном Платонове. Этот наивный господин вздумал ее любить чистой юношеской первой любовью; она его спровадила, упрекнув, что un bâtard[331] не смеет и думать о ней. Платонов перенес свою любовь на меня и в Бадене поверял мне свое прошлое горе; особенно страдал он от неправильного рождения. Он был сын какой-то польской

---

[330] Правда, он танцует восхитительно.
[331] Незаконнорожденный.

графини и князя Зубова. Платонов был умен и очень образован. Бедняжка втюрился порядочно в меня; я же просто любила его, как доброго товарища. Он был страстно влюблен в Малибран, ездил всюду за ней и был в Англии, когда эта гениальная певица, после роли Дездемоны, умерла скоропостижно. Его любящее и нежное сердце, не знавши семейного счастья, обратилось всецело ко мне. Я собиралась к Софье Радзивилл на вечер; он меня просил сыграть ему что-нибудь из «Сомнамбулы»; я села за клавикорды, чувствовала, что его влюбленные взоры были устремлены на мои плечи, почувствовала негодование и протест против этого нечистого взгляда, накинула шарф и села в кресло, начала вязать кошелек. «Pour qui cette bourse?» – «Pour vous, je vous l'ai promise»[332]. И тут, обмолвясь, он мне сказал. Я взглянула грозно и сказала ему: «Qui vous donne la liberté de prendre un encouragement de ma part[333]?» Он ушел со слезами на глазах и стоял неподвижно на своем балконе. Этот роман кончается ничем. Клеопатра Трубецкая как ни старалась склонить меня к благодарной симпатии, все ее уговоры остались тщетны.

По дороге в cara patria[334] мы остановились в Франкфуртена-Майне в Hôtel de Russie, где мой муж купил у Зарха самый лучший маркобруннер и рейнвейн «De la comète», а я взяла девушку Lenchen из unseren Provinzen[335]. Негоциант m-r Jones рекомендовал няньку для Нади, Сару-Анну Martindale; она жила у нас несколько лет и поступила потом к Горяйновым в Воронежской губернии. Была ли она православная, или осталась протестанткой, не знаю; но приехала в Петербург и привезла каждой из нас образок святителя Митрофания. Она рассказывала, что раз окрестные крестьяне бунтовали. Князь Долгорукий, тогда губернатором, приезжал их усмирять; но пришлось прибегнуть к военной силе; стреляли холостым зарядом, и все успокоилось. Сара и теперь у Горяйновых, но уже экономкой. Ей построили домик с садом, устроили все на английский манер, и она мне сказала, что вовсе не желает возвратиться

---

[332] Кому предназначается этот кошелек? – Вам, я вам его обещала.
[333] Как вы смели думать, что я вас обнадеживаю.
[334] Любезное отечество *(ит.)*.
[335] Наших прибалтийских губерний *(нем.).*

в Англию в Шропшир, где у нее нет родных кроме старой тетки. Англичане очень легко устраиваются в России, в самых отдаленных губерниях, где устраивают себе миниатюрную родину; русские же напротив, за границей утрачивают свою оригинальность, особенно в Париже, где совершенно развращаются, начиная с религии, картавят и пускаются в самый наглый космополитизм. В Италии они считают себя обязанными посещать храмы и галлереи и толкуют вкривь и вкось об искусстве.

Весной по обычаю мы поехали в Царское и опять в Большом дворце. В<еликая> к<няжна> Александра Николаевна каталась в своей маленькой коляске еще с мамкой, няней Коссовской, а вез ее камердинер Тутукин. Я жила под колоннадой; против моих комнат жило семейство наставника наследника, Петр Карлович Мердер; рядом со мной жил почтенный старик Александр Родионович Кошелев, слепой, обломок Александровского увлечения в протестантизм. Я часто ходила к этому почтенному, нефашионабельному семейству. Выбор Мердера самим государем удивил петербургскую публику и доказывает проницательность императора. Мердер был очень дурен, весь в рябинках; его взор был строгий, прямой, он был знаток детства. В<еликий> к<нязь> к нему привязался, а сын Мердера сделался товарищем его высочества. Они ездили верхом на серой лошадке Пашке. Павел Петрович Ушаков учил их вольтижировать; но Пете Мердеру нечего было учиться этому искусству: он ездил на рыжей лошаденке, которая брыкала, и Петя всегда летел через ее голову, вставал и опять садился. Дочь Павла Пет<ровича> Ушакова Varette была с Шуваловой первая фрейлина имп<ератрицы> и осталась всегда ее любимой фрейлиной. Когда после первых родов императрицу послали в Эмс, она жила на перепутьи два месяца в своем милом Берлине и очень веселилась. Тогда дан был знаменитый праздник-костюме «Аурензеб, или Магическая Лампа». Государыню носили на паланкине; она была покрыта розами и бриллиантами. Многочисленные ее кузины окружали ее; они считали ее крупные браслеты и броши и были точно субретки в сравнении с ней. В их свите был Жуковский и Василий Перовский, который надеялся затопить свое горе в блеске и шуме двора. Когда он узнал, что Софья Самойлова вышла за Алексея

Бобринского, он не мог скрыть своего огорчения и, в избежание шуток, прострелил себе указательный палец правой руки. Он мне сам сказал: «Гр<афиню> Самойлову выдали замуж мужики, а у меня их нет; вот и все». Он мне рассказывал всю историю, как они садились за столом в Павловске против Софьи Самойловой, делали шарики и откладывали с Жуковским по числу ее взглядов. Она была очень счастлива с Бобринским. Он никогда ничему не учился, зато характер его был самый благородный и души высокой. После свадьбы они поселились в его деревне Михайловском, в Тульской губернии. Тут она ему читала или заставляла его читать исторические книги; одним словом, она его образовала. У них родилось там четверо детей, все мальчиков. Все они учились сперва дома, с английским наставником, потом поступили в Петер<бургский> университет, а отец и мать поселились на Галерной, в собственном доме, который отделали со вкусом и с умеренной роскошью. Этот дом сделался rendez-vous тесного, но самого избранного кружка. Перовский бывал ежедневно, граф Ферзен и некоторые члены дипломатического корпуса; особенно часто бывал неизбежный ветрогон Лагрене, и свадьба Вареньки Дубенской там устроилась. Приезду графини Бобринской императрица очень обрадовалась: на безрыбьи и рак рыба, на безлюдьи Фома – дворянин, и в отсутствие Varette и Софи она сблизилась с княгиней Трубецкой, которая сравниться не могла с этими дамами. Государь же не любил Бобринскую за свадьбу Дубенской; он возненавидел Лагрене после револю<ции> 30 года. У Лаваля был бал, на котором он танцевал до упада. Когда ему заметили неприличное его поведение, он отвечал: «Quand le roi saute, son secrétaire peut bien danser»[336]. Это, конечно, дошло до государя, который наградил его крупным словечком. Совсем иначе вел себя достойный и серьезный Bourgoing. Varignita потащилась в Дармштадт, где супруг ее назначен был chargé d'affaires[337]. Адэн повез свою Varignita. Я нашла их проездом через этот cul-de-sac[338] немецкий. Varignita кормила свою Габриэль и страшно позировала, как жена какой-то будущей

[336] Когда король скачет, секретарю его вполне можно плясать.
[337] Поверенным в делах.
[338] Захолустье (букв.: тупик).

célébrité[339] и мать ангела чистоты. Она, впрочем, перешла уже в римскую веру, читала только, по указанию мужа, полезные книги, лепетала про Faubourg St.-Germain. К этому Faubourg Лагрене принадлежал с помощью иезуитов, у которых воспитывался в Сант-Омере, и с покровительством графа Лафероне. Он вздумал влюбиться в его старшую дочь Полину (mad<emoiselle> Craven), но получил самый положительный отказ.

Когда императрица возвратилась из-за границы, мы опять жили в Царском Селе. Осенняя пора была самая приятная и покойная. Софи Карамзина гостила у меня неделю. Мы много гуляли по пешему хождению; она рассказывала, где именно имп<ератор> в сопровождении Александра Николаевича Голицына встречал ее отца и с ним долго беседовал стоя. Голицын ревновал, но ничего не обнаруживал; его высокая душа невольно протестовала против недостойного чувства зависти. В китайском домике Софи показывала место, где ее мать разливала чай для умиротворителя Европы, и как у нее атласные башмаки просили каши. Екатерина Анд<реевна> ходила в белом канифасовом капоте с длинной пелеринкой. В передней сидел Лука и кроил панталоны из синего сукна. Карамзин проходил мимо за государем, Лука продолжал кроить, и Жуковский говорил; «Карамзин видел что-то длинное и думал, что это столбцы». Пушкин, еще лицеистом, был уже вхож в семейство Карамзиных и графа Толстого, советника придворного департамента. Его жена была Барыкова, друг Воейковой Алекс<андры> Андреевны, и дом их был центром для лицеистов. Я тогда еще не имела никаких сношений с этими домами. Когда имп<ератрица> поехала в Одессу, меня оставили у имп<ератрицы> Марии Фед<оровны> в Павловске. Новосильцеву было поручено наблюдать за моим поведением, потому что гр. Моден наплела бог весть что на меня. На мое поведение Новосильцев сделал самый удовлетворительный рапорт, и я вошла опять в милость государыни; зато Ярцева подпала под немилость и за столом получила реприман. Главная надзирательница прачешного двора, хорошо управлявшая этим домом 25 лет, умерла; она была родная тетка Ярцевой,

[339] Знаменитости.

но та стыдилась скромного положения тетки, скрыла это от нас и не надела траура. Императрица велела ей сшить черное платье, носить его 6 недель и выговаривала за низкое чувство укрывательства своего положения. Мы не любили эту интриганку и радовались ее унижению.

Осенью все обратилось в нетерпеливое ожидание: ждали возвращения имп<ератора> и имп<ератрицы>. Они приехали в последних числах 28-го года; свита запоздала потому, что недоставало лошадей на станциях. В четвероместной карете сидели гр<афиня> Софи Моден, Урусова и доктор Крейтон. Урусова была больна, и ее подруге было достаточно, чтобы взвести самые гнусные клеветы на ее счет. Но это не имело ни малейшего влияния на ее репутацию. Урусова была горда и глупа, но чиста, как хрусталь. Гвардия выступила навстречу государя и неумолкаемо приветствовала его криками: «Ура, ура, победитель нехристей». Имп<ератрица> Мария ожидала любезного сына и героя с лихорадочным нетерпением. Заметили, что у нее лицо покрылось красными пятнами; доктор пустил ей кровь, ночь она провела тревожно, на другой день еще дала последний семейный обед, вечером открылся сильный жар, а 14-е число не стало благодетельной государыни.

Зима была тихая; весной по обычаю двор переехал в Царское, и потом в Петергоф, где не было праздника 1 июля. Мы, шесть свитских фрейлин, жили во флигеле, т. е. в кавалерийских домиках; деревянные и ветхие, эти строения были так холодны и сыры, что стоять на полу было вредно. Я жаловалась. Государыня мне прислала шитый коврик, когда я одевалась. Рядом с моим домиком жили Перовский и Жуковский, а в 3-м номере флигель-адъютант Хазарский, который прославился своим мужеством на корабле «Изумруд» во время Турецкой войны. Раз Жуковский хотел сделать ему визит и спросил у лакея, где живет Хазарский. «Герой? – отвечал тот. – А вот рядом с нами». Этот ответ полюбился Жуковскому. «Русский народ всегда метко означает, что отличает одного человека от другого; например, Пушкин всегда у них поэт, а гусарский полковник всегда просто полковник, что мазурку танцует; я у них учитель наследника». В Петергофе начались, однако, парады, обеды и вечера после катания и чаю. В воскресенье возня была страшная, особенно для дежурной. В восемь часов надо было ехать

в коляске за государыней; она каталась, гуляла пешком или сидела в Монплезире и писала свои записки и письма. Ее переписка была очень большая. Еженедельно было письмо к прусскому королю, сестрам и кузинам всевозможных княжеств. Наследник начал уже серьезно заниматься; к нему взяли в товарищи графчика Иосифа Виельгорского и Паткуля. Это товарищество было нужно, как шпоры для ленивой лошади. Вечером первый подходил тот, у которого были лучшие баллы, обыкновенно бедный Иосиф, который краснел и бледнел; что касается до Паткуля, тот никогда не помышлял о такой чести. Наследник не любил Виельгорского, хотя не чувствовал никакой зависти: его прекрасная душа и нежное сердце были далеки от недостойных чувств. Просто между ними не было симпатии. Виельгорский был слишком серьезен, вечно рылся в книгах, жаждал науки, как будто спеша жить, готовил запас навеки. Придворная жизнь была для него тягостна. Весной этого года он занемог, его послали в Рим на зиму, и там, на руках Елизаветы Григорьевны Чертковой и Гоголя, увял этот прекрасный цветок и скончался тихо, не жалея этого мира. Его мать была уже в Марсели с дочерьми и сыном Михаилом, когда Гоголь привез неутешного отца на пароходе. Графиня не хотела верить, когда наш консул ей сообщил это известие; она его схватила за ворот и закричала: «Вы лжете, это невозможно!» Потом, не говоря ни слова, поехала в Петербург, уселась против портрета сына, покрытая длинным крепым вуалем, не плакала, а сидела, как каменный столб. Александр Николаевич Голицын и Матвей Юрьевич постоянно были при ней. Государя она приняла как нельзя хуже и упрекала его за смерть Иосифа, говоря, что они его не поняли и огорчили его юное сердце. Странно, что брат мой Иосиф очень подружился с покойным Иосифом; тот ему сообщал все свои беды и читал ему выписки из книг, все серьезное. Вместо Жозефа взяли Петю Мердера. При наследнике находился еще офицер Семен Алексеевич Юрьевич, уроженец литовский. Когда Мердер занемог, он не мог вставать ночью, когда мальчику нужно было, то он сказал государю. Это верная собака и к тому же учитель польского языка. Доктором детей был Крейтон, человек хорошей шотландской фамилии, честный и благородный; он оставался доктором царской фамилии до приезда Мандта.

При великих княжнах была Юлия Федоровна Баранова, дочь графини Адлерберг, очень добрая и честная женщина, но очень ограниченная, притом слабого здоровья. У в<еликой> к<няжны> Ольги Николаевны была m-lle Dunker, злое существо с романическими наклонностями; она любила слушать с Мердером пенье соловья по вечерам около дворца в кустах. Система Дункер была совершенно овладеть умом своей воспитанницы и ссорить двух сестер, Марию Ник<олаевну> с меньшой сестрой, что ей вполне удалось, и то детское чувство охлаждения осталось на всю жизнь. Сестры любили друг друга, но не ладили.

Швейцарец Жилль и Жуковский были учителями; впоследствии Плетнев заменил Жуковского, когда науки сделались серьезнее. Русскую историю преподавал профессор Арсеньев, скучнейший из смертных. Имп<ератор> ему сказал: «Русскую преподавать до Петра, а с Петра я сам буду учителем». На этих же лекциях никто не присутствовал. Государь знал все 20-ть томов Голикова наизусть и питал чувство некоторого обожания к Петру. Образ Петра, с которым он никогда не расставался, был с ним под Полтавой, этот образ был в серебряном окладе, всегда в комнате императора до его смерти. Глядя на него, он отдал богу душу, которая и на земле всегда всецело принадлежала своему Творцу. Надобно сказать, что имп<ератрица> никогда не была довольна обстановкой своих детей; она очень справедливо говорила, что Юлия Федоровна Баранова была неудовлетворительна как гувернантка такой острой девочки, как в<еликая> к<няжна> Мария Николаевна; тогда взяли во фрейлины Наташу Бороздину. Наследник приударил за ней. Мария Ник<олаевна> этим забавлялась и сделалась confidente[340] его детских и невинных преследований. К счастью, Наташа была благоразумная девочка и смеялась над его вздохами. Наташа всегда была в большой дружбе с в<еликим> кн<язем> и пользовалась милостями государя. Отец ее был корпусный командир, делал все кампании и отслужив, поселился в орловском имении с старшей дочерью Казаковой. Он приехал в Петербург после выпуска двух старших дочерей, занемог и умер на руках у жандармского генерала Балабина,

---

[340] Поверенной.

который донес государю через графа Бенкендорфа, в каком бедном положении он оставлял своих сирот; его жена, рожденная Жеребцова, кутила где-то за границей, где прижила сына. Тогда взяли двух старших Бороздиных во дворец и дали им вензель. Граф Моден и им завидовал. Тогда Пушкин написал стихи:

Всему завистливый Моден,
На вензель, двум сироткам данный...

Сестрам дали четыре комнаты по комендантскому подъезду. Настенька пела, как соловей, а Ольга ничего не делала и ходила из угла в угол. Настенька вышла замуж за Николая Урусова, милейшего из многочисленных братьев Софьи, а Ольга за старика Мосолова, который очень дурно с нею обходился; их разлучили и приказали ему выдавать ей ежегодно 25 тысяч ассигнациями; она жила одна особняком. Наташа очень сблизилась с семейством Виельгорских: на их даче Павлине она познакомилась с Гавриилом Павловичем Каменским, который с ней и с Опочининой занимался ботаникой. От науки перешли к более приятному занятию. Наташе строил куры адъютант в<еликого> к<нязя> Мих<аила> Павл<овича> Огарев; она его презирала за его низкопоклонство, предпочла ему бедняка Каменского и вышла замуж за него. Во дворце поднялся настоящий бунт. Полина Бартенева сказала: «Il ne me reste plus qu'épouser un tambourmajor»[341]. Наташу это не смущало; весь двор был за нее. От в<еликой> к<няжны> Марии Николаевны она приезжала ко мне и сообщала мне свои смиренные планы. Государь выдал ей двойной оклад невест, т. е. 24 т. вместо 12-ти. Приданое она делала весьма скромное; он назначен был чиновником министерства финансов и послан в Англию. Наташа нашла там покровительство у русского священника Попова, истинного христианина; она родила сына Николая и дочь Александру; после вторых родов простудилась, начала кашлять и слабеть. Они переехали в деревню; поправления не было. Дети ее очень озабочивали; тут были две соседки, пожилые девицы, которые няньчили детей. Смерть уже ожидала своей жертвы, и перед приходом страшного гостя она их

[341] Мне остается только выйти замуж за полкового барабанщика.

поручила этим девицам и завещала мужу только молиться об ней и жениться на одной из сестер, у них будет добрая мать и отец. Ее похоронил Евгений Иванович в Kanzel Green, где лежит его меньшой сын Евгений, куда скоро Попов похоронил жену, Алису, жену сына священника Василия, куда погребли его и дочь его Ольгу Оленину. Брунов со свойственной немецкой натурой не показал ни малейшего чувства к этим горям, и похороны всего лучшего и чистого на свете прошли в сердечном уединении. Но тот, который собирает слезы, как крохи драгоценных бриллиантов, воздаст им сторицей, как он сам это возвестил людям в утешение: «Аще человек оставит жену и детей, воздам ему, как Иову за его лишения и скорби». Иов говорил: «I know, that my redeemer liveth, and the doubt not trouble my heard»[342]. Евгений Ив<анович>, знакомый с английским переводом Ветхого Завета, любил вклеить английский перевод Тиндаля в своих письмах ко мне. Он знал английский язык вполне и любил трагикомический юмор Шекспира. Этот милый, юный сердцем старик летом возил свое семейство во Францию в Кале или другое место на берегу моря и любил смотреть на волны, особенно любил седьмой вал, когда он умирал у его ног. «Вот как моряки верно изучили неумолкающее движение моря, – говорил он. – Канал меня живо переносит в любимую охоту, когда на утлой лодке я плыл на взморье нашего Ботнического залива, где тоже делал рикошеты и считал волны».

Зимой этого года светская жизнь увлекала всех, однако были маленькие вечера causantes[343], т. е. расставлялись зеленые столы, и на них сражались кто во что горазд. Шуваловы наняли дом Михайлы Голицына, и там собирались только тузы. Все влюблялись в эту польскую волшебницу. Фекла Валентинович была сперва замужем за князем Платоном Зубовым; как все старики, он ее обожал, баловал, как дитя. Ей было 16 лет, когда он увидел ее в одном из предместий Вильны, на возу одна, меньшая сестра ее метала, а мать сидела перед домом и работала. Зубов подошел к старушке и предложил деньги, если

---

[342] Я знаю, что мой искуситель жив, и сомнение не смущает мое сердце *(англ.).*
[343] Для бесед.

Фекла согласится быть его любовницей. Он жил с какой-то графиней и прижил с ней несколько детей, которых воспитал и дал каждому миллион ассигнациями. Старушка вскрикнула, что скорее умрет, чем пережить срам своей дочери. Тогда Зубов предложил жениться; выдал другую сестру за Асицкого, одарил все семейство, а свою жену повез в свое великолепное имение в Лифляндии, Руенталь. С этой уже законной женой последний фаворит Екатерины имел сына; но ребенок недолго радовал его и вскоре умер. Князь без завещания и оставил свое огромное состояние и громадное количество бриллиантов жене. Особенно славились три шатона чистейшей воды; один был разрезан, и в него был вставлен портрет Екатерины. Оставшись вдовой в таких молодых летах, с процессом на руках, Фекла нашлась среди затруднительных обстоятельств. Николай Николаевич Новосильцев был в Варшаве статс-секретарем по польским делам; она его вызвала, и он принялся за ее дела, обещал много, а сделал еще более; она ласкала старого и уродливого развратника мыслью, что выйдет за него замуж. Только что процесс был выигран, она поехала в Вену оканчивать свое светское воспитание и встретила там графа Андрея Шувалова. Этот пройдоха при имп. Алекс<андре> Павловиче, чтобы сделать карьеру, просил руки Софьи Нарышкиной, когда она уже была в чахотке. У нее был дом на набережной и 25 тысяч асс. дохода; Александр I был очень скуп. Но эта свадьба не состоялась; а в вознаграждение его послали секретарем к Татищеву в Вену; обе шляхтянки сошлись как нельзя лучше, одна старела, а Фекла была в полном цвете красоты. Она выучилась болтать по-французски и была потом принята аристократическим обществом; танцевала мазурочку пани так, что все старичье приходило в неистовый восторг. Тут она вышла замуж за гр. Шувалова и поехала во Флоренцию, где они прожили там год. Свадьба их была в Лейпциге в греческой церкви; там родился их старший сын Петр, нынешний посол в Англии. Мне рассказывал всю процедуру и записал младенца как законнорожденного. Я не знаю, зачем родители так заботились; известно, что les bâtards font tous des carrières[344]. Жуковский, Орловы, Перовские – все сделали

[344] Все незаконнорожденные делают карьеру.

карьеру или отличились на каком-нибудь поприще. Соболевский между прочим писал комические стихи.

Вот самые известные:

Лев Павлович Зеебах,
Женившись на уроде,
Живет себе на хлебах
У графа Нессельроде.

Или:

Подбородок в саже,
Сажа в подбородке;
Что может быть гаже
Графа Безбородки.

Неелов, beau-frère графа Киселева, подвизался в том же роде, по несчастию, с нескромностью, напр.:

Удивила всю Европу,
разодравши себе...
Указательным перстом.

Он намарал что-то весьма смешное на сенатора Мороза. С искусством не позволено обращаться без уважения. Это надобно оставить фран<цузам>, которые для турецких и египетских пашей, которые за них платили большие цены. Христиане же, развратные старики, завешивали эти картины зеленым. Это напоминает, что в Царском Селе был портрет Елисаветы за зеленой тафтой. Имп. Николай смело показал, сказав: «Admirez la chasteté de mon aïeule»[345].

Фекла, поселившись в Петер<бурге>, и с удивительным тактом сделала себе положение. Она прежде была на коронации уже как графиня Шувалова, но с наследством du cordon de St. Catherine[346]. Когда она представлялась имп<ератрице>, я ее видела. Она была как-то пышно хороша; руки, шея, глаза, волоса – у нее все было классически хорошо. После представления государыня сказала: «Pour deux mois de mariage elle est singulièrement avancée»[347]. У них играли в вист à 250 roubles

[345] Полюбуйтесь целомудрием моей прабабки.
[346] Екатерининская лента.
[347] За два месяца замужества она удивительно развилась.

la partie[348]: граф Нессельроде, Матвей Юрьевич Виельгорский, обер-егермейстер князь Лобанов, злой и глупый человек; из дам она подружилась с Мери Пашковой и графиней Чернышевой. Эти три были неразлучны и в театре, и катались вместе, и танцевали на тех же балах и с теми же кавалерами. Имп<ератрица> смеялась, но Юлия Федоровна Баранова трепетала за дочь; ей казалось, что Мери уже обзавелась любовником. Бедная Мери жила душа в душу с своим Мишелем Пашковым, под строгим надзором кн. Татьяны Васильевны Васильчиковой. Она обмывала своих дочерей и жила очень просто, хохотала детским смехом, ездила по воскресеньям к бабушке в Смольный и забавлялась с мамзель Хандвик, m-elle Узлер и не помышляла об светских удовольствиях. Сестра ее Луиза еще была в Смольном и рассказывала ей свои проказы. Владимир Федорович Адлерберг был большой сердечкин; он был женат на Марье Нелидовой, племяннице Алекс<андра> Львовича Нарышкина. Он приезжал в санях за девицей Яхонтовой, очень хорошенькой кокеткой, становился на запятках, и тут они менялись нежными взглядами и поцелуями под самым носом Марьи Васильевны, отвозили Яхонтову в Смольный и возвращались домой поздно. Начинались сцены, упреки; он сердился, она плакала и принимала валериану. Они жили на заднем дворе в Аничковском дворце. Марья Васильевна занималась детьми, своим любимцем Сашей, который был дурен, но очень умен и учился хорошо; Никса был тоже умен, но ленив; дочери ее, Юленька и другие, были милые девочки, но не хороши. Владимир Федорович влюбился в Ярцеву, а так как фрейлина – зелен виноград для флигель-адъютантов, то он сделался поверенным ее сердечных тайн. Она призналась, что умирает по Александру Суворову, и он устроил эту свадьбу очень легко. Суворов бы прекрасный и честный малый, сделал эту глупость и, что странно, несмотря на ее связь с Витгенштейном, все ее капризы, он всегда любил.

История с Витгенштейном очень интересовала имп<ератрицу>, потому что ей хотелось женить его на красавице Леонилле Ивановне Барятинской. Эти бархатные глаза, соболиные брови

---

[348] По 250 р. партия.

наделали много шума. В нее влюбился Александр Трубецкой и предложил ей руку, но она оскорбилась и вышла за Витгенштейна. Первые годы они были очень счастливы. Стефани оставила мужу все свое состояние: в Царстве Польском знаменитые сады и в Литве местечки Кивлер и Кейданы, тоже местечки в Волынской и Подольской губерниях. Грабовский при мне рассказывал, что в Несвиже были комнаты, обитые красным бархатом, все мебели были массивного серебра, все карнизы, люстры и канделябры. Эти комнаты назывались королевскими. По Литовскому статуту Стефани имела право оставить это состояние мужу или кому хотела. Литовский статут теперь давно уже уничтожен, что положило конец многочисленным процессам. Когда в 1818 году начали приводить в порядок архив польских дел, то нашли 18 т<ысяч> разводных дел; не знали, что делать, и написали папе Киаромонти, прося его остановить этот скандал. Это было хуже, чем в Германии, потому что в Прибалтийском крае запрещены были разводы, только в крайностях они допускались. Мать Стефани была отдана Моравским 16 лет за Станкевича, совершенного подлеца: он ее проиграл в карты Доминику Радзивиллу за 20 т. злотых; потом по желанию имп<ератора> Александра она вышла за Чернышева. Он ей сильно надоел рассказами своих военных похождений; подъезжая к Вильне, она ему сказала: «A ça, Monsieur, assez avec cela, vous avez pris Cassel, prenons Vilna et n’en parlons plus»[349].

В Петер<бурге> она спросила государя: «Est-ce qu’on a le droit de se séparer d’un mari qui vous tue par l’ennui?» – «Très certainement»[350], – отвечал государь. «Eh bien, je me sépare de votre Чернышов». – «Faites comme vous l’entendez»[351], – отвечал спокойно государь. Что было сказано, то было сделано.

Но перейдем к Вит<генштейнам>. Они жили, кажется, в Шарлоттенштрассе. Леониль родила там сына Александра; Маша и Питер были уже взрослые дети. Эта комедиантка Леониль вздумала уверить детей, что она им мать, она

---

[349] Ну, мсье, довольно этого, вы взяли Кассель, возьмем Вильну, и ни слова об этом более.

[350] Возможно ли развестись с мужем, который убивает вас скукою. – Бесспорно.

[351] Хорошо; я развожусь с вашим Чернышевым. – Делайте, как знаете.

ревновала умершую. Давыдов был тоже в Берлине. Его жена была кроткая, прямая женщина; с ними была сестра Давыдова, очень умная, но дурная собой девица и весьма православная. Тут сварганили ее свадьбу с графом Эглофштейном, у которого кроме приятного лица не было ни гроша. Они были очень счастливы, и позже Albert Pourtales уговорил ее перейти в протестантизм. Я проводила зиму 37 года в Париже, и Витгенштейны поселились в F<au>bourg St.-Germain, на quai d'Orsay. Я раз приехала с визитом, и желала видеть детей, заметила, что Маша со временем будет похожа на свою мать. На другой день приехал ее брат Александр и спросил меня, что я говорила. На мой ответ он сказал: «Elle ne vous pardonnera jamais cela». – «Le grand malheur! Je me passerai de son pardon»[352]. Муханов ее не терпел, говорил, что Верон пишет ее портреты – и пешком, en châtelaine avec un faucon sur la main[353], и лежа, и сидя, и в черном с красным, и в белом как весталку, и все по 20 т. франков. Когда, говорил он, все пьют чай, ей подает камердинер апельсин и мелкий сахар на серебряном подносе, последнем остатке Несвижского величия: на этом-де подносе (прошу извинения у Каткова, что у него украла «де», причастие, введенное им в моду) подавали кофе какому-то королю. Тогда пошли в моду исторические воспоминания и реставрации разрушенных фамильных склепов и замков. Вит<генштейны> отправились в развалину Sayn и начали там строиться. Наши Витг<енштейны> были графы Вит<генштейн> Беренбург; но прусский король их сделал князьями. Это понравилось тщеславной Леонилле Ивановне, и она превратилась в совершенную пруссачку. Так как она в Риме приняла римскую веру и в траурном платье, с распущенными волосами и под вуалью несла на плечах огромный крест в чистый четверг. Не знаю, писали ли ее портрет в этой позе; знаю, что папа Григорий 16-й и весь sacré collège[354] плакали от умиления, что русская княгиня оставила схизм и обратилась в омут римской грязи. Вот гистория,

[352] Она вам этого никогда не простит. – Велико горе! Обойдусь без ее прощения.
[353] Владетельницей замка с соколом на руке.
[354] Синклит (Священная коллегия).

так гистория. Это напоминает письмо наших солдат, которое Евгений Ив<анович> мне передал:

Пишет, пишет король прусский
Государыне французской
Мекленбургское письмо.

Или, что еще лучше:

Однажды принц Оранский встретил на мосту
И сказал девке Орлеанской:
«Что ты, девка...
Или в черта веришь?»

Нечего сказать, тонко сказано, мило и игриво, хотя немного казарменно. Вся эта литературная наука далась мне после института.

В Зайне устроили капеллу; но в число святых поставили образа св. Ольги и Владимира, яко предков; потому что Барятинские были удельные князья и хвалились, что они старее Одоевских, что неверно, если Лакьер не ошибся. Графиня Орлова приехала погостить у сестры, в доме уже жил гувернер из французов, красивый, у князя во флигеле жила его любовница немка, так что состояние бедной Стефани тратилось за границей во все четыре стороны. Рядом, как в насмешку, был сумасшедший дом, настоящая пародия замка. Гр<афиня> Орлова-Давыдова заметила гувернера, который срывал пахучую траву citronelle[355], отирал руки и, коленопреклоненный перед своей «мадонной чистоты», подавал измятую в его руках citronelle. Она, поднимая глаза к небу, опускала их на бедного гувернера, который со вздохом поднимался медленно со своей скромной позитурой. Один раз утром графиня Орлова-Давыдова заметила тревогу в доме: готовилось стадо принять своего пастыря. Леониль Ив<ановна> облеклась в черное платье и под вуалью, коленопреклоненная, рядом с гувернером и детьми, стояла на коленях и приняла с должным уважением своего епископа. Она вздохнула, когда сестра ей объявила, что уезжает и уже уложилась и позавтракала. В самом деле, что было оставаться среди овец паршивому козлищу? С той поры сестрицы не съезжались.

[355] Мелисса аптечная.

В антракте сумасшедший утопился в пруде под самым носом княгини. Не подозревала она, что ее муж, с которым она дружески и непритворно сблизилась, сойдет с ума и что ей придется с ним возиться целый год. Тут подоспел ее брат, Виктор, когда Вит<генштейн>, в припадке ярости, врывался к жене. Потом приехал фельдмаршал с женой, уже совершенной low church[356], она мне привезла трактаты, между прочим «The baum of Giliard». Они повезли несчастного Louis в Cannes, где его катали, забавляли как ребенка; он скончался тихо, будто бы уснул. Он был незлобивый грешник и был убежден, что милосердный бог простит ему его вольные и невольные грехи. Так кончилась эта супружеская жизнь, начатая страшной притворной любовью, перешедшая на короткое время в indifférence[357], а потом в дружбу.

Супружеский союз так свят, что, несмотря на взаимные ошибки, прощают друг другу и заключают жизнь мирно и свято. Фельдмаршал еще оставался в Cannes на той же самой вилле, где скончался князь; жена его писала мне в Лондон своим крупным почерком, что у нее разыгралась грузинская желчь и что она спит и видит, как бы вернуться в Courbe-Royal. Они тут поселились на первый год супружеской жизни и хотели пощупать мнение общества. Первый визит был ко мне в Торкей. Барятинский был доволен обедом. Княгиня тотчас была à son aise[358], обходилась с Ольгой и Надей как с сестрами; они позвали нас с детьми к себе. Езды в карете было всего два часа. Courbe-Royal место историческое: туда спасалась от Кромвеля королева Мария Henriette. Оно теперь принадлежит несчастному, которого катают в кресле, и руки его у самого плеча; он человек умный и пишет книги; он поселился в другом месте возле Newton-Аббот с сестрой, старой девицей.

В Англии нет ни одного дома, где бы не было про случай старой девицы; многие из них выходят замуж в 50 лет, так племянница Дюка Northumberland вышла замуж за apothecary (это значит – уездный врач) Mr Tatiny. Герцог не протестовал, и он и Lady Louise Percy послали поздравительные письма

---

[356] Правоверной.
[357] Безразличие.
[358] В своей тарелке.

и подарки – Mr Tatiny вздумал провозглашать себя Percy Tat<iny>, но на это герцог не согласился. Накануне смерти герцога Алджернона у меня <был> Mr Campbell и с сожалением о Lady Louise: несмотря на то, что ее отец жил экономно и застраховал свою жизнь очень дорого, на ее долю выпадало только 300 ф<унтов>. На другой день утром принесли «Плимутскую газету» (our little lamp[359], так ее называли) и крупными буквами стояло: «Death of Algernon Duke of Northumberland at Almewick Castle, after a short illness»[360]. Я скорее отправилась в Dilton за новостями. В Button bay вышла и спросила: «How is lord Baverley?», улыбаясь мальчишка мне отвечал: «His Grace is very well, but you can’t see Lady Louisa»[361]. Doctor Evenson. Старик искренно любил своего двоюродного брата, так что в 81 год надобно было осторожно объявить о горе, сопряженном с переменой положения. Первым делом было духовное завещание. Каждому из детей, которые все съехались, он оставил по миллиону франков, кроме лорда Closena. Старику пришлось выплатить огромные деньги за наследство; этот миленький налог падал на земли по настоянию Гладстона, чтобы подорвать аристократию. Лорды поморщились, но приняли этот закон без всяких прений.

Они поехали в Лондон, и лорд Henry, самый тщеславный член семейства, настаивал, чтобы ехали в Нортумберленд-гауз, но старик ни за что не хотел, и они остались в Partenon-Place. Я тут провел, говорит, 70 лет. Lady Louisa отделала три комнаты и обили старинные новым ситцем с модным рисунком, и Lord Henry втюрился позднее в Норт<умберленд>гауз. Я у них обедала в Partenon-Place, на десерт подавали старинный сервиз porcelain of Waurcester[362]. Гильом стоял за своим барином, лакей подавал блюда.

Из Almewike были присланы фазаны и фрукты. Лучших фазанов я не едала; они питаются можжевеловыми ягодами, что дает особенный ferment их мясу. На похоронах было огромное

---

[359] Наш маленький светильник *(англ.).*

[360] «Смерть герцога Нортумберлендского в замке Олмвик после краткой болезни» *(англ.).*

[361] Как лорд Бэверли? <...> «Его милость хорошо, но вы не можете видеть леди Луизу» *(англ.).*

[362] Ворчестерского фарфора *(англ.).*

стечение народа, из Almewike прибыли депутации простого люда, и тело погребли в Westminster Abbay[363], где был фамильный склеп. Потом повезли старика в Anbock, где он принимал все окружное дворянство, дал обед своим tenants[364]. Лорда Генриха сделали корифеем консервативной партии, Джасмену досталось 8000 ф<унтов> и поместье, не знаю в каком графстве. Он был женат на вдове Grant, у которой была дочь, которую все любили в семействе. Бедный Джасмен, добрейший из смертных, вывозил в свет эту гаденькую и капризную девчонку. Annie Mansfield нас очень рассмешила, сказав: «Denken Sie sich, die Pustosz Räthia aus India wird gemeldet: the Lady Pauline Percy»[365]. И лорд Чарльз очутился лордом. Тут произошел спор и недоумение. Спрашивали себя студенты, si le titre est reversible[366], ответ герольдмейстера, подкрепленный вековыми примерами, – и Карлинька в 75 лет очутился лордом к великому удовольствию Lady Charles. Герцог трактовал меньшого брата как мальчишку; последний завивался и носил в петличке фиолеты примаверы. Он был ужасно скуп, имение его жены было в его руках, и дочери своей Изабелле он выдавал according to his business[367]. На туалет ей давали 50 ф<унтов> и требовали, чтобы она была прилично одета. Изабель этим не смущалась, не любила ни туалета, ни большого света и возилась с более старшими госпожами Lady Hunter, Mme Базанквист и с детьми Mrs Claridges, проводила несколько дней на ее даче.

«But tomorrow is the great bal at Chiswick», – говорила ей мать с удивлением, на что дочь ей отвечала прехладнокровно: «They don’t miss me there»[368]. Она осталась в девках, живет с матерью в деревне, где никого не принимают, кроме родных. Изабель, которая доросла до basket carriage[369], ездит в Леминг-тон к клерджиману[370] и с ним посещает бедных и школы.

---

[363] Вестминстерском аббатстве *(англ.)*

[364] Арендаторам *(англ.)*.

[365]«Подумайте, о Пустоши Рэтиа из Индии будут докладывать: леди Полина Перси» *(нем.)*.

[366] Обратим ли титул.

[367] В соответствии с состоянием его дел *(англ.)*.

[368] «Но завтра большой бал в Чизвике» <...> «Меня там не хватало» *(англ.)*.

[369] Коляска *(англ.)*.

[370] От *англ.* clergiman – священник.

Говорят, что и она и Lady Луиза хотели соединиться брачными узами с клерджиманами, но родные воспротивились таким alliances disproportionnées, но не mesalliance[371], потому что их духовенство, с малыми отступлениями, выходит из Gentry[372]. Я рекомендовала князю Виктору Барятинскому Mr Haussman; он был очень беден, красив, и мы его прозвали «the perpétuel curate»[373]. Он поехал в Париж и Баден и с ужасом рассказывал Mme Mancy (рожд<енной> de Bourbel), что воскресенье не соблюдается, что княгиня вовсе не занимается детьми и только думает о забавах, всякий день на пикниках, что французы ездят верхом в Bois de Boulogne с demi-monde[374], в белых панталонах. Согласитесь, что такой недостаток в декорум непозволителен. Вот что писал этот наивный clergiman.

У Барятинских он недолго оставался, возвратился в Англию на старое место в Йоркшире. Говорили о кокетстве, и он рассказал, что после утренней службы он отводил 7-ми летнюю девочку к ее родным; эта воструха просто с ним кокетничала и не зная, как вызвать его комплименты, спросила его, заглядывая ему в глаза: «Do yon think that God finds me pretty?» – «God thou not pay any attention, but to good behavior»[375].

После скандала, наделанного братом ее, маркизом ge Bourbell, история mrs Mancy очень интересная. Ее мать была англичанка, брала уроки у ее отца, когда он продал свои часы, не любил жить на чужой счет, как делал его король, который жрал с своей свитой в Митаве, в Берлине и, наконец, разорил лорда Hastings в Holyrood Castle, куда его засадили, потому что он всем надоедал. Он там жил до 15-го года, когда мы его посадили на престол его предков. Наши солдатики говорили: «Наши батюшки и матушки, где чуть что, наш царь приходит и приводит все в порядки; вот мы посадили на место старичка дизвитского». Солдатики везде находились в Немечине, как они выражались, они просили хлеба: «Отрижь, мамка, комсу да еще полкомсы». Свечки называли «лихтером», «да принеси

[371] Несоответствующим союзам, но не мезальянсу.
[372] Дворянства *(англ.).*
[373] Вечный курат (помощник священника).
[374] В Булонский лес с дамами полусвета.
[375] Как вы думаете, Бог находит меня хорошенькой? – Бог обращает внимание только на твое хорошее поведение *(англ.).*

еще подлихтер». Хлеб у них был дю пан дю двар. «Дай мне дибла» – так выражался наш Кураев в институте. Это тот злодей, что звонил по коридору беспощадно и вечером зажигал фонари и всегда забывал освещать парадную лестницу, так что мы сходили в 4 и 5 часов тайком, чтобы готовить уроки Плетневу. Солдаты мыли полы швабрами и открывали фрамыги. Никак не могла узнать, почему эти окна называются фрамыгами. Наш язык переполнен татарскими и турецкими выражениями. Так, в Конст<антинополе> я узнала, что в Дамаске, во время резни христиан, английский консул скрывался в амбаре. Слово сундук – турецкое, и на пароходе только и слышно было «сендук». У этих женщин все кошки рыжие и сидят в железных клетках; когда качает, их рвет, они славно ловят мышей, в которых нет недостатка в Кон<стантинополе>. У меня в Терании поймали в одну ночь 8 штук, Тик мешал мне спать; к счастью Фаншурка, которая их боялась, была в родах (ее препоручили человеку Николи, и его прозвали Парамоной, т. е. мамкой моей собачонки). Эта скверновка вовсе не знала материнских забот, бросала своих щенят и прибегала ко мне; щенята вышли прегадкие после ее безнравственного поведения с конст<антинопольской> собакой. Дети нашей хозяйки m-me Petala с восторгом их приняли. Мы проводили время очень приятно, объездили все достопамятные места, были в Порте, в Семибашенном замке, где был заключен наш Булгаков, ездили в лодке в Буюкдере, где была русская дача, ездили в Килию; нас возил наш драгоман Periclis и шел по улице, сопровождая наши chaises à porteur[376] с двумя хамалами, всегда из булгар. Periclis был очень смешон; уверял, что султану недолго царствовать, потому что разбойник Елизферий всегда укрывается в непроходимых лесах Средней Азии, forêts vierges[377]. Ольга и Миша рисовали. Миша встретил черкеса, который служил у Воронцова на Кавказе; к его удивлению, черкес его спросил, что делает княгиня Елизавета Ксавериевна без князя? Этот черкес был одним из переселенцев и был приставлен в Маскию Св. Софии. Боже, что сделали турки с этой церковью пристройками! Внутренность обезображена надписями из Корана,

---

[376] Носилки.
[377] Девственных лесах.

пол устлан соломенными коврами; в храме всегда кто-нибудь бормочет, сидя на коленках, что-нибудь нараспев, и перебирает четки. Женщин я никогда не видала ни в одной мечети. Мы ездили в патриархат; церковь вся украшена деревянной и весьма красивой резьбой. Когда в<еликий> к<нязь> Алексей приехал, греки встретили его криком: живио[378]! Он с послом пил кофе у патриарха, и тотчас затем патриарх отдал ему визит в черном облачении малом; ему также подали кофе в крошечных чашечках; наш священник показал ему посольскую церковь. Во время Бутенева греки толпились в этой маленькой церкви, и патриарх изъявил сожаление, что это сближение утратилось, не знаю почему. Игнатьев и его жена вовсе не интересовались церковью: ризы были бедные, певчих не было, и пели наши матросики с стасионера, «Тамань», скудного пароходика. «Тамань» уцелел из нашего севастопольского флота. Игнатьев выехал раз с женой в Крым. Черное море расколыхалось. Катя Игнатьева расплакалась и умоляла мужа вернуться; напрасно он ее просил не подвергаться насмешкам: ce que femme <veut>, Dieu le veut[379].

Утром рано прибежал Fred St.-John и со смехом объявил нам, что Ignace возвратился, убоялся моря. Плавание по Босфору вовсе не безопасно, надобно спешить домой, как только он покрывается рябинками. Один раз я с книгой сидел под окном; вдруг повеял свежий ветерок, и затем вихрь; Миша и Ольга поехали с одним гребцом в каике на ту сторону, также m-me de Bourges и m-me Рейнеке на базар в Стамбул. В 8-мь часов позвонили на ужин; прошел еще час, никого не видать; наконец, в 9-ть приплыла большая барка, и эти дамы приехали домой; моих же все не было видно. M-me Petala сама начала беспокоиться; наконец, явилась Ольга с Мишей под зонтиком. Только что они причалили к азиатскому берегу, поднялся вихрь, гребцы направили лодку в устье реки и наотрез отказались выйти из убежища; греки, зная море, очень осторожны. «Подождите, – говорили они, – пароход придет через час, и на нем вы безопасно доплывете в Буюкдере». Они оттуда пришли пешком усталые и мокрые; маленький дождик превратился в крупные

---

[378] Да здравствует *(сербск.)*.
[379] Чего хочет женщина, того хочет Бог.

капли. Мы сели за ужин, который был хуже обыкновенного. Миша тоже меня напугал порядком; он поехал на катере английского стасионера на Змеиные острова, где еще видны остатки какого-то храма, вероятно, Нептуна или Эола; с ним англичанин, женатый на Балтачи. Они вернулись очень поздно, при сильном ветре. Босфор запружен телами несчастных, погибших в море: всякий год 10 и более человек делаются жертвами волн. Пароходная езда также не безопасна: секретарь нашего посольства два раза подвергался большой опасности; пароход «Колхида» столкнулся с английским пароходом у памятника Геро и Леандра. Замечено, что несчастия обыкновенно там случаются. Миша ходил в Килию с Кумани и принес с собой белые лилии; оба ботаника не могли их классифицировать; говорят, что они выросли на месте, где христианин был замучен, и кровь чистой души оставила по себе эти цветы как памятник. Турецкое население ничего не делает, и вся торговля и промышленность в руках у греков. Последние все тешат себя мыслью, что в скором будущем Византия будет им отдана. Теперь англичане там хозяйничают, а французы наполняют их карикатурные министерства: У них есть la Banque Ottomane, которой директором маркиз Plock, очень умный человек, а вице-директор Tom Bruce, брат лорда Elgin. Этот банк завел Furnel, и они получают 10-ть процентов. Теперь Plock директором Французского банка. Он ознаменовался во время Коммуны, где, подвергаясь опасности, спас банк. Галиоти приезжал из Женевы, спас бумаги, Castelnau завернул их в plaid, когда уже коммунисты окружали банк. Какое страшное время Франция и все переживали в эту несчастную годину! Тош Bruce очень приятный господин, толстяк и весельчак; он зашибает 25 фр., а Plock все 100 000 фр. Madame la marquise утешается, потому что ее супруг живет с какой-то цыганкой, женой капитана французского стасионера. Вообще в Конст<антинополе> не женируются. Маркиз Moustier при жене плакал, обнимая свою любовницу, принцессу Салонскую. Lady Bulver пьянствовала на стасионере и лежала на плечах у мичманов, а ее муж после Moustier унаследовал Салонскую барыню. Бульвер содержал теперешнюю m-me Caporal. Я познакомилась с Капоралем; он был с острова Крита и фабрикант мыла. Это греческое мыло без запаха расходится по всему миру и есть основание

всех душистых мыл. К нам оно приходит в своей чистоте, в четвероугольных кирпичах со штемпелем; в детстве меня мыли этим мылом; кажется, оно готовится из грецких орехов. Нет сомнения, что древние греки его употребляли. Оно приходит к нам с халвой и рахат-лукум, в милых коробках из особого дерева. В Одессе есть еще в море мыло глинистое, и я помню, что по приказу доктора Карузы меня и маменьку мазали этим светло-зеленым мылом и потом обмывали в море. О, море, изумрудное одесское море, как ты хорошо, когда твои рябинки золотятся под палящим солнцем и ночью серебрятся под луною, и черные дельфины выскакивают! Когда под старость я приехала в Одессу на пароходе «Тамань», эти знакомые фантастические дельфины медленно поднимались, потому что негостеприимное море было тихо, как озеро, и под облачным небом облеклось в серый саван. Капитан нашего корабля, капитан Томилович, остаток храброго Севастопольского флота, мне сказал, что ни разу не имел такого благополучного плавания. Мы отвозили наших русских паломников из Иерусалима. Тут был несчастный еврей, совершенно сумасшедший, он все хотел раздеваться догола, и принуждены были запереть его au fond de cale[380], где он метался и выл. В Одессе его отвезли в еврейский госпиталь. В Кон<стантинополе> мы обедали у m-me Petala в общей комнате. Куда приходили австрийцы; их драгоман замечательно ученый и сведущий человек Капораль, который приносил вести из Перы и Галаты, эти вести известны под названием les canards de Galata[381]. В четыре часа мы пили чай в общем столе, всегда пустом. St.-John, Mallet, Кумани, Жадовский были охотники все на наш чай со сливками и самым лучшим маслом. В посольстве их кормили с горьким маслом, а сама посланница несла молочник и всегда говорила, что этот чай разорителен; в корзинке я видела засохший croissant[382]. Все три княжны, посол и его жена рассказывали про бал, я не могла забыть, что турки выпили 1000 чашек кофею без сливок к утешению этих скупердяек, еще бы, чашки ведь с наперсток. Обед у них был изрядный, я у них познакомилась с черногорским

[380] В глубине трюма.
[381] Галатские утки.
[382] Рогалик.

сенатором Пламенцовым и его секретарем Боржичем. Оба плечистые, здоровенные парни. Хитров с ними говорил пославонски, потому что их язык более разнится с русским, чем болгарский. Бедные булгары говорят почти как мы; они служат хамасами, продают кукурузу и розовые и голубые леденцы, которыми отравляла себя Melanie de Plock; не признавалась матери, что производило ее рвоту, и вечером говорила: «Non, jamais je mangerai plus des bonbons roses et surtout des bleus»[383]. Эта девица на детских балах набивала в узел носового платка леденцы. Когда Fred St. John ее спросил: «Comment faitesvous pour manger ces petites merveilles?». – «En reniflant et avec la main, comme ça, avec le revers»[384]. Она занималась моей моськой и раз вскрикнула: «Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vois, Fanny a perdu une dent, il faut la mettre chez le dentiste»[385]. Маркиза после долгих стараний приобрела l'attention de ce cher Timoni, un dragoman de l'ambassade de Russie[386].

Семейство Балтачи было очень многочисленное; оно оставалось верно древним греческим именам: там были Mr. Miltiad, Epaminondas, Pericles, Aristarcus и один только Theodoros, самый умный и честный грек, которого нечего было бояться и повторять известную поговорку: Timeo Danaos et dona ferentes[387]. Я уже немного мараковала по-гречески. Во время болезни в Павловске, я встретила у А. С. Норова Дмитрия Христофоровича Гумалика, который с ним читал греческих классиков. Утром я заходила на дачу Петрова, где жили Норовы. Абр<ам> Сер<геевич> сидел у окна с книгой и переводил что-то. Комнаты были метены до половины, стулья лежали на полу: я это сообщила хозяину. «А это, – говорил он заикаясь, – оттого, что Эпикур играет в бабки с форейтором». Лакеи ведь все эпикурейцы! За столом происходили часто смешные сцены. Норов просил прощенья у слуги и клал ему бумажку в 5 или 10 р<ублей>. «А вот вы не извольте в другой раз драться!» Вечером мы играли в ералаш; мелкие карты он называл

---

[383] Нет, я никогда больше не буду есть розовые конфеты, а особенно голубые.

[384] Как это вы делаете, чтобы есть эти маленькие чудеса? – Вдыхаю их в себя и рукой, вот так, тыльной стороной.

[385] Ах, боже, что я вижу, Фанни потеряла зуб, нужно повести ее к дантисту.

[386] Внимание этого милого Тимони, переводчика русского посольства.

[387] Боюсь данайцев, даже дары приносящих *(лат.)*.

мингрельцами, Варвара Егоровна немцев называла Дрентельманами. Платки Аб<рама> Сер<геевича> летели во все углы, он беспрестанно нюхал для глаз, и Варвара их подбирала. Он был очень distrait[388], часто спрашивал калошу для своей деревяшки. «Да она осталась под Бородиным», – отвечала ему жена. Он ухаживал за m-me Никитенко и раз влез в ее вагон, заболтался и уехал с ней в Царское. Кучер долго ждал, наконец, приехал и говорит, что он вероятно уехал в Царское: «Такой уж странный этот барин, бог с ним!» Абр<ам> Сер<геевич> завидовал мне, что я чище его выговариваю по-гречески и читаю наизусть «Отче наш» и «Верую». Так мы делили время между делом и бездельем. Говоря о православии, я ему сказала: «Я люблю нашу церковь за ее истину». Он вошел в восторг. «Нет, милая, дайте поцеловать себя за это слово», – и обнял меня. «Абрамуш! Абрамуш!» – заметила Варвара Егоровна. Норов был гораздо образованнее прочих министров. «Да, – говорил он на балах, подсаживаясь к этому кривотолку графу Панину, – тут мы забираемся в греческую и латинскую древность, и Панин является правотолком». Он очень учен и жалел, что у нас так неглижируют классическими писателями. До женитьбы Норов ездил в Сицилию и выдал очень дельную книгу о греческих развалинах в Таормине, был в Иерусалиме, поднимался вверх по Нилу до не знаю какой катаракты, и человек, который много его вещей растерял по дороге, отвечал ему: «Это осталось у берберов на повороте». В Египте его самолюбие кольнуло его: англичане и французы платили дорогие цены за остатки египетских древностей. De Leyard купил их зодиак, который раскололся при спуске, и этот зодиак теперь в Лувре. Шамполион, а потом Бунзен и sir Gardner Wilkinson первые начали заниматься египетскими сокровищами зодчества и живописи. Sir Gardner мне говорил, что вся наука пришла на Запад из Египта, что Геродот – лучший описатель этой курьезной страны. Их живопись вся историческая. Евреи были все белокурые, красивые, как наш Спаситель, среднего роста, с голубыми глазами. Они представлены делающими плиту, некоторые магнетизерами. Теперь читают их надписи по ключу Шамполиона. Абр<аму> Сер<геевичу> удалось купить статую Изиды,

[388] Рассеян.

за которую он заплатил 6000 ф. и вздумал перевезти ее в Одессу, по дороге он посетил в Средней Азии семь церквей апокалиптических, убедился в истине пророчеств Иоанна Богослова: там-де мерзость запустения, пророчески предсказанная Даниилом. В Кандии он переругал пашу турецкого, который не оказывал <должного> обращения его деревяшке, трактовал русского генерала как джаура[389]; он тут встретил Кинглека, который возвращался в Европу. Последний публиковал свое путешествие под названием Eothen, т. е. заря по-гречески. Норов лишился ноги в 17-ть лет под Бородиным; как все безногие, он очень потолстел. Юношей он <был> очень красив, волочился за всеми хорошенькими en tout bien et tout honneur[390], его артистическая натура ценила все прекрасное как божие творение. Насчет клубнички он пользовался только раз, когда был в связи с вдовой адмирала Сенявина; она жила в Калужской губернии в уединении, не имея детей. Он поехал в город, увидел свою Вареньку и женился; она ничего не имела; у матери ее Меропы Ивановны было много дочерей и мало состояния. В Египте Норова подстегнуло русское самолюбие, и он купил за 6000 фр. Изиду, уложил ее на пароход и послал в Одессу. По Нилу встретил он какую-то женщину, которая целовала Изиду и оплакивала ее отъезд; должно быть, это была какая-нибудь Кондакия, царица Савская, времен царя Соломона. Из Одессы Изиду взвалили на сани и шестериком везли в Питер. Жених позабыл ее существование. Он жил тогда во втором <этаже> у Пантелеймона; человек его вбегает и говорит барину: «Наша Изида приехала на шестерике. Вот и письмо». – «Вот-те на!» Путешествие ее стоило 6000 фр., итого уже 12; а где их взять? Набивши нос табаком, что он всегда делал в затруднительных обстоятельствах, Абр<ам> Сер<геевич> отправился скоренько к кн. Волконскому. Тот ему сказал: «Да кто вас просил купить эту Изиду? Куда мы ее поставим? Пожалуй, под лестницу в Академию Художеств». Так и сделали, и бедная Изида и доселе покрывается пылью под лестницей Академии Художеств, основанной Шуваловым при Елисавете. Абр<ам> Сер<геевич>, желая познакомить нашу невежественную публику с сокровищами

---

389 Гяур, неверный.
390 Честно и благородно.

египетского художества, написал статейку в «Северной Пчеле», которая под покровительством правительства служила светилом политическим, нравственным, художественным. Андрей Муравьев на следующий год привез двух великолепных сфинксов, которые украшают наружную лестницу Академии Художеств. Абр<ам> Сер<геевич> Норов при имп. Николае был министром просвещения и очень скорбел, что классики были в совершенном загоне в гимназиях, и особенно старался ввести изучение греческого языка; у него было 15 000 редких книг и манускриптов, даже еврейских, чудные издания Эльзевиров и Дидота.

Его жена составила каталог с помощью <Дмитрия> Христофоровича Гумалика и говорила, что еврейские буквы все шкапчики и точки. Гумалик получил образование в Халкидонской семинарии и готовился <для> духовного положения. Из Кон<стантинополя> он приехал в Одессу, где его пригрел Александр Скарлатич Стурдза. Евгений Гагарин уже был принят как жених. M-me Стурдза, дочь знаменитого Гуфланда, приносила в банке варенье и раздавала очень умеренно эти сладости, которыми заедали весьма скудную трапезу. Не знаю, не по закону ли это макробиотики. Александр Скарлатич ребенком переехал в Одессу после резни 21-го года; он сделался известен имп<ератору> Александру после войны 12-го года, когда написал критическую статью на западное образование. Замечательно, что Брунов ее перевел на немецкий язык в Лейпциге.

Брунов воспитывался в Лейпциге с братом своим горбуном; они были русские подданные, курляндцы. Брат его издавал газету в Дрездене еще в 1854 году. Карьера старшего самая странная; он выставлял себя, где только мог быть замечен, занялся под руководством Балтазара Балтазаровича Кампенгаузена истою протестантской пропагандой и протестантским благотворением, т. е. русским свиньям ничего не давать, а только милым немцам сапожникам и прочим высоким ремесленникам, дошедшим до искусства обманывать. Русские пили сбитень с черным хлебом, а немцы чай mit Bulken und сухарем и говорили: пожалует, das kann ich auch machen[391] и лакали очень

[391] Это я тоже могу сделать *(нем.).*

дурно и втридорога. Русские говорили: фронтон заподлицо, а немцы ein Frontone mit грациозное Fügung[392], ведь это мило, право мило. Но теперь мы очнулись, узнали, что поляки, богемцы, сербы, булгары, черногорцы тоже наши братья славяне, и принялись жать немцев. Они втихомолку наживаются, но не смеют пикнуть. Ведь вся Пруссия была славянская, а Мекленбургия и теперь осталась оботритской. Лейпциг просто Липецк, только нет целебных вод, а Дрезден – Дражданы. Я дразнила своего англичанина в Риме и уверяла его, что вся Северная Германия будет под железным игом Всероссийского государства. «Und unsere schöne Civilisation, – вскрикивал этот закоснелый немец, – und die schöne poesie von Hans Sachs, scheinte makellos und poet, und der gewisse Heine, der so schön über die Thränen Urzeit gut bescheint

Die Damen waren ästetisch,
Die Herren mit zartem Gefühl[393]

Совершенно анакреонтическое, ваш плевый Пушкин ничего подобного не писал». Как же не так, а зато ваш башмачник Hans Sachs не может сравниться с нашим великим Тредьяковским, этот был прямо с кондачка и писал: «О лето, о лето, Тем ты не любовно, что вовсе не грибовно». Смейтесь над грибами, вся Россия объедается грибами в разных видах, и жареных, и вареных, и сушеных. Мужики ими наживаются, и в необразованной Москве рынки завалены сушеными трюфелями. Я смерть люблю грибы, жареные на сковороде.

Немцы все – картофельники поганые – это мне сказал литвин, – и образованные наслаждаются вафлями. Что такое вафля – просто дрянь. Мятлев говорил, что на свадьбе Лизеты подавали вафли, когда он писал идиллию:

Кантор женится с Лизетом,
Колонисты поднялись,
Кто со скрипкой, кто с кларнетом,
И все вместе поплелись.

---

[392] Фронтон с грациозным соединением *(нем.).*

[393] А наша прекрасная цивилизация, – и прекрасная поэзия Ганса Сакса, кажется, безупречная, и поэт, и известный Гейне, который так хорошо осветил слезы прошлого: Полны эстетизма мужчины, / У дам возвышенный взгляд (пер. *В. Левика).*

«Куда, милые?», – спросил с экипажа-телеги турок. «В Красный кабачок, кте <здесь и далее слова перевираются, имитируя немецкий акцент> государь сам опробовал немецкий фафель, они лучше, чем в Померании у почтенной старушки на станции, и она пожелала портрет Фридрих Великой, когда он в лодке переехал Стикс. Оне крадсненский гусар с крафом Ланжерон; он пальшой парин из французского корота Тулузы, там имеет свой Rentier farm[394] и фее ей толжны теньки». Брунов говорил точно так же, как эти колонисты, которых поселили у Средней Руки для высушки болот и садки деревьев, это сделала Екатерина и дала им разные льготы. Вот эти свиньи, говорят мужики, не знают некрутчины. Орлову понадобился хороший редактор, и Воронцов ему уступил Брунова, который ему писал в Адрианополе; всем известен этот знаменитый трактат как авторитет, на который мы ссылались перед поганой Крымской войной. По этому трактату нам дали право входить в Босфор и отрезали часть. Бессарабии до Прута, а в средней Азии дали Батум, прекрасный порт. Я помню, как возили турецкое золото на Монетный двор; но государь простил им несколько миллионов, потому что издержки войск были уплачены. Благодарить приехал Халиль-паша; его приняли в Тронной зале. Имп<ератор> стоял перед троном, и Халиль коленопреклоненно вручил ему письмо Махмуда. Махмуд был последний замечательный султан; по несчастию, он упивался араки; его лечил английский доктор Милинген и припадки delirium tremens[395] лечил сильными приемами опиума; его катали в парадном каике нарумяненного, потому что боялись возмущения в Кон<стантинополе> в случае его смерти; он останавливался у подъезда Бутенева, которого любил и очень уважал. Перед отъездом Халиля государь долго с ним говорил о положении Турции и сказал ему: «Передайте от меня следующее предложение, чтобы мирным образом покончить с этим вечно угрожающим потрясением Восточного вопроса. Один Махмуд может его разрешить; скажите ему, что, как друг, я советую ему принять веру большинства своих подданных». Халиль, тронутый, отвечал, что надобно будет выбрать минуту расположения

[394] Доходную ферму *(нем.).*
[395] Белой горячки *(лат.).*

к разговору. Восемь месяцев он искал удобного случая. Махмуд вскрикнул: «Государь Николай Пав<лович> единственный честный человек в Европе». И начал заниматься церковью православною, но вскоре умер. Абдул Азиз уже пил и совершенно одурел, подпавши совершенно в руки англичан; с его короткого правления пошла la grande dégrengolade de l'empire Ottomane[396], а последний удар нанесла ему та же Англия своим вмешательством во внутренние дела этого несчастного государства. «Les hommes s'agitent, et Dieu les mène»[397], – сказал Фенелон. Брунов приехал в Петер<бург>, где был назначен готовить в<еликого> к<нязя> Константина Николаевича к его поездке на Восток; он учился по-турецки. Щедро одаренный, он впился жадно в разные книги, читал историю Гаммера «L'empire Ottomane». Встретив его раз на вечере, я ему сказала: «Nous devons prendre C<onstantino>ple». – «Comme de raison, il sera à nous»[398]. Его сопровождал Литке и Гримм. В Севастополе, рассказывал Гримм, мы нашли флот в цветущем состоянии. Лазарев был ученик англичан, офицеры имели каждый в своей каюте библиотечку и карты; они читали, ходили по городу, кутили умеренно и пили умеренно. Одним словом, они были порядочные люди: из них вышли наши герои Корниловы, Нахимовы. Во время Синопского сражения он делал чудеса на своем «Владимире». Когда соединенный флот окружил берега Крыма, он выходил безбоязненно в море и говорил, что можно было остановить высадку их войск и отстоять. Благоразумная наша звезда решила иначе. Трое братьев Бутаковых ознаменовали себя различными подвигами. Спокойные, хладнокровные, эти три рыжичка, как прозвали их солдатики, были замечательные люди. Я встретила Григория и Алексея у фельдмаршала Барятинского и наслаждалась их разговорами. Фельдмаршал знал азиатскую карту и политику. Они с Алексеем Ивановичем говорили, что мы должны следовать указаниям Великого Петра и взять весь этот край до Персии и Афгана. Петр послал Бека и 300 человек войска, чтобы проложить дорогу, но все погибли в песках и были вероломно перерезаны этими же персиянами.

---

[396] Великое распадение Оттоманской империи.
[397] Люди тревожатся, а Бог их ведет.
[398] Мы должны взять Константинополь. – Он, разумеется, будет наш.

Алексей Иванович закупил машины в Ливерпуле и с женой отправился к Аральскому морю; оттуда он мне писал комические письма и описывал, что делает героиня пустыни, его жена, как она варит, готовит обед, каких зверей и рыб она ест, а каких дает только индигенам[399]. Какие звери нас едят, которых мы едим. Он нарисовал мне карту этих морей и пустынь. Он нашел там Шевченко, бедного изгнанника за какие-то либеральные стихи, писавшего прелестно à la sepia[400]. Он написал портрет какого-то дикого. Григорий Бутаков ездил в Англию, чтобы следить за прогрессами английского морского искусства, он говорит, что французский флот просто дрянь в сравнении с английским. Алексей вернулся с Аральского моря; в Пет<ербурге> никто не обращал на героя никакого внимания; он умер забытым, но потомство воздаст ему должное. Третий брат был защитником критских греков, которых безбоязненно перевозил в Грецию peu à peu[401]. А теперь он крейсирует на Босфоре, Дарданеллах и в Средиземном море.

В бытность мою в Кон<стантинополе> приезжал в<еликий> к<нязь> Алексей Александрович; ему назначалось плавание в Великом океане. Цветущий и красивый юноша. С ним была свита: ботаник, инженер, доктор Сдекауер, которому он обязан своим здоровьем. Я видела маленького Алексея у Анны Тютчевой. Бледный, желтенький пятилетний ребенок, он рисовал в Дармштадте корабли и русских орлов и играл с сестрой Марьей Александровной, тоже слабенькой девочкой. Она страдала глистами; ее вылечил Обломиевский омеопатией; Анна с помощью английской няни Кити вытаскивала клубки зловредного червяка солитера, который всю пищу отравлял. Когда девочка оправилась, получила месячное очищение в 11 лет; государь, который обожал это милое дитя, хотел всегда, во все погоды с ней кататься, чего Анна не могла допускать, когда она была нездорова. С этой поры поселилось в душу государя неудовольствие на Анну, которое повело ей к свадьбе с Иваном Аксаковым, этим заподозренным врагом общественного порядка, славянофилом.

---

[399] От *фр.* indigène – туземец.

[400] Сепией.

[401] Понемногу.

Соболевский при сей верной оказии ради красного словца написал четверостишие: Иван и Анна венчаются у Спаса на Бору, древнейшей церкви в Москве. Тургенев Александр, которого спрашивали, что нового по Москве: Спаса на Бору взяли ко двору. И точно, некогда окруженный густым бором бедный Спас окружен теперь фрейлинскими покоями.

Соболевский сочинил тогда стихи на всю Славянщину:

Ненавистны мне синие чулочки
Хоть на министерской дочке
Кошелев, сидя на бочке пенного вина
и проч.

На барона Александра Мейендорфа он написал тоже:

Везомый парой, а не паром,
Москву изъездил Мейендорф.
Он ей сказал, что есть дрова и торф.
Поверила Москва-столица,
Церквей, что сорок сороков,
А эти сорок сороков
Лишь только нуль и единица
К числу бессчетных дураков.

А теперь надобно вернуться к давно прошедшим дням молодости. В Зимнем дворце все притихло без моей Стефани; Юленька вышла замуж за Зиновьева, Чихачова за Кавелина. Летом приезжал из Персии Хозрев-Мирза и навез кучу шалей; при Хозреве была большая свита; он был маленького роста и красивый мужчинка. Находили сходство между ним и в<еликой> к<няжной> Марьей Николаевной, и на костюмированном бале она была одета по-персидски; шапка из смушек очень к ней пристала. Говорят, что бедному выкололи глаза; говорят, что и Фазиль-хану доставят то же удовольствие; но в поездку свою в образованные государства не разделяют мнения мудрых персиян, и Фазиль глядит в оба, как бы задушить шаха и сесть на его место. Султан презирает шаха, а последний султана, потому что они разного толка. Французский министр Гобино написал очень интересную книгу о Персии. Персияне проводят целые дни в религиозных и философских прениях и знакомы со всеми философами и мудрецами Запада. Русские,

верные своему призванию вводить гадости, подарили им Вольтера. Но оставим этих свиней.

Зимой были по обыкновению пошлые, большие и маленькие балы; летом в Петергофе и на Елагине, и Царском – осенью. Импер<атрица> была беременна. В первых числах сентября мы поехали на 8-весельном катере на Елагин; она хотела собрать последние цветы. Она была в светло-зеленом платье, в белой шляпе, qui encadrait son gracieux visage un peu fatigué[402]. Я все время <думала>: ну, как она вздумает рожать, что я буду делать! Государь приехал в коляске, и мы вернулись вечером на том же катере. Ничего не было; она мне сказала: «Vous vous ennuyez; voilà mes albums»[403], – и принесла большую книгу. Государь ей сказал громко: «Quelle imprudence!»[404].

9-го числа я еще жила в Аничкове, меня разбудила девушка со словами: «Скорее, скорее, я приготовила уже голубой хвост с серебром. Императрица благополучно родила сына, и все едут в Зимний на молебен и крестины». От радости я вскочила, умылась наскоро, выпила чашку чаю. Пушки палили, колокола всех церквей звонили веселым гулом. 101 удар. Это сын, потому что в Аничкове не знали наверное. И родился Константин Порфирородный, на радость и горе своим родителям и России; но об этом после в свое время. После счастливых родов все приняло праздничный вид до лета, которое мы проводили, как только наступили жаркие дни.

Удовольствия приостановились, когда как громовым ударом разнеслась весть о Июльской революции. В этот день назначен был обед в павильоне, где обед поднимается механикой Показунина и слуг нет в комнате. Государыня, обладая силой воли, была по обычаю весела; государь запоздал и пришел бледный и расстроенный. С ним Александр Ник<олаевич> Голицын в сером сюртуке. Все придворные были в смущении, одни фрейлины ничего не знали. Я спросила Влад<имира> Фед<оровича> Адлерберга, который мне отвечал: «Vous êtes trop curieuse, ce sera demain dans la “Gazette de Pétersbourg”»[405].

---

[402] Которая обрамляла ее изящное, несколько утомленное лицо.
[403] Вам скучно, вот мои альбомы.
[404] Какая неосторожность!
[405] Вы слишком любопытны, завтра это будет в «Петербургских ведомостях».

Подробностей не было никаких, известно было, что король в Рамбулье и охотится как ни в чем не бывало. Эта катастрофа отозвалась в Италии и во всей Германии; в Лейпциге горланили студенты и кричали: vive la république[406]. Саксонский король должен был скрываться в крепости на горе. Это накинуло тучи на наш мирный горизонт и отложили петергофский праздник и вообще балы.

Июльская революция была прелюдия страшного 48-го года. Где был тогда Бисмарк? Вероятно, в школе или университете и задумывал Germania una[407]. Зимой пушки рассеяли тучи революции, оставив по себе много жертв; в улице Transnoire были кровопролитные стычки, осаждали Notre-Dame, раскидали великолепную библиотеку этой церкви, убили достойного архиепископа monseigneur de Gentin у алтаря и бесчинствовали страшным образом.

Тогда явилась новая литература в лице Виктора Гюго, она была отпечатком страшных кровавых сцен и господствовала долго; в России читали «Les deux pendus», «Notre Dame de Paris»[408] и пр. дрянь; но наши авторы воздержались от подражания. Бедный Карл X-й с герцогом Ангулемским и детьми <поселился> в Буштирау под Прагой. Династию Бурбонов революционная Франция погребла на эшафоте с добродетельным и честным Людовиком Шестнадцатым и отпели его на плахе, где милый 20-летний ребенок получил венец мученицы. Так как место не бывает пусто, водворилась династия Бонапартов. Великий завоеватель, Александр Македонский новейшей истории, обладал всеми залогами основателя династии. Наполеон III-й в другом роде был великий человек, друг и опора колеблющейся Римской церкви, он был добр, мягок сердцем и щедр до расточительности. После войны и Седанского погрома его повезли в Кассель, во дворец, где прусская королева окружила его всеми возможными удобствами. Страдальца посетила великодушная его жена и вывезла его в скромный Чизльгорст, где он оканчивал свои мученические дни, думая только о милом сыне. После его кончины мальчика отдали

---

406 Да здравствует республика.

407 Единую Германию *(ит.)*.

408 «Двое повешенных», «Собор Парижской богоматери».

в Вульвич, где он отлично учился, выбрал достойных товарищей. Имп<ератрице> Евгении в наследство было всего 250 000 дохода; она принуждена была донашивать свои старые платья и отослать часть свиты и прислуги. Описание похорон, аутопсии и пр. исполняли столбцы «Times». Я была в Англии и помню впечатление, которое охватило всю Англию.

Принц Наполеон с принцессою Клотильдой приехал в нашу гостиницу Claridges и тотчас отправились в Чизльгорст. Они ехали на Брюссель и Остенде; море было не только бурно, но и опасно. Это была гадость не пропустить их через Францию.

Теперь молодой Бонапарт окончил науки, живет с матерью, которую обоготворяет. Его фотографическая карта представляет avec le cordon de la Légion d'honneur[409]. Взгляд его холоден, лоб открытый выражает нечто повелительное и вместе снисходительное. Наш государь, королева Виктория посещали им<ператрицу> Евгению с уважением. Принца наш император посадил по правую руку с одобрительным знаком Валлийского. Нет сомнения, что он будет царствовать и царствовать хорошо, усвоив себе английский либерализм и применяя его к характеру французского переменчивого характера, не упускать минуту, «der Augenblick des Glücks»[410], как объяснил это Ауэрбах в своем романе «Башмачок»; он сядет в крепкое стремя. Не стану описывать историю Бонапартов и Евгении, она всем известна. Говорят, что она дочь писателя Mérimée, это сущая ложь; она дочь герцога Теба, первого испанского гранда, а мать ее была англичанка легкого поведения, которую Mérimée хорошо знал, оттуда ложные слухи. У Евгении есть гордость гранда и сильное религиозное чувство, доходящее до фанатизма, которое, к несчастью, вызвало несчастную Мексиканскую войну. Она стоила дорого Франции, злополучному Максимильяну и его супругу Шарлотту лишила разума. Страдалица жива, покойна и ест, но после того, как ее статс-дама пробует блюда, она рядится, раскладывает наряды на креслах, воображая, что говорит с знакомыми дамами. Ей показали портрет Максимильяна во весь рост, она не обратила никакого внимания; говорят, что в этой болезни случается, что бред настоящего заменяется

---

409 С лентою Почетного Легиона.

410 Мгновение счастья *(нем.)*.

бредом болезни. Максимильяна все оплакивали, менее всего имп<ератор> Франц и скверная его мать, эрцгерцогиня София. Многие оплакивали со слезами его. В то же время умер в Бельгии эрцгерцог Стефан, которого эта скверная София не проронила ни слезинки над его телом. Наша в<еликая> к<няжна> Ольга Николаевна встретила Стефана. Он не был хорош, но умен, образован; она отказала Альберту, который приезжал свататься на ней. Когда я ехала в Вену, имп<ератрица> мне сказала: «Priez Médem de tâcher d'arranger ce mariage. Oly n'en démonte pas. C'est le seul prince qui lui plaise. Quant à moi, je pense toujours à ce malheureux mariage de la Grande duchesse Alexandrine, à ce triste séjour en Hongrie». J'ai tout de suite fait ma commission à Médem qui s'est fâché tout rouge, en me disant: «C'est cette vieille sotte Catherine Tiesenhausen qui a appuyé sur la comtesse Fiquelmont, lui débite toutes ces sotti es; Fiquelmont n'a aucun pouvoir. Ce mariage ne peut pas se faire pour mille raisons très valuables: la question religieuse, le fanatisme de l'archiduchesse sa mère, le peu d'affection qu'elle a pour le Monsieur, il est le plus doué de ses fils et l'enthousiasme des slaves pour une alliance avec la Russie»[411]*. Я* все это написала m-me Fréderiks, и все кануло в воду. Красивейшей из дочерей нашего имп<ератора> суждено было выйти за ученого дурака в Виртембергию; la Belle et la Bête[412], – говорили в городе. В<еликие> к<нязья> Николай и Михаил Николаевич сделали из него совершенный poltron[413].

Зимой все было по-старому; начали поговаривать о том, что мне пора выходить замуж; сама имп<ератрица> мне говорила:

---

[411] Попросите Медема, чтобы он постарался устроить эту свадьбу. Олю она не смущает. Это единственный принц, который ей понравился. Что же касается меня, то я все думаю о несчастном браке великой княжны Александры; об ее печальном пребывании в Венгрии. Я тотчас выполнила данное мне поручение к Медему, который вышел из себя и сказал мне: «Это старая дура Катерина Тизенгаузен, поддерживаемая гр. Фикельмон, доносит ей все эти глупости; но Фикельмон ничего не значит. Эта свадьба невозможна по тысяче самых разных причин: вопрос вероисповедания, фанатизм его матери эрцгерцогини, ее малая привязанность к нему, он даровитее всех ее сыновей, а славяне были бы в восторге от союза с Россией».

[412] Красавица и чудовище.

[413] Труса.

«Il vaut mieux se marier sans amour que de rester vielle fille; on s'ennuie et ennuie le monde»[414]. Александра Петровна Дурново очень хорошо знала Смирнова во Флоренции, очень его уважала и хвалила, советуя выйти за него замуж. Суженого, ряженого конем не обойдешь. Я его встречала всякий вечер у К. А. Карамзиной, где его любили, а Софья Николаевна просто обожала его, и они не расставались. В Риме они жили с моим троюродным братом Евгением Штеричем. Один граф Комаровский его ни в грош не ставил. Вечером играли в jeux d'esprit и писали на клочках бумаги ответы. Александрина Шевич, всегда скромная и молчаливая, лучше всех отвечала. На вопрос пресловутого Комаровского, с кем приятнее прогулка, она отвечала: «C'est selon la bête, avec la quelle on la fait»[415]. Екатерина Анд<реевна> читала и шила рубашки детям. После утренней прогулки с нами Володька и Лизанька делали zigzaki впереди; мы обыкновенно ходили в Бригитен, а иногда к барону Делингсгаузену. Когда мы уходили, Сонюшка читала Андрюше, которому было 13-ть, Michaud sur les Croisades[416]. Thibaut занимал Сашку и Николеньку. По возвращении пили чай, а Ек<атерина> Андр<еевна> принималась за чтение и работу; я тоже читала Андрюше sur le vieux de la montagne[417]; но вскоре Ек<атерина> Анд<реевна> просила меня не ходить в комнату больного; он сильно страдал глазами и носил зеленый зонтик, постоянно д-р Витмер подчивал его Wiener-prosintchen. У Андрея проснулась чувственность, он был влюблен в меня, и потому было воспрещено входить мне в его комнату. Андрей остался близорук навеки; у него были нежные масляные глаза и приятное лицо. Сонюшка его обожала, и когда несчастный, в цвете лет, погиб на пушке, которую он защищал под конец один с племянником моим Петрушей Голицыным, его камердинер нашел эти обезображенные трупы; осталась только метка на его рубашке; камердинер все сложил в гроб, который привезли в женский монастырь в Петер<бург>. Вдова была

---

[414] Лучше выйти замуж без любви, чем остаться старой девой, которая и сама скучает и наводит скуку на других.
[415] Смотря по животному, с которым ее совершаешь.
[416] Мишо – о Крестовых походах.
[417] О горном старике.

неутешна и поселилась в Финляндии в Трасканоне, а Сонюшка с ума сошла. Веселый и приятный дом облекся в безмолвие скорби и печали.

Я вышла замуж и поехала в Москву знакомиться с родными мужа и его дядей Петром Петровичем Смирновым. Это был остаток Екатерининских времен.

Михаил Петрович был ремонтером Конногвардейского полка и получил от Екатерины синие эмалевые табакерки, осыпанные бриллиантами, с ее шифром. Дмитрий Петрович занимался механикой, закупал старые часы и запоры и серебряные кубки, у него тоже была астролябия. Петр Петрович, убоясь имп<ератора> Павла Петр<овича>, вышел в отставку вместе с Михаилом Петровичем. Дмитрий Петрович нашел, что удобнее не стеснять себя, и прижил детей с женой доктора Кораблева, эти дети пользовались названием законных детей, и Дмитрий Пет<рович> оставил им по духовному завещанию 500 душ, часы, кубки и астролябию (после узнают всю ценность этого инструмента). Михаил Петр<ович> женился на Федосье Петровне Бухвостовой, девице гораздо образованнее мужа; они путешествовали за границей, при них был крепостной человек Карп, которого они звали Карпуней, что возбуждало <смех> других русских путешественников; они покупали картины и драгоценный саксонский фарфор. Последний был разбит уже при нас в Спасском, но венский теперь упакован в Англии и возбуждал восхищение английских знатоков. Он светло-зеленый, а на коричневом поле история Амура по рисункам английской принцессы. Следовательно вдвойне был дорог англичанам. Мне предлагали 1000 ф<унтов>, но я не решилась продать. В невежественной Русландии после обедов подавали кофий в таких чашках, но никто не обращал внимания.

Петр Петр<ович> выставил на своем доме: дом корнета Смирнова. Он был очень хороший помещик; все хлопотал о своих владимирских мужиках, вел их процессы, защищал их от притеснения становых. Он ездил во все метели и снега в Мышкинский уезд. В доме он был скуп до крайности; домом управляла его любовница и наперсница затей его законной супруги Татьяны Мих<айловны>, рожденной Рахмановой. Первая жена его была девица Охотникова, приятной наружности.

До замужества она любила г-на Поливанова. Поливанов тоже жил у Николы на Курьих Ножках. Княжна Цицианова была дружна с сестрой Поливанова, которая жила у Троицы и возилась с отцом Флавианом, как Юлия Самойловна Головинская с канонархом Арапом. (Раз Арап, стоя на коленях, клал двести поклонов во время акафиста божьей матери, потому что в приятной беседе с Ю<лией> С<амойловной> забывал, что его ждет игумен; и певчие кто в лес, кто по дрова). Петр Петрович ревновал первую жену, отвез ее в Картуново, которое, говорил он, «я купил после француза по 25 р. асс. с лесом, деревня не приносила никакого <дохода>, потому что обрабатывалась подурацки». Его жена переписывалась тайно с Поливановым; он перехватил письмо и, отдавая распечатанное послание ее любимца, сказал ей: «Вот вам, сударыня, письмо вашего любовника». И в самом деле она зачахла и тихо рассталась с жизнью, радуясь, что в лучшем мире она встретит своего друга. Через год Петр Пет<рович> утешился в объятиях своей жирной Татьяны Рахмановой. «Оцень холошая фамилия», – говорил он. Ортография Пет<ра> Пет<ровича> была своеобразная, как его разговор. Он говорил, что у него «пок болит». Дом его на Молчановке был набит собаками и щенками. Вонь была невыносимая, он спал с двумя-тремя собаками; они уступали место только Наталье, когда она ждала своего старика. У них была дочка Сонька, которая всегда стояла у притолки и шпионила. Петр Петр<ович> требовал, чтобы и у него останавливалась, в избежание издержек в трактире. Он в торжественные дни давал обеды, стол накрывался покоем, собиралась вся Воейковщина и рассаживали всех по рангу. Я занимала первое место; обед был наилюднейший, он рассаживал и потчивал свою роденьку. Кити Голицына была недурненькая девочка, но такая affectée[418], что тошно было смотреть на нее; она жевала медленно du bout des lèvres[419], как ее гувернантка m-me Dani, которая говорила: «n'imitez pas votre oncle»[420] Жданов. Жданов был пузатенький господин в широких шароварах; ножки его были

---

418 Притворщица.
419 Едва касаясь губами.
420 Не подражайте вашему дядюшке.

bancal[421], и шаровары скрывали этот недостаток от его жены Варвары Петровны. Она была глупее всех Воейковых, исхудалая пиголица, и болтала и любезничала с подругами. Есть в губернских городах мода ходить под ручку вдвоем и втроем и иногда в восемь; они заигрывают с мужчинами и будто не нарочно задевают их. Особенно разыгрываются они в деревне. После катанья под Новинским в ландо, на шестерике, он уезжал в Картуново. Экипажей у Петра Петр<овича> было много разнокалиберных. Раз меня повезли в голубой двуместной карете; лошади путались, экипаж колыхался и дребезжал. Утром в воскресенье дядя уходил на рынок под Новинский или к Сухаревой башне, где покупал всякую дрянь и рухлядь, подковы, замки и петли, все это за гривну, и складывал все сам в сарае. Сарай этот представлял картину хаоса. В Картунове отстроилась церковь, к которой вела хорошенькая березовая аллея. День был торжественный, солнечный и теплый; мы приехали накануне с братом Аркадием; присутствие гвардейского полковника в полной форме с регалиями было приятно самолюбию Петра Петр<овича>. Николай говорил: «А ты надень свой малый мундир и кресты». Аркадий подавал руку к<няжне> Голицыной, мой муж соседке, к<нягине> Мещерской (она была купчиха с пенязями, а муж a mis un peu de fumier sur sa modique terre[422]). Я шла с соседом Петром Ивановичем Кумanковым, братом Сергея Ивановича. Озеров шел с Березниковой, Алекс<андра> Пет<ровна> Воейкова с Павлом Алексеевичем Березниковым, она уже заговаривалась и болтала без умолку всякий вздор. Березников был в мундире Драгунского полка. Он дал обед; у него были чистота и порядок совершенно казенные и казарменные. Стол был накрыт беспорочно новой скатертью; хлеб был прекрасный, хлеб пекли дома; рядом со столовой была оранжерея, в которой росли георгины и резеда, так что запах этих скромных цветов доходил до трапезующих. На дворе была булочная, кузнечная изба, портные и сапожники помещались в одном месте. В избежание сырости стены до половины обивались досками; это делалось не из видов человеколюбия, но ради экономии. Березникова тотчас

[421] Кривые.
[422] Положил немного навоза на ее скудную землю.

после освящения церкви родила и в розовом платье, покрытом тюлевой вышивкой домашнего изделия, лежала уже на кушетке; возле нее столик навощеный, так что можно было полагать, что он прямо из домашней столярной. Все было тихо и мертво вокруг нее, дети были в детской. Бедная Березникова вышла замуж за Павла Алексеевича, потому что в Елманове было 500 душ незаложенных, и была надежда получить частичку Картунова. У нее самой было 1000 душ; она была кроткая и приятная женщина, шла за него по приказанию отца и матери и не знала любви, не знала, что ждет ее от жестокого и тиранического мужа; даже не смела посвятить себя всецело детям. Он любил только девочек и был равнодушен к мальчикам, которые привязались к бедной матери. Какие драмы в каждом семействе! Люди были все запуганы, надевали шерстяные туфли, когда сновали между домом и флигелями; двор был убит щебнем. Одним словом, сивилизация и дичь сливались в Елманове. В доме не было ни одной книги; ей давали читать самые невинные романы вроде «Les veillées des châteaux» и «Les petits émigrés». Бедняжка их читала и перечитывала, ее ум просил другой пищи; она любила со мной разговаривать, заглядывать в чужую жизнь. Березников был ужасно ревнив, боялся даже невыносимого Трубникова, этого Созия Петра Петр<овича>, который сосал трубку целый день и носил кисет с вонючим табаком на пуговице, точно как казак. Она была очень дружна с Софьей Мих<айловной>, сестрой моего мужа, и с m-elle Casier, которая, вздыхая, говорила: «Pauvre enfant, comme on l'a sacrifiée»[423].

После празднества все стали разъезжаться. Аркадий не вынес пытки и удрал в Спасское. Я из последних тронулась в закрытой коляске с Леонтьевыми, а Николай Мих<айлович> настоял, чтобы я ехала с Васильем Алексеевым, его бывшим камердинером и курьером за границей. Тотчас по выезде из Картунова Василий начал проситься в коляску и затеял драку с кучером, то погонял, то останавливал лошадей, вырвав кнут от кучера. Наконец добрались до станции, где положили Василия в телегу, поручили его кучеру и поехали далее; он бился и кричал несколько времени, потом все затихло; по дороге он

---

[423] Бедное дитя, как ее принесли в жертву.

еще зашел в кабак с кучером; натюрившись вдоволь, оба легли в телегу, а лошади проголодались и сами плелись до станции. На следующей станции не нашли лошадей, предлагали целковый диктатору станции, но все было тщетно; спросили самовар и расположились пить чай. Толстая стряпуха принесла огромный самовар; мы вынули крендели, булки и сливки и рассуждали, что пора уже поздняя, что мы приедем на Дорогомиловский мост к заутрени, а мост этот трясся, его не чинили после француза. Александра Ив<ановна> Леонтьева тут нашлась и сказала, что я придворная штатс-дама, всякий день обедаю с царем и буду на него жаловаться, и он пойдет в кандалах в Сибирь. Эта ложь подействовала, как молния; нам впрягли шесть лихих коней, и мы покатили по гладкому шоссе, убитому самим господом богом; на спуске к мосту форейтор упал с уносных, но все обошлось благополучно, и мы подкатили к гостинице Шора на Тверской. Это была гостиница-модель. Мы нашли Аркадия и княжну Цицианову, которые смеялись до слез, когда Аркадий им рассказывал проделки Жданова с девицей Раховской и Трубниковым с кисетом, который они прятали под юбки. Дети, Ольга и Соня, проводили это время с княжной; они катались, и раз Ольга уперлась на дверцу, которая отворилась, и дитя чуть не вылетело. Княжна так и обмерла.

Мы поехали в четвероместной карете к Троице. Каролине препоручили провизию и вино. Только отъехали несколько верст, она уже предлагала брату: «Аркартий Оси<пович>, не угодно ли картлетку или яйцо в крутушку?» В Мытищах мы пили чай, эта вода славится как лучшая для чая. Мы остановились в гостинице, где меня изъели клопы, и всю ночь провели в борьбе с этим скверным вонючим существом. Утром пошли к обедне. Антоний сам служил и позировал страшно; по выходе все подходили за благословением. Когда я подошла в розовой шляпке, он принял вид благоговения, а мужикам давал руку почти с презрением. «Э, да ты штукарь», подумала я и вскоре убедилась, что он точно был штукарь и обманщик. Антоний был побочный сын царевича грузинского и родился в его доме в Нижнем, красивой наружности и очень самолюбивый; отец сделал из него аптекаря и лекаря. Единственная дочь царевича Анна Егоровна влюбилась в красивого юношу. Царевич уговаривал сына посвятить себя богу и церкви и отослал его

к игуменье в Саратовскую пустынь. Эта женщина имела хорошее влияние на него и послала его в какой-то монастырь, где его постригли. Он любил рисоваться в рассказах своих искушений. Первое явилось в рыжей шубе, покрытой камлотом, второе – в пении соловья в часы полуночи, когда он читал молитвы. Все это победил силою креста и воли, бросаясь на колени и орошая пол слезами. Графиня не хотела выходить замуж, что очень огорчало старика-отца, и просилась в монастырь. Он ее отпустил, и она отправилась в Костромскую губернию, в Бельмажскую обитель. Игуменья была умная, образованная женщина, с большой expérience[424], казначея была Ханыкова; они заметили, что душа Анны Егоровны была взволнована, и притом она не хотела подчиняться монастырским правилам; письменно они известили царевича, что не знают, что с ней делать, и считают ее вовсе не созданной к монастырской жизни. Царевич послал Антония вывезти ее оттуда. Перед отъездом она изъявила желание взять совет от Серафима. Поехали вечером, и с ними какая-то дама; семь верст тащились по песчаной дороге, княжна все время спала. Домик пустынника состоял из конурки и большой комнаты, где валялась всякая дрянь, бочки, кадки и пр. Долго стучали; наконец, он спросил: «Кто там?» – «Я, Антоний, ваш знакомый». Он выглянул и спросил: «Кто эти дамы?» Первая пошла ее приятельница, а наша княжна крепко уснула на бочке, и отец и она страдали спячкой. Когда она вышла, Серафим сказал: «Тем лучше, значит я ей не нужен». Проснувшись, она стучала, но ответа не было; они вернулись в монастырь и оттуда отправились в Нижний. 35 лет княжна вышла замуж за графа Александра Петровича? Толстого, святого человека. Он подчинился своей чудовине и жил с нею как брат. Вся ее забота состояла в том, чтоб графу устроить комнаты, вентиляцию и обед по его вкусу. Она видела только тех людей, которых ее муж любил; брезгливая, она сама стояла в буфете, когда люди мыли стекло и фарфор; полотенцам не было конца, переменяли их несколько раз. «Вы были в Англии и знаете, как там содержится буфет; вот посмотрите, какая вода в бутыли; она накрыта новой чистой дощечкой». В коридоре жили семинаристы; у каждого был свой номер; они были

[424] Опытностью.

совершенно свободны после обедни, где они составляли препорядочный хор и пели простым напевом. Граф вывез дьяка из Иерусалима; это был такой чтец, что мог только сравниться с дьяком им<ператора> Павла Пет<ровича>; слова выкатывались как жемчуг. После обедни пили чай в длинной гостиной; его разливала Софья Пет<ровна> Апраксина, которую граф звал Фафка, а она его Зашу. Графиня засыпала; подавался чай, кофий, шоколад, крендели и сухари всякого рода из Немецкой булочной на Кузнецком мосту. В гостиной стоял рояль и развернуты ноты, музыка все духовного содержания. Графиня была большая музыкантша; по левую руку этой гостиной была ее спальня, <кровать> посреди комнаты, с чисто подобранными одеялами и простынями, чтобы не касаться ничего пыльного. За этим была комната Кальяны, наперсницы ее причуд, и стоял некоторый мебель, который играл большую роль в доме: его мыли в трех водах и выставляли на чистый воздух, а горшок или выпаривали, или покупали новый. Графа называли Еремой, потому что он огорчался безнравственностью и пьянством народа и развратом модной молодежи; он нарочно ездил к Оверу, который ему сказал, что Диоген, встретив идиота, сказал ему: «Несчастное дитя, отец твой был пьян, когда мать зачала тебя». Граф тогда возился с монахами Греческого подворья, бегло читал и говорил по-гречески; акафисты и каноны приводили его в восторг; они писаны стихами, и эта поэзия ни с чем не может сравниться. В псалмах были темные места в славянском, как и в греческом переводе; они и теперь не исправлены. Только один английский перевод ясен; но я полагаю, что Тиндаль или был хорошо знаком с еврейским языком, или вложил в уста царя Давида свою собственную мысль.

Графиня принимала по вечерам с семи часов. Серафима Голицына им читала вслух какую-нибудь духовную книжку, а через день приходил греческий монах и читал также. Графиня засыпала и на русский день. «Как я люблю греческий звук, потому что граф это любит; и вас я люблю, потому что он вас любит. Мы благодарны Гоголю за ваше знакомство». Все эти Толстые оригиналы, а более всех Сергей Петрович, неразлучный со своим камердинером Иваном. За границей они меня тешили. Раз в Люцерне погода стояла премерзейшая. Mont Pilate утопал в густом сером тумане, дождь лил ливмя. Пурталес

приходит и говорит мне: «Александра Осип<овна>, знаете ли, кто здесь?» – «Нет». – «Граф Толстой с Иваном; они обедают в table d'hôte». Толстой прибежал на минуту и сказал, что спешит показать Ивану ce lion[425] de Lucerne. Иван остался недоволен; дураки не хотят признаться, что бог их спас, а не их львиная храбрость. «Меня, – говорил Толстой, – жена послала сюда, потому что я не был на Пилате, где Суворов отличился. А что вы скажете о новом догме?» – «Паганство»[426], – отвечала я. – «А я говорю, что божию матерь за заслугу произвели в следующий чин». В Москве славянофилы рассуждали о браке и чистоте, которой требовал этот юнец. Да, надобно быть девственником, чтобы удостоиться быть хорошим супругом; где тут девственник, нет ни одного! «Я», – отвечал Константин Сер<геевич> Аксаков. «Ну, позвольте же мне стать перед вами на колени», – и точно стал на колени, низко поклонился, перекрестился, а потом сказал: «А теперь позвольте вас поцеловать». Брат Лев Арнольди рассказывал все его проказы, которые он делал, бывши губернатором. Раз он поехал в уездный город и пошел в уездный суд, вошед туда, помолился пред образом и сказал испуганным чиновникам, что у них страшный беспорядок. «Снимите-ка мне ваш образ! О, да он весь загажен мухами! Подайте мел, я вам покажу, как чистят ризу». Он вычистил его, перекрестился и поставил его в углу. «Я вам изменю киоту, за стеклом мухи не заберутся, и вы молитесь; все у вас будет в порядке». Ничего не смотрел, к великой радости оторопелых чиновников; и с чем приехал, с тем уехал и, возвратившись, рассказал жене, что все там в порядке. Я думаю, что такие губернаторы лучше тех, которые все принимают en sérieux[427] и всякое лыко в строку. Подольский губернатор Гессе, устарелый в чиновной жизни, очень удивлялся, когда молодые губернаторы жаловались, что они завалены делами. Когда ему приносили чепуху губернского правления, он писал на стороне: «Отвечать по материи». Другой губернатор, Вронченко в Саратове, водил государя Александра целый день. Этот был тип Манилова, исполнен благоволения. Представив чиновников

[425] Этого льва.
[426] От *фр.* pagane – язычник.
[427] Всерьез.

государю, каждому выпевал или тропарь, или кондак. Вот это сам председатель такой или такой палаты, и это вот наш совестный судья, олицетворенная правда. Потом он водил безмилосердно государя по гуляньям и в беседку. «А тут, – говорил он, – собирается наша молодежь играет <в> невинные игры, а оркестр играет веселенькую музыку». Тут Алек<сандр> П<авлович> не утерпел и послал губернатора покоиться на лаврах благоволения.

Александру Пав<ловичу> напрасно сделали репутацию либерала. Это все эта бездельница Staël, султанша мысли, как ее прозвал Гейне, когда она ему приписала известные слова: «Je ne suis qu'un accident heureux»[428]. Когда Основьяненко был губернатором в Калуге (он находился в штабе у Барклая и накрал богатое состояние), императора задержали на спуске пригорка. 8000 мужиков работали ночь и день, клали хворост и засыпали песком и щебнем, но неумолимый дождь смывал весь труд к утру. Приехавши в назначенную квартиру, он жаловался на остановку. Основьяненко отвечал: «8000 работали день и ночь». – «Милостивый государь, 50 000, когда ожидают государя». На маневрах князь Лопухин переврал его приказания и, возвратившись, рассказал, что сделал. «И я дурак, что вас послал», – был грациозный ответ. Вот тебе и либерал и gentleman с уточненным обращением!

Никто не знает, какую тревогу поднимает приезд царя. Губернатор рыщет по городу с полицеймейстером верхом, и все в галоп, дома белят, заборы облекают в серую краску, гарнизонная команда облекается в новые мундиры, артиллерия <слово пропущено Смирновой> порох по Московской улице, выстроенной из драни и досок, губернатор и полицеймейстер распушили Тушина, начальник умнейший, дурак, посадил его под арест. Остановили езду извозчиков, подобрали драгоценное орудие смерти и пожара и успокоились. Крыши красили зеленым и красненькой краской, звонили в колокола, делали репетицию, архиерей написал краткое, но выразительное слово приветствия жданному и желанному царю, и потом уж только молились и говорили: «пронеси, господи, грозу!» Даже у Александра Ив<ановича> Яковлева и у Николая Алекс<еевича>

---

[428] Я лишь счастливая случайность.

Писарева переколотили мебель, расставили ее чинно по стенке, детей принарядили, и все приняло необычный строй. Я уверяла мужа, что государь не приедет, что это сказал сам великий grand pontife[429] Ченсловскому. Этого господина 8 лошадей ждали неделю. Шутка – 8 лошадей, тогда как положено назначать всего две тройки! И этот ругался и бранил всех. Губернатор выехал к нему на станцию, где он прохлаждался по дороге в свое имение Почеп. Из хохлацкого Разумовского это имение перешло к верной собаке Аракчеева, сыну чухонского мужика. Я спросила полковника Сухотина, известного умника, как Александр Павлович был в Калуге. Тогда, сказал он, губернатором был Бибиков, женатый на Муравьевой, сестре повешенного. Он сказал: продрал таким чертом, что никто не опомнился. Архиерей чуть не выронил крест на паперти, когда тот вскрикнул, мимо во весь дух. Вот его обращение. Бибиковский дух его гнал, она, однако, из предосторожности поехала в Москву. Бибиков был лучший губернатор, очень умен и сведущ. Тотчас после его отъезда его перевели в другую губернию и назначили приторного Унковского. Он и жена его крали в четыре руки; она завела приюты, сиротский дом, прослыла матерью вдов и сирых и удостоилась получить благодарственный рескрипт имп<ератора>; а Иларев, секретарь добродетели, получил Анну в петличку. Эта заманчивая штучка его не покидала в постели, как говорили les méchantes langues[430]. После счастливого обхода государем Калуги дождь смыл серую краску; после крыши, крытые какой-то странной, зато дешевой краской, стали похожи на вытертую енотовую шубу. Чиновники успокоились, надели старые сапоги с заплатами, а кто с дырками, начались пикники и théâtres de société[431], в которых девица Корпиловская с Машкой, которая всегда кстати умела выбрать чайное местоположение, и госпожа Еленева; супруг сей последней был чиновником губернского правления, известный Фаня; по причине супружницы он пользовался благоволением губернатора и уважением всего города; он мог даже покупать все в кредит

[429] Первосвященник. Игра словом pontife – строитель мостов. Имеется в виду гр. Клейнмихель.
[430] Злые языки.
[431] Любительские спектакли.

у рядовичей. Щедрый губернатор все платил, у его жены явилась даже красная турецкая шаль с иголочки. Великий Семен Яковлевич Унковский, которому правительство поручило воспитание благородного калужского дворянства, сделал сослуживца Яновского начальником губернской гимназии. Унковский приносил моим детям краткую географию, из которой они узнали, что бог тоже сотворил чернокожих людей, хотя они не трубочисты. Иван Давыдович Делянов называл Семена Яковлевича калужским Песталоцци. У него был странный дормез, висящий очень высоко, качался, как люлька, а окна были с переплетом, как в домах. Подобных окон я помню только у старухи Гангебловой под Балтой. Карета была красная, а моя тетушка была синяя; она так и слыла «синей тетушкой», в этой странной карете она помещалась с своей девкой, бубликами и коржиками в карманах дормеза. Карета Унковского уцелела после нашествия пугала сивилизации. Именье Унковского было на берегу Угры, которую называют поясом Богородицы, потому что ни татары, ни Литва никогда не переплывали эту реку, которой вид вселяет какой-то грустный страх. Домик Унковского имеет характер камер-каюты; мебели казались будто прибитыми; фамильные портреты висели по стенам: многие из рода Тургеневых. У него были две дочери: меньшая – Душа, была кроткая и приятная девица. Старшая вышла замуж за Кабрита, которого отец был постоянно пьян, что весьма некстати для председателя казенной палаты. Он покрал большие деньги и подвел под пьяную руку; «а у Кабрита кубышечка полна, а этого никто не знает».

Ивану Серг<еевичу> как-то попался журнал губернской девицы. На рыбака рыба. Между прочим, она писала: «Вчера на балу губернатора был особенно мил чиновник акцизного стола ко мне; а Дев Ив<анович> был просто душка», и все так от доски до доски. Ах, губернские барышни! Как вы милы, вы приезжаете на бал с стоптанными башмаками, которые привязываете грязной ленточкой то и дело, чтоб идти в уборную губернаторши, где берете ее гребни, помаду, духи и одеколон; даже просите ее старых башмаков, и все это чтобы потанцевать с пробирмейстером Бранденбургом или с Петром Петр<овичем> Гильфердингом, а может, о счастие, с красивым Александром Кояндером, а может быть, с Жабовым. Жабов

представлялся утром губернатору; получил уже приглашение с условием, что будет танцевать с его женой, и сам себя рекомендует. Вообразите мое удивление, когда подошел ко мне высокий мужчина, такой смуглый, что можно было подумать, что он вылез из трубы. Ровным шагом он подошел ко мне, храбро, как жандарм, и громовым голосом высказал мне свой служебный титул: «Честь имею представиться, жиздринский посредник ротмистр Жабов». Сестра моя Оболенская у меня гостила. Ей представили одного офицера. Она его спросила о его странном прозвище. Он тотчас отвечал по-французски: «Je suis officier de bois»[432], а поскользнувшись, сказал: «Le plancher est très scolsant»[433]. Ужин был накрыт в столовой, закуска исчезла как магическим жезлом. За ужином подавали холодное мясо, телятину, обливную рыбу с желеем, на заедки и десерт были слоеные пирожки, груши, яблоки. Их барыни ели с кожей и, танцуя, укусывали, а потом кавалер, милая обмена нежностей. На этом вечере случился скандал. Высокий Александр Кояндер танцевал вальс с какой-то толстой барыней. Губернатор очень старомодно вертел Еленеву. Произошла карамболь, и толстая барыня очутилась на паркете. Очень рассерженная таким пассажем, она на другой день говорила, что губернатор ей подставил ножку. Я очень любила наши немые разговоры с братом Львом и Аксаковым. Я сидела на диване. По правую руку сидела губернская предводительша Квашнина-Самарина, по левую какая-нибудь власть, напр., Зыбина, которую звали Дракон. Это прозвище шло как нельзя лучше к ее характеру. На флангах желонер Бюргер, буфетчик, расставлял кресла казенным порядком. Тут рассаживалась по порядку председательша гражданской палаты Александра Ив<ановна> Писарева; за ней для исполнения ее поручений – * * *. Он принимает вид скромного обожателя, облокачивается на ее кресло и качается на одной ножке. Рядом с нею сидит Анна Ефимовна Яковлева, председательша уголовной палаты, и последнее кресло вмещает купчиху Квасникову, тучную бабу, скромно закутанную в купавинскую шаль.

[432] Я – лесничий.

[433] Пол очень скользкий. От слова «скользкий» произведено будто бы французское слово «scolsant».

У нее глаза как у выдры; бриллиантовые сережки. Ее некрасивая дочка всегда в розовом креповом платье, в новых белых атласных башмаках. За ними ухаживает Nicolas Родкованцев, которого французскими буквами написали Nicolas Подкованцев. У Квасниковой расстроены нервы, она от этого принимает холодные ванны и пилюли. Здоровье ее поправилось в Воронеже. В Калуге было много раскола и молельщиц. Мерзости этих тайных эмиссаров, интриг, играющих ту же роль, что иезуиты в Испании. Но перейдем к нашему аристократическому обществу. Аксаков говорил: «Посмотрите на Анну Ефимовну, строгое добродетельное выражение ее серых и пронзительных глаз. Она сидит в своем кюриловском кресле с коронным беретом и белым пером. У нее что-то наполеоновское в походке». А Клементий Осип<ович> говорит: «Посмотрите на Бюргера, как он серьезно подходит с серебряным подносом или пондосом», – как говорила или говорит племянница Clara Россет своей няне Паскали Rose; она ее звала: Паналь: «Барыне всегда подают на пондосе». С Аксаковым та же тетушка Цицианова была в беспрестанных спорах. Однажды она его спросила: «Как вы едете в Москву?» – «Я всегда езжу на Пахру, короче» и рассказал, что там водится нехорошее. Она его прозвала «Два слова, или Ночь в аду», известный балет с пантомимой. На даче я с ним один раз в присутствии Левы назвала его чурбаном и выгнала из дому, запрещая ему являться ко мне, кроме балов и официальных приемов. Он написал прекрасные стихи:

Вы смущаетесь легко,
И вашу мудрость, вашу веру
Теперь я понял глубоко.

А в конце:

Недостойное начало порчи
Вам в душу проникло и проч.

Я тотчас послала эти стихи Плетневу в «Современную газету», в которой была страшная пустота. Иногда явятся, бывало, стихи Лермонтова, и печатался «Портрет» Гоголя. Меня поразил этот талант, и я спросила Плетнева, кто автор этой nouvelle. «Неужто вы не узнали? Это последнее произведение

Гоголя». Аксаков оскорбился тем, что я не оскорбилась его посланием, и написал другое, не хотел их списать для Левы. Они кончались словами: «Я забыл, что дама вы блистательного света», это было у автора самым колким упреком, Лева их затвердил после вторичного чтения и мне их сообщил, а я Аксакова благодарила и сказала: «Второе послание лучше первого». «Бродяга» уж был окончен. Несмотря на нашу комическую ссору, он сам ее читал, и мы все были в восторге. Не знаю, почему Аксаков ее не перепечатывает. У нас такой неурожай в беллетристике, что, пожалуй, хоть приниматься за Тредьяковского, Кострова и Измайлова. Можно присоединить Федорова и Сумарокова с Озеровым. Не шутите Озеровым: его трагедия «Дмитрий Донской» удостоивается представления на театре gala. Скука одолевала всех, кроме райка. Каратыгин рычал, а Тодченов каким-то басом мычал. Раек неистово аплодировал и вызывал: «Толченого! Толченого!». Он являлся в хламиде, сандалиях и кланялся на все четыре стороны, прижимая руки к сердцу. Александр Карамзин очень хорошо передразнивал Толченова. Константин Аксаков напечатал тогда трагедию «Прокопий Ляпунов», которая произвела фурор в Москве, особенно когда начиналось в конце трагедии славление. При колокольном звоне славили нараспев: «Славен город Москва, славен город Владимир», и так все древние русские города.

Перед отъездом Аксакова он там читал свой capo d’opera[434] критики: «Утро в уголовной палате». Тут представлен Александр Ив<анович> Яковлев среди его забот о румянах, белилах, башмаках и наряде актрис нашего губернского театра. Тщетно представляли его товарищи, что надобно подписать бумагу о преступнике, который уже высидел 10-ть лет в остроге, что конечно пытка хуже путешествия по пешему хождению в Сибирь. Он повторял: «Иван Серг<еевич> времени нет».

На прощание Аксаков меня спросил, что ему делать: продолжать ли авторскую карьеру, или продолжать службу в Москве, где ему предлагали место председателя уголовной палаты? Я ему отвечала: «А как вы думаете, спросил ли бы Пушкин, какую карьеру ему выбрать?» И так я решила судьбу Аксакова, о чем не жалею, потому что он не может ничего

---

[434] Шедевр *(ит.)*.

печатать без строжайшей цензуры. В Петербурге Аксаков перешел в министерство внутренних дел чиновником особых поручений и был послан по раскольничьим делам в Ярославскую губернию и в Бессарабию, где притон некрасовцев и завязка подлейших интриг с Австрией и греческими свергнутыми архиереями. Он надеялся получить много сведений у преосвященного Иринарха, сосланного туда из Риги; но тот ему сказал: «Мне запрещено входить в дела порученной мне епархии». Русские чиновники ничего не ведали, не знали, но полковник Чуди, родом из Швейцарии, сообщил ему сокровища сведений. В Петерб<урге> Аксаков взял квартиру на Литейной с Самариным и Александром Ник<олаевичем> Поповым. Я была больна, жила на Вшивой Бирже, в доме Вилье. Эти господа часто ко мне ходили. Со мной жили Елизавета Ив<ановна> Леонтьева, девушка Федосья, страшная пьяница, и прекрасный человек Николай. Письма Самарина об остзейских провинциях были уже всем известны. Они затрагивали дурака Суворова, и эти умники с Паниным, женатым на чухонке Тизенгаузен, решились представить государю. Летом в Павловске мне их дал Барановский, и граф Киселев просил меня дать их ему на три дня, прочел их и был совершенно согласен со взглядом Самарина. В городе была холера. Я постоянно страдала желудком и лечилась у Фогт, часто оставалась без денег: у Ник<олая> Мих<айловича> был обычный беспорядок в высылке моего месячного содержания. Я просила Самарина дать мне 1000 р. ассигнациями взаймы. Он отвечал, что завтра же он пойдет к своему банкиру. Прошло три дня, а об нем не слуху, ни духу. Я, наконец, послала своего личарду к нему. Он вернулся и говорил, что Самарин исчез, поехал в вицмундире на вечер, но что приехал фельдъегерь и сказал, чтобы он сперва заехал в министерство. Извозчики между собой толковали, и его кучер сказал, что ждал барина до двух часов у подъезда и, соскучившись, вернулся домой. На другой день приехал Андрей Карамзин. Я лежала на диване. Он спросил о здоровье. Я сказала: «плохо». – «Еще бы, после этого несчастия!» Под влиянием страха от холеры я сказала ему: «Неужели Самарин умер?» – «Нет, но он пропал без вести. Дмитрий Оболенский, Веневитинов, Карамзины и я, мы рыщем по городу целых три дня и ничего не узнали. Сам Перовский ничего не знает, а фельдъегерь молчит,

как гроб. Наконец, Оболенский поехал в крепость к коменданту, добрейшему генералу Набокову, и узнал, что он в флигеле получает содержание из дворца, в светлой комнате, но отняты всякие ножи, бритвы. Его посещает Баженов, духовник государя, странный иезуит, bastard[435] и мерзавец». Таков уже удел царей, что от духовника до министров все и всё их обманывают. Ко мне приехал рыжий барон Мейендорф, еще до заключения Самарина, и сказал мне с злобной улыбкою: «Кто-то будет плакать!» Подлец, немец, – подумала, но не смутилась и не огорчилась. Две недели просидел Самарин в своей светелке и не имел позволения писать родным. Вести сообщал Дмитрий Оболенский то по почте, то по оказии. Наконец, его выпустили и повезли прямо во дворец и в кабинет государя, который обошелся с ним весьма милостиво, велел ему ехать в Москву. «Я сам назначу вам место, потому что к пасхе мы все едем в Москву». В промежуток взяли Аксакова, который принес смелые бумаги со стихами. Его повезли в Третье Отделение, где он беседовал с горбатым шпионом Зайцевым. Ему дали книги, бумагу и перо и спросили, почему его брат не любит Петербурга. «Ведь вы читали его письмо, так зачем спрашиваете?» Константин Серг<еевич> ему писал: «Приезжай к нам в Белокаменную; ненавистен этот побочный город, прижитый с Западной Европой». Аксакову приказали изложить письменно свои мысли; он написал шесть листов своим ровным, резким словом и почерком; тогда уже его называли: «и закален в борьбе суровой». Брат Клементий говорил: «Россия вовсе не просит вас заботиться о ее участи; она живет себе под железным игом Ивана Васильевича Грозного, человека храброго, но серьезного». Без шуток, Фирс Голицын видел на всех станциях картинку, как мыши кота погребают, и другую, тщательно прибитую гвоздиками: портрет Ник<олая> Пав<ловича> в белых штанах, ботфортах, и Андреевской кавалерии и с вышеупомянутой надписью.

К празднику Пасхи вся царская фамилия поехала в Москву. Славяне собрались к обеду, пили здоровье государя и целовали друг друга с поздравлением, что их вождь Самарин – между ними; они не подозревали, что все люди были шпионы,

---

[435] Незаконнорожденный.

клевреты подлеца Закревского, Чурбана-паши, как его называл весь Петер<бург>. Он передал Орлову, будто славяне пили здоровье государя в насмешку. Вследствие этого гнусного доноса Самарину велено было ехать в Саратов, где губернатором был князь Черкасский, дед Владимира Алек<сандр.>, и супруга его, урожд. Алябьева. Самарин зажил губернской жизнью, танцевал на балах в вицмундире и белых перчатках, даже приволакивался кое за кем, но никогда не приглашал жандармской полковницы, сентиментальной дамы. Муж ее донес это Орлову; такую манкировку сочли за знак неповиновения и перевели его через два месяца в Киев под железную руку Дмитрия Гавр<иловича> Бибикова. С Черкасским он ладил: рыбак рыбака видит издалека, а москвич москвича. Черкасский говорил и писал только округленные фразы в таком роде: «Надобно, чтобы все население исполнилось не рабской, а детской любовью к царю, чтобы поняло законность требований правительства». Одним словом, это был человек с новыми тенденциями. В Киеве он не ездил к полякам. Тимашев командовал кавалерией, и он проводил все вечера у Тимашевых; его жена Пашкова была милое и кроткое существо, занималась детьми и хозяйством. Из Киева Самарин писал часто то комические письма, то серьезные, рисовал карикатуры, между прочим, председателя гражданской палаты Самарина, пузатого и приземистого господина; он говорил, что некто поляк Култюженский так танцевал мазурку и польку, что он советовал ему ехать в Петер<бург>: «Там вас сейчас сделают камер-юнкером, позовут во дворец на балы, и карьера ваша в шляпе». Но благоразумный поляк остался в Киеве. Всем известно, что умный Бибиков жил с женой Писарева, правителя его канцелярии; этот брал взятки беспощадно. Брат Клементий тоже был в Киеве; в это время вводились, и очень справедливо, инвентари в южных польских губерниях; брата послали в Подольскую губернию, помещики переполошились, но успокоились, увидав приятного и светского чиновника. Польские помещики во сто крат хуже русских. Когда он серьезно принялся за дело, то Грохольский, из жидов, предложил ему большие деньги; но как это не взяло, то хотели подсунуть ему любовницу: но убедились, что и это тщетно. Самарин часто посещал киевского митрополита, который был совершенно как невинное дитя. На экзамене в университете профессора

и студенты хотели подшутить над ним и читали очень долго о значении конкубин в Греции; наскучив повторением слова конкубина, он вздохнул и сказал: «Ну, довольно о конкубинах, а вам, молодежь, советую обходиться без них». Духовенство тогда переписывалось через ходоков. С Амфитеатровым Юрий Ф<едорович> написал мне длинное письмо или вернее диссертацию о наших киевских отшельниках, Феодосии Печерском и пещерах. Это письмо у меня в сохранности. Самарин ехал с Бибиковым в Москву и рассказывал, как он мучил бедного смотрителя школы, точно как будто муху жарил на свечке. Это было очень гадко, и слова, что «теперь один пан ездит на шести лошадях, а я добьюсь, чтобы шесть панов ехало на одной лошади». Такие речи раздражали поляков, а в конце результаты были грустные и кровавые; все держалось при покойном имп<ераторе>. Во время Крымской кампании в западных губерниях стояло 200 000 войска, которое было заражено страшным тифом по причине сырости среди польских болот. Для защиты Петер<бурга> оставался: флот, по одному баталиону гвардейских полков и милиция Пет<ербургской> и Новгородской губерний, да еще финские стрелки. Гродненские гусары занимали Финляндию, впрочем, совершенно покойную. Щербатов и Самарин были по выбору назначены полковниками своих милиционеров. Юрий Фед<орович> мне писал, что чурбаны гораздо лучше и приличнее дворян. Андрей Трубецкой с Соней и Шуваловы жили в Ямбурге. Ник<олай> Мих<айлович> ездил тогда с Ольгой к ним на недельку; жара стояла невозможная, а ночи были прехолодные, так что муж мой должен был закутать Ольгу своей шинелью. Соня так страдала от жары, что они должны были сделать сторы из соломы и обливали их холодною водой.

Когда бедный наш государь так огорчился, когда увидел неприятельский флот под Кронштадтом, то с ним сделался второй нервный удар. Первый случился, когда Орлов приехал из Вены после вероломного и двусмысленного ответа австрийского имп<ератора>. Всем известно, что имп<ератор>, будучи в Вене, обещал престарелому Францу II-му поддерживать его внука; он сдержал слово в 1848 г., когда революция грозила совершенным разрушением Австрийской империи. Страшен был 48-й год: искра, упавшая из Парижа, разлила пламя

в Италии и объяла всю Германию. Мне рассказывала графиня Редерн, жена прусского министра в Дрездене, что она выехала тайком ночью из Турина, бывши на сносях, и переехала Mont Cenis ночью; везде по дороге встречали ее неистовые клики. Во Франкфурте на баррикаде бесился князь Лихновский с возгласами: «Freiheit, Bruderschaft»[436]. Жуковский сидел в соборе, когда Лассаль и подобные подлецы курили и произносили страшные речи; в Вене был убит бедный и честный патриот Латур; разносили листочки, где сулили большие деньги за голову diesen Halunke[437] Меттерних, и тот уже катил по железной дороге в своем дормезе, обшитом циновками, с своей верной подругой. Они с трудом достали стакан воды от доброго кондуктора, который приложил палец ко рту и не хотел принять денег. В Johannensberg они жили спокойно до усмирения революции. В Дрездене дрались на улицах под командой Бакунина, он, подобно Лафайету, ехал на белой лошади. Король убрался в Кенигштайн, студенты неистовствовали в Лейпциге. Берлин представлял картину самую печальную; войска были выведены; когда они шли с строгим запрещением отвечать взбешенной черни, под Линденами их встретила чернь ругательствами и бросала в них всякий сор и камни. Солдаты шли молча и плакали; офицеры шли сдержанным шагом. Рассказали мне – барон Застров был более других огорчен. Его портной плюнул ему прямо в лицо и не дозволил ему утереть лица. Граф Альберт Пурталес рыскал по всему королевству, набирая подписку на конституцию в благоразумных размерах. В доме доктора Шпица Лассаль указывал, как es ist auch Каноне Футер[438]. Крайняя партия делала всякие мерзости; первой ее заботой было завладеть казенными капиталами. Эти известия из Берлина привез секретарь нашего посольства Михаил Мих<айлович> Виельгорский; выходя от имп<ератрицы>, я его встретила грязного и запыленного в Салтыковском коридоре. Я ему сказала: «Vous apportez des biscuits de Potsdam..» «Oui, – dit il, – ils sont jolis ces biscuits, vous en aurez des nouvelles ce soir»[439].

---

[436] Свобода, братство *(нем.)*.

[437] Этого висельника *(нем.)*.

[438] Это тоже пушечное мясо *(нем.)*. От *нем.* Kanonefutter – пушечное мясо.

[439] Вы привезли бисквиты из Потсдама. – Да, – сказал он, – отличные это бисквиты; вы про них узнаете сегодня вечером.

Тогда Гримм читал имп<ератрице> «Фауста», который ей очень нравился. Он только что принялся читать, когда послышался шаг государя. Он, скрестив руки, передал имп<ератрице> эти грустные известия. Она расплакалась и повторяла: «Mon pauvre frère, mon pauvre Guillaume!» – «Il s'agit bien de votre poltron de frère quand tout s'écroule en Europe, quelle est en feu, que la Russie pourrait aussi être bouleversée»[440]. С имп<ератрицей> сделалась дурнота; послали за Мандтом, который остолбенел, когда узнал, что творится в его фатерланде. Государыне дали лавровые капли и aconit, ее уже тогда сильно тревожило биение сердца. Гримм стоял все у двери с «Фаустом» подмышкой. Имп<ератор> напустился на него: «А, вы смеете читать эту безбожную книгу перед моими детьми и развращать их молодое воображение! Это ваши отечественные головы – Шиллер, Гете и подобные подлецы, которые подготовили теперешнюю кутерьму. К счастью, при детях Философов, который через к<нязя> Петра Мих<айловича> мне сообщил. Вы тоже им толкуете об Орлеанском королевстве и le bon roi René[441]; я вас спрашиваю, какая нужда русским в<еликим> к<нязьям> знать эти пустяки?» Философов был не глупый человек, но совершенный олух, и это он говорил Гримму, что этим юношам нет никакого дела de le bon roi René; он, прежде поступления на должность наставника царских детей, был адъютантом в в<еликого> к<нязя> Михаила Пав<ловича>. Князь Илья Долгорукой мне говорил: «Терпеть не могу этой гнусной хари, интриган первостатейный, глаза совершенно honoberis, словно на картине».

Мы приятно проводили лето 1838 года с ним; его жена страдала нервами, я их понимала, и мы с нею сошлись на этой приятной почве.

Графиня Киселева и сестра ее Нарышкина, Рибопьеры всегда обедали в кургаузе. Я разговорилась об этих сестрах. «Софья, – сказал он, – вся начистоту, а Ольга поднесет вам яду и сама же будет бегать за противоядием». Софья Ст<аниславовна>

---

440 Мой бедный брат, мой бедный Вильгельм! – Нечего говорить о вашем трусливом брате, когда все рушится в Европе, когда она в огне, и в России могут тоже быть потрясения.
441 Добром короле Рене.

меня страшно полюбила; после вод я приходила к ней пить кофий. Польский кофий славится. Имп<ератрица> Екатерина выписала из Варшавы кофишенка, и придворный кофий и теперь славится. Его надо варить в фаянсовой посуде и на маленьком огне, чтобы он не вскипал. Моя хозяйка чуть продирала глаза, когда я к ней входила. Не знаю, зачем она всегда спала на полу, разве только затем, чтобы мыши, такие плодовитые в Германии, забирались к ней. Тотчас раздавался крик: «Михалина, прытко воды! Сальватор, кофий, сбегай за метелкой!» Кофий варили в серебряной кастрюльке на спирту с камфоркой; он был так крепок, что она обливала только сахар, и чашка наполнялась густыми сливками с пенками; хлеб с маслом, разное печение украшали стол. Софья Ст<аниславовна>, умывши лицо и руки, надевала на рубашку черное платье и кружевную мантилью и уходила на целый день на рулетку. В три часа она приезжала за мной в коляске, и мы катались часа два. Она мне говорила: «Ma chère, vous marchez comme princesse, comme une reine; vous avez l'air de glisser sur la terre comme sur la mer. Nicolas m'a dit que d'abord c'est votre démarche qui l'a rav: il était fou amoureux de vous; j'avais beau donner des mains pour vous réunir. Il revenait le lendemain désolé de votre amicale indifférence». «Elle est froide comme une pierre; ses yeux noirs sont toujours <пропущено сказуемое>. Pourquoi donc n'avez vous pas répondu à son amour?» – «A quoi bon? j'étais mariée; je ne dis pas non si je n'avais pas d'enfants, vu que je n'ai jamais aimé mon mari que d'amitié, mais fidèlement. Il est jaloux et me tuerait ou mourrait de chagrin, s'il savait, que j'aime quelqu'un». – «Mais, chère amie, il est très soucieux vous connaissez son histoire avec Demidoff: il devait se battre avec lui et c'est Platonoff, une de vos victimes, qui a empêché au duel aux pistolets»[442].

---

[442] Милая, вы ходите как принцесса, как королева; кажется, будто вы скользите по земле, словно по морю. Николай мне говорил, что прежде всего восхитила его ваша походка. Он до безумия был влюблен в вас. Напрасно я старалась вас соединить. Он приходил на следующий день в отчаяние от вашего дружеского равнодушия. «Она холодна, как камень. Ее черные глаза всегда...» Отчего же вы не отвечали на его любовь? – К чему? Я была замужем... Я бы не ответила ему отказом, если бы у меня не было детей, так как я никогда не любила своего мужа иначе, как дружеской, но верной любовью. Он ревнив и убил бы меня или бы умер от горя, узнав, что я полюбила другого. – Но, дорогой друг, он очень тревожится, вы знаете его историю

Я ей болтала всякий вздор, и она мне говорила: «Si j’étais l’imp<ératrice>, vous ne m’auriez jamais quitté pour une seconde». – «Mais aussi, – отвечала я, – elle aime beaucoup mon bavardage et l’Emp<ereur> aussi, ils rient comme des fous quand je raconte les bêtises que je faisais avec Stéphanie au Palais d’hiver et même les folies de l’Institut. J’y suis d’un soir à l’autre et comme je lis très bien, je fais la lecture. C’est moi qui va à Peterhoff en hiver pour les huit jours de l’anniversaire de la mort du roi de Prusse. L’Emp<ereur> travaille, et je lui lis quelque roman ou des mémoires. Les romans de Georges Sand venaient de paraître; c’est l’amour d’un médecin qui est amoureux de la jeune folle, qu’il traite. Elle répond à son amour, et l’imp<ératrice> me dit: “Ma chère, comprenez, qu’elle aime un médecin. Fût-il beau comme Adonis, un homme qui vous prescrit des purges ou un lavement et qu’on paye dix francs la visite!”»[443]. Какой аристократический взгляд на любовь! Ведь любовь не рассуждает, и нынче русские барыни, начитавшись госпожи Занд, усвоили ее взгляды и таскаются по Европе с курьерами из итальянцев без зазрения совести. Возвратившись в Россию, они опять верхом на приличии; потому что Николай Пав<лович> не шутит и, пожалуй, тотчас вас забракует. Я помню, с каким трудом добилась развода девица Дудина; вышед из Смольного, вышла замуж и должна была развестись. Все приняли участие в бедной девушке. Процесс производился секретно в Синоде; тут были замешаны доктора, судьи, и, наконец, ее развели, но это было с большим скандалом. В Москве развели Пашкову с кн. Лобановым, что подняло всю Белокаменную.

с Демидовым. Он должен был драться с ним, и это Платонов, одна из ваших жертв, помешал дуэли на пистолетах.

[443] Будь я императрица, я бы никогда ни на секунду не отпускала вас от себя. – Но она тоже очень любит мою болтовню, и император также, они хохочут, когда я рассказываю про мои с Стефани глупости в Зимнем дворце и даже шалости в институте. Я бываю там почти каждый вечер, так как я очень хорошо читаю, то занимаю их чтением. Я езжу в Петергоф зимой на неделю, когда бывает годовщина кончины короля прусского. Император работает, а я ему читаю какой-нибудь роман или мемуары. Стали выходить романы Жорж Занда. Тут любовь медика, влюбившегося в молодую помешанную, которую он лечит. Она тоже его любит. Императрица мне сказала: «Поймите, милая, она любит медика; будь он прекрасен, как Адонис, но это человек, прописывающий вам слабительное или клизму и получающий по десяти франков за визит!».

А сегодня разводятся, опять сходятся и выходят замуж за разведенного, заткнувши за пояс слова Евангелия, точно как протестанты. Они женятся на две недели; зачем уже проходят через церемонию, не знаю; вся церемония состоит в дикой и скучной проповеди о брачной верности и святости ваших уз. Я думаю, что проповедь просто наказание за легковерные взгляды auf die Liebe in der Ehe[444]. Они особенно приличны для Берлина, одного из самых безнравственных городов в Европе: вечером у каждых ворот вы видите старую и гадкую кухарку с жареным гусем, которым она потчует молодого и красивого солдата. Моя кухарка Каролина мне призналась, что es ist so schön, so ein frischer Militaire, er versteht was Liebe ist[445]!

После первых трудных моих родов доктора послали меня в Берлин посоветоваться с Тифенбахом и Гауке. Но Тифенбах отказался сделать мне нужную операцию и сказал, как честный немец: «Давайте мне миллион, я не сделаю ее; у меня было три дамы на руках, одна операция <удалась>, другая осталась без последствий, а третья кончилась фистулой, что усугубило страдания». Из Петерб<урга> мы ехали в четвероместной карете, мой муж и его сестра. Окна были покрыты рисунками. Иногда снег влетал в карету. Несмотря на это, я была весела и играла в пикет. Курьер наш Миллер, известный как самый искусный по этому делу, был очень горяч. Чухны народ милый, смирный и кроткий; ямщик был бедный чухна, у него был флюс, и щека подвязана; лошади то и дело что приставали; Миллер ударил ямщика: тот кротко отвечал: «Спасибо, душенька». Есть своего рода поэзия в этих белых полях, на которых густо растут хвойные темнозеленые деревья. Тишина, все мертво, как сама природа; она как будто отдыхает от знойных трудовых дней; с ней отдыхает и человек. Вечерком при лучине прядут бабы, припевая песенку:

Спи, малютка, почивай,
Глаз своих не открывай.
Вырастешь большая,
Будешь в золоте ходить,
В золоте ходить,
На золотом стульце,
На серебряном блюдце.
Люди будут все любить.

---

[444] На Любовь в браке *(нем.).*

[445] Это так хорошо, такой молодец, военный, он понимает, что такое любовь! *(нем.).*

Этой песне я научилась, у ондаровской крестьянки Марины, которая кормила Олю и, качая ее на руках, всегда пела песенку. Колыбельная песня у всех одна. В Германии поют:

Schlaf, Kinderchen, balde,
Sonnerchen scheint im Walde
Sonnerchen geht mit grünem Grassen
Und sagt der guten Adini weinen lasse[446].

Кто сочинил эту песню? Никто и все; она вырвалась из души матерей. Таковы все народные песни, оттого повторяются веками и услаждают все поколения. О, боже! Что были бы мы без песен, как бы славили Бога, его щедрое милосердие? На станции Баубен мы встретили Алексея Иван<овича> Трубецкого, с ним был жандарм, оба были вооружены пистолетами и заряженными, за кушаком были кинжал и кистень. Трубецкой не советовал нам ехать только потому, что лес наполнен остатками повстанцев после варшавского погрома; мы посадили его в карету и дали ему рому. Мороз стоял в 20-ть градусов; мы дотащились в местечко Росинг. Жиды праздновали шабаш, везде висели канделябры <нрзб> рукавов и их грустный припев наводил тоску. Мы ночевали у жидка очень гадко; постлали соломы и вынули подушки из кареты. Было так холодно, что мы не решились будить курьера, который улегся в карете, и спросили у хозяйки чайник и чашки. «А что такое самовар, и сайник, я не снаю, а есть городенька» – и принес грязную кастрюльку. Оттуда мы приехали в Юрбург, где обедали при жидах; они смотрели с удивлением на котлеты, которые приготовил нам Миллер, и жареный картофель с луком. Из Юрбурга мы приехали в Сталугин, где осмотрели наш паспорт; тут и таможня.

Меня поразил прусский официальный люд. Что за важность, какое чувство своего достоинства, все точно генерал-губернаторы! Мы ночевали в Мариенбурге у доброй старушки на чистых кроватях под красными пуховиками. Утром попали в Schloss и видели рыцарскую залу ордена тамплиеров; в ней собирался капитул, на столе и стульях розан на серебряном поле,

---

[446] Спи, дитятко, скорее, / Солнышко светит в лесу, / Солнышко идет с зеленой травой / И говорит милой Адини: перестань плакать *(нем.).*

герб рыцаря Розенберга, канцлера этого весьма могущественного ордена, который угнетал весь славянский элемент и обратил его в римский раскол. В Эльбинге была еще ночевка. Ночью нахт-вахтер трубил в рог и кричал страшным басом:

Die Uhr hat zwölf geschlagen,
Die guten Leute gehen schlafen,
Gott erbarme dich unserm etc[447]

Еще ночевали и, наконец, дотащились до Берлина. Сквозь тонкий слой снега зеленая травка пробивалась, на деревьях были уже почки нежного зеленого цвета, вся природа возвещала радостно приближение весны. Нам Рибопьер уже заказал квартиру в Hôtel de Russie. Нас встретили с колокольным звоном, выбежал хозяин Krieger и все кельнера. Тотчас подали чай, потсдамские сухари, масло. Эта гостиница была самая модная; в ней останавливались всякие немецкие принчики, которые льнули к Пруссии и почти все служили в ее войсках. В это время жил в отеле принц Павел Мекленбургский, офицер белых улан, белобрысый урод, вечером на лестнице всегда был Knobeke, пьяный Павел Мекленбургский, муж принцессы Александрины, и его двоюродный братец кого-то прибили, и хозяин их разнимал. Вскоре я писала Вяземскому письмо с описанием моей одиссеи в юмористическом тоне. Он мне отвечал: «Ах, матушка Александра Денисовна, вся в папеньку Дениса Ив<ановича> Фон Визина».

Импер<атрица> дала мне письмо к королю, а другое к княгине Доминике Радзивилл. У нее была одна дочь Элиза, премилая и прелестная особа, и остались в живых два сына, Вильгельм и Карл; оба были женаты на принцессах Клари, которым принадлежит Теплиц. Король уже был женат на принцессе Лигниц, рожд. графине Ларис, к счастью она была протестантка. Она была маленького роста, приятной наружности; особенно хороши были ее добрые, ласковые глаза и густые черные волосы. Король был очень набожен и она тоже. До замужества, где ее встретил король, она ему сказала, что хочет себя посвятить служению Божию, как дьякониссса; но

---

[447] Двенадцать пробило, добрые люди идут спать. Господи! помилуй нас... и т. д. Нахт-вахтер – ночной сторож *(нем.).*

провидение определило ей быть дьякониссой отживающего короля-воина. Утром она ему читала газеты, с ним молилась и читала ему духовные книги. Ровно в 12-ть с половиной король уже катился по Линден, в светлой простой коляске крытой, в Шарлоттенбург, где в саду покоится прах его первой супруги, прелестной и добродетельной Луизы. Мраморный памятник сделан Раухом. Они обедали в 3 часа и приглашали одного из принцев и всегда пастора Эйлерта, который читал им вечером. В 8-мь часов король уже был в театре с женой, с фрейлиной и принцем Карлом Мекленбург-Стрелицким, братом королевы Луизы. Он командовал гвардейским корпусом, и в театр являлся в камергерском мундире. Король был в сюртуке без эполет. Он жил в маленьком скромном доме; налево были покои принцессы, а направо покои короля. Зала и гостиная разделяли их комнаты, весьма скромно меблированные. Король выплачивал Ротшильду и Дельмару долги, которые он сделал во время разорительных войн Наполеона. Берлин был два раза им занят. Королевское семейство жило в Мемеле в крайней бедности: не платили ни наставнику принцев Шамбо, ни гувернантке, мамзель Wildemets. Они жили подаянием имп<ератора> Александра. Государыня Александра Фед<оровна> мне показывала легонькую красную шаль, в которую ее закутывали в сильные холодные дни. Она берегла ее, как сокровище, в воспоминание бедственных дней ее детства. Все семейство с прислугой помещалось в 5-ти комнатах. Королева после ездила в Петерб<ург>. Имп<ератор> встретил ее на полдороге между Стрельной и Пе<тергофом>, где ее ожидал придворный завтрак. Он накинул на ее плечи белый салоп на чернобурой лисице, опушенной черными соболями. В Пет<ербурге> имп. Мария Феод<оровна> приняла, ее с почтением и осыпала ласками. В театре-гала все пришли в восторг и кричали: «La plus belle et la plus virtueuse des Reines, ton ennemi est vaincu, et l'univers entière est ton ami fidèle»[448].

Это все я прочла в книге Rémusat, в Торкей, перевела эту книгу и дала перевод сыну нашего священника Попова, дьякону Василию Попову. Не знаю, напечатали ли этот отрывок.

448 Самая прекрасная и добродетельнейшая из королев, твой враг побежден и вся вселенная – твой верный друг.

Потом я перевела записки Grallet de Monpellier, который из фанатика римской церкви поехал на юг Америки и там сделался квакером. В Лондоне он узнал, что после войн имп<ератор> Александр, окруженный в Лондоне знаками величайшего уважения и признания за его смиренность во время Парижского Конгресса, не обращал внимания на эти тщеславные знаки. Через своего посла князя Кристофера Ливена он отыскивал квакеров под предлогом осушения болот вокруг Петербурга и по дороге в Царское. Герцога Глостера, единственного добродетельного человека в большой королевской фамилии, уже не было в живых, он умер в 1810 г.; но общество распространения Библии уже процветало. Тюрьмы понемногу преобразовывались. Квакерша госпожа Фрей, первая женщина после многих столетий совершенного равнодушия, первая она переступила за порог женского отделения в страшной тюрьме Ньюгета. Полицейские служители долго не хотели ее пустить в эту страшную комнату. «Я войду с Богом и словом утешения», – отвечала эта мужественная женщина. В ее биографии, написанной ее племянницей, рассказаны все ее христианские подвиги. Она была в Ницце в 1842 году, в мою бытность в этом городе. Граф де Местр, тогдашний генерал-губернатор, истинно хороший христианин, но фанатик, как и его отец Иосиф де Местр, наделавший столько шума и тревоги в нашем петербургском обществе обращением или совращением, наследовал фанатизм, принудил госпожу Фрей оставить Ниццу. M-me Money, рожденная <...>, после разнообразных тяжелых испытаний пришла в <...> и рассказывала мне много подробностей о г-же Фрей. Они были близки – она и M-me Money. Он и госпожа Фрей знали друг друга. В Париже, при Луи XVIII, они встретились на большом вечере у министра Passy, лучшего из либеральных министров либерального министерства. Общество собралось ранее обыкновенного, потому что знали, что m-me Фрей не любила поздних часов. Huissier[449] постоянно называл входящих гостей; наконец, он отворил дверь и сказал с особым ударением: «Madame Frey!» Все как бы по уговору <встали>. Многие ее видели в протестантской церкви Rue de... и были тронуты ее простыми молитвами ex tempore и ее проповедями. Она вошла

[449] Привратник.

тихо, просто, поклонилась и протянула руку хозяину. Она была высокого роста, довольно худа, одета в светло-лиловое атласное платье, немного длиннее сзади, что придавало необыкновенную majesté[450] ее походке. Волосы, просто и гладко зачесанные, были покрыты тюлевым чепчиком с рюшкой и подвязаны узенькой белой ленточкой; белый барежевый шарф был приколот на плечах, белые перчатки оканчивали этот простой туалет. «Elle montait, – говорила Mr. Money; – comme notre Seigneur au mileu de la pharisiens, sérieux, élégante et de toute ce que la mode apprêtée a de plus nouveau: Ce visage calme, sérieux et digne, avec l’expression d’une douce bienveillance! En m’apercevant elle me tendit les deux mains et comme elle vit des larmes dans mes yeux elle me dit[451].

---

[450] Величественность.

[451] «Она поднималась, – говорила мадам Моней, – как Спаситель среди фарисеев, серьезная, элегантная, во всем, что вычурная мода может предложить нового. Это спокойное, серьезное и достойное лицо с выражением мягкого благоволения! Увидев меня, она взяла меня за обе руки и, увидев слезы у меня на глазах, сказала мне: <на этом текст варианта обрывается>.

Оглавление

Александра Осиповна Смирнова-Россет

Дневник
Воспоминания

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *А. Сычева*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334–72–11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16